

Тамара Жирмунская



К О Р О Т К А Я
П Р О Б Е Ж К А



Уважаемой

Наталье

Ребер

в апрельские дни,
озаренные

Тютчевым, поэзией,
сиренью-геремухой?

и дружбой наших
культур, от автора.

26.04.03 Т.ЖС.



Тамара Жирмунская

КОРОТКАЯ ПРОБЕЖКА

Избранное и новое

МОСКВА · ГРААЛЬ · 2001

ББК 84Р7+83.3(2Рус)6
Ж73

Жирмунская Т.А.

Ж73 Короткая пробежка. Избранное и новое. — М.: Грааль, 2001. — 392 с., ил.

ISBN 5-94688-012-8

Одна из видных шестидесятниц, поэт и прозаик Тамара Жирмунская, выходит к своим старым и новым читателям с книгой избранного. Эта книга — о любви. От первых чувств, испытанных в четырнадцать лет, до сегодняшних тревог и переживаний ее лирическая героиня учится любить. Мемуары, составляющие один из разделов, тоже результат акта любви к своим героям.

Завершают книгу недавно написанные стихи и лирический очерк «Справка о нахождении в живых». Это плод неожиданного опыта, приобретенного в Германии.

ББК 84Р7+83.3(2Рус)6

ISBN 5-94688-012-8

© Т. Жирмунская, 2001

© П. Сандомирский, оформление, 2001

..Никогда не забуду: год 63-й, пока еще оттепель, «мне четырнадцать лет...», мы с подружками рванули в Лужники на вечер (нет, вру, дело было средь бела дня: стало быть, д е н ь поэзии. Сердце колотилось в бешеном волнении, когда на сцену выходили «звезды» новой лирики — казалось, безоглядно и навсегда прямые, сногшибательно свежо рифмующие, такие красивые и такие нам, публике, родственные! Среди них выделялась талантом искренности и этакой лукавой интеллигентностью юная синеглазая улыбчивая женщина — то ли тургеневская, то ли паустовская.

*Дорогие родители,
Вашу дочку обидели, —*

читала она ликующим и нежным (поперек внешнего смысла) голосом...

Татьяна Бек. «Счастливая — вопреки».
«ЗНАМЯ». 1996.

В своей антологии «Строфы века» Евгений Евтушенко сказал о Жирмунской: «Всегда распространяла еще в институтских коридорах и до сих пор вокруг себя ауру любви к людям, к поэзии».

Это действительно так, но еще она написала замечательное стихотворение «Район моей любви», одно из самых отрадных свидетельств первой оттепели (...)

Почему это стихотворение кажется мне оттепельным? (...) Потому что именно так могла чувствовать девушка того очень короткого отрезка времени. И это удивительно тонкое и пластичное стихотворение, написанное о вечном, сохраняет приметы далекого, как потом назвали, шестидесятничества (...) Просто для предыдущей — сталинской — эпохи стихотворение чересчур раскованно, а для последующих времен, пожалуй, слишком целомудренно...

Владимир Корнилов. «Званные и избранные».
«ДРУЖБА НАРОДОВ». 1999.

..Вот идут двое по Тверскому бульвару. Оглянись им вслед, читатель! Они уходят, чтоб разминуться, а потом навечно встретиться в этой книге (...)

Да, немало могил выросло на наших глазах при краткой протяженности земной жизни. Неужоженность могил страшна, но неужоженность памяти еще страшнее. Книга Тамары Жирмунской, как деликатный секатор, бережно старается приводить в порядок свою и нашу память..

Инна Кашежева. «Вспять по реке Времени».
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», № 9, 1996.

— Неужели ты в самом деле считаешь, что человек произошел от обезьяны?!

Она глядит на меня с непритворным ужасом.

Повстречав на своем пути отца Александра Меня, Тамара Александровна вдруг стала страстной христианкой. Прежде, бывало, блюдечко крутила, и на ее зов как миленькие откликались покойные классики — изъяснялись загадками. Теперь осудила себя такую, познав истинную истину. И хорошо. В ее исполнении приобщение к свечкам и иконам выглядит даже симпатично — она ведь не делала карьеры из прежней идеологии..

Дмитрий Сухарев. «Просто я сегодня одна».
«ВЕЧЕРНИЙ КЛУБ», № 7, 1996.

РАЙОН МОЕЙ ЛЮБВИ

ВОЛШЕБНОЕ ВИНО

Позвонила школьная подруга и сказала:

— Знаешь, Годик умер...

Я что-то вякнула в ответ, и мое дежурное вяканье возмутило подругу.

— Неужели ты не помнишь... — надолго завелась она, мешая взрослую заботу о сохранности моей когда-то отзывчивой души с неизжитой отроческой агрессивностью.

Я все помнила. Но слишком много пластов легло на тот первый, такой нежный пласт. Ушли из жизни не только мои родители, но и ровесники, и даже те, кто моложе. Когда мне приходилось бывать на кладбищах, мой взгляд становился странно избирательным, притягивая с бесчисленных могильных плит только год моего рождения плюс минус два-три года. Это — в качестве первой даты. В качестве второй фигурировала пестрая россыпь лет, вроде цифр на бочонках лото, когда я всюю жила, а мои сверстники безвременно уходили.

Значит, и Годик умер. Поторопился, конечно. Впрочем, он был старше нас, своих учениц, лет на четырнадцать. Ну да, мы — семиклашки: черно-коричневая, мрачная, как дореволюционная эпоха, «гимназическая» форма и белоснежные, по замыслу наивных модельеров, воротники и манжеты. А он — молодой человек интеллигентной наружности, стройный, кудрявый, с характерной манерой, тихо посмеиваясь, со свистом втягивать в себя слюну.

Годик преподавал физику, в которой я мало что смыслила. Чтобы понять, надо вообразить себя на чужом месте, прочла я где-то. Но мое воображение, особенно разыгравшееся к седьмому классу, в данном случае не помогало, а, наоборот, роковым образом мешало. Я, например, не могла постичь, как это по проводу идет ток — разве у него есть ноги? Хоть убей, не могла понять разницу между силой тока и его напряжением. Добросовестнейшим образом пыталась я представить себя заряженным

проводом и даже приподымалась на цыпочках, вся дрожа от будто бы возникающего во мне целенаправленного движения электронов. Но чем больше я напрягалась, тем с большей силой струился сквозь мою расцветающую плоть поток мировой энергии. Получалось, что сила и напряжение — одно и то же, а в учебнике говорилось, что это — разные вещи.

В конце концов, я отказалась от всяких попыток такого рода и стала тупой зубрилой. Формулы мне давались легко, они и сейчас шевелятся на дне памяти. А задачи решать я не умела. Однако нашелся выход и из этой ситуации. Снисходя к нашей серости, учитель физики дал нам несколько типовых задач и стандартных решений к ним. С какой благодарностью приняла я готовый плод чьих-то стараний, как легко запомнила строго логичный ход чужой мысли, блаженствуя оттого, что не нужно ничего воображать, — достаточно выучить...

Я еще не сказала, что Годик у сопутствовал необычайный успех у старшекласниц. Еще бы! Мои школьные годы уместились в исторический отрезок раздельного обучения, будто бы введенного по личному приказу самого Сталина. В наш женский монастырь мужчины проникали чрезвычайно редко. Изредка забредет чей-нибудь унылый отец, а чаще дед, — они, разумеется, сбрасывались со счетов. С педагогами мужского полу было, как и сейчас, не густо. На переменах из учительской доносился недовольный басок другого физика, старика с попугайным профилем, лет пятидесяти — его, в целом, уважали, но чтобы любить?! Физкультуру вел тоже мужчина, по прозвищу Слива, — кличку он получил за фиолетовый нос. Такие паяльники (очень распространенное тогда выражение) бывают у склеротиков да у пьяниц. Учитывая закалку физрука, его оттененные полумесяцами майки античные бицепсы, первое предположение отпадало само собой. Так что соперников у младшего физика не было.

Над Годиком витало облачко таинственности. Мы, конечно, знали, что Григорий Михайлович женат, имеет сына и, как будто для того, чтобы подразнить нас, живет здесь же, при школе; некоторые из класса даже бывали у него, не в гостях, а по делу. Весь он был у нас как на ладони, но тем непроницаемой казалась его тайна. Как это он, такой ученый, — Годик знал тысячу и одну интересную вещь, — осел в нашей школе, где второй Мари Складовской, вроде, не предвидится? Почему женат на женщине некрасивой и старше себя? Что, наконец, заставляет его вместе с семьей ютиться в комнате-крохотулке, переделанной из бывшего мужского туалета? И главное, что нам хотелось знать: как он относится к женщинам?

Называлось астрономическое число влюбленных в него учениц, и ни одна, заметьте, ни одна не могла похвастаться ответным вниманием. Поговаривали даже, что то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году какая-то кобыла из десятого отравилась из-за неразделенного чувства к Годик: прокралась в химический кабинет, открыла склянку с белыми ядовитыми кристаллами — и, как ягодную горсть, в рот... Целая бригада медиков ее откачивала, а Годик будто бы сказал: «Не следует путать двери учебных кабинетов!»

В нашем седьмом две чудачки тоже демонстративно сохли по нему: подперев щеки кулаками, весь урок не сводили с учителя круглых глаз, иссинили его инициалами деревянные номерки от пальто. Безуспешно.

В тот раз по расписанию у нас была физика, а Годик все не шел.

— Я за ним схожу! — выскочила первая влюбленная.

— Ты ходила в прошлый раз! — заспорила вторая.

— Ну и что? А ты перед тем сто раз за ним бегала!

— Не я за ним бегаю, а ты за ним бегаешь, все это знают.

Они подрались.

— Сходи лучше ты! — сказала мне подруга, и я пошла.

В учительской Годика не было. Я поднялась двумя этажами выше и не смогла отказать себе в удовольствии с четвертого высокого этажа, сквозь распахнутое венецианское окно поглазеть на верхушки деревьев, посаженных неведомо когда и кем, уж точно не нами, но не иначе, как для нас, — эгоцентризм подросткового возраста не допускает иного. Школа занимала помещение бывшей женской богадельни, и все в ней и вокруг нее было большое, широкое, длинное, вероятно, для того, чтобы убогие, никому не нужные старушки хоть под конец жизни ощутили себя людьми.

Я произвела глубокий вдох, как на уроках физкультуры требовал Слива, и с тонким хрустом отвела руки назад, словно собираясь скользить по льду. Льда, однако, нигде уже не было. Деревья в четырехэтажную высоту топырились голыми ветками, натянутая кора отливала на солнце краснотой, и я вдруг отчетливо увидела, что пришкольный сад — это колонии гигантских кораллов. Я легла животом на подоконник, шириной со скамейку, и сделала вид, что плаваю. Ух, и здоров! Сад тронулся мне навстречу. Казалось, что ветки трепещут при полном безветрии, как если бы через них пропустили ток.

Тут меня ударило: Годик! Быстро приняв исходное положение, я рванула в конец длинного коридора и остановилась перед дверью, за которой была его комната. Слышимость в богадельне оставляла желать

лучшего, — очевидно, поэтому на мой стук никто не откликнулся. Я надела дверь и стала на пороге. Маслено-голубая, как все классы, каморка вмещала только стол, диван да детскую кровать за шнурковой сеткой. В ней раскинулся ребенок. Над ребенком клонилась — сейчас упадет — видная мне со спины женщина. Мне бы ретироваться, но, глупо послушная долгу, я отбарабанила в повернувшееся ко мне несчастное лицо:

— Седьмой «А» ждет Григория Михалыча на урок!

— Он скоро придет, — извиняясь глазами, голосом и поворотом длинной шеи, пообещала женщина. — Скажи девочкам, чтобы не шумели. Он сейчас придет.

Уходя, я увидела слева на стене два пятна странной формы. Грубые натеки на голубом — уж не могли для учителя ровно покрасить!

В коридоре я столкнулась с Годиком. Он меня не узнал. Или не заметил? Годик прошагал мимо, такой скорбный, сосредоточенный, руки — по швам, ладони — в кулак. И не успел он дойти до своей двери, как мое сердце отяжелело настолько, что я вынуждена была остановиться и поддержать его рукой.

Никогда не думала, что сердце может так сильно прибавлять в весе.

— Там какие-то пятна на стене, — описывала я подруге после уроков впечатление от Годикиного жилья, потому что меня тянуло тасовать и раскладывать, наподобие карточной колоды, все, что имело к нему хоть какое-то отношение.

— Это пятна от писсуаров, — хохотнула подруга. — Девчонки рассказывали. Ты же знаешь, где он живет. Сломали толчки, сняли писсуары и сделали комнату...

Теперь я поддерживала свое сердце уже обеими руками.

— Что с тобой? — удивилась приметливая подруга.

— Похоже, опять атака ревмокардита.

— А! — успокоилась она.

Огрузое сердце, пресные выходные, только и радости что в будни: с утра надежда встретить, увидеть хотя бы мельком, а встретишь, увидишь — ну и что! — так началось это в моей жизни. Что было делать? Хотя шла уже четвертая четверть, я записалась в физический кружок и подругу за собой потянула — Годик приветствовал наше запоздалое рвение. Можно поручиться, что среди кружковцев половина были такие же «сердечницы», как я, но науке это не мешало. Мы штудировали «Занимательную физику» Перельмана, ставили эффектные опыты. Некоторые помню до сих пор. Например, как путем хитроумного пересечения лучей тень от картонного яйца «начинить» тенью от картонного цыпленка.

Учитель пытался дать нам хоть какие-то знания о современной физике и астрономии, развить физическое мышление. Я вдруг смогла объяснить себе и секрет «тяжелого» сердца. Под влиянием влюбленности произошла особая реакция, и все легкомысленные электроны повыбило прочь. Теперь мое сердце, как звезда-карлик, состояло из одних ядер. Известно, что даже наперсток этого плотно сбитого вещества не может поднять ни один геркулес на свете.

Годика, как солнце, окружали планеты любящих сердец. И он купался в нашем обожании, становился на кружке простым, достигаемым. Раз он обвел всех своими ореховыми глазами, улыбнулся и, звучно потягивая слюну, стал просить нас открыться, сказать, что из пройденного в классе материала мы так и не поняли.

— Ну, девчата... — мило взывал он, сближая нас друг с другом равноотмеренной ласковостью. — Не стесняйтесь своего невежества! Вспомните великого человека, говорившего всем нам в назидание «Я знаю только то, что ничего не знаю». Поверьте, я тоже не все понимал на уроках. И гробил потом годы, чтобы докопаться до истины. А ведь стоило только спросить. И было кого спросить...

Я подняла руку.

— Чем отличается сила тока от напряжения?

Годик разулыбался:

— Умница что спросила. Сейчас объясню. Это же так просто... — И, жестикулируя, рисуя в воздухе, как на доске, разнонаправленные векторы, похожие на стрелы Амура, наш многолюбимый учитель пустился в объяснения.

Сначала я еще улавливала нить. Но недолго. Непривычные к физико-математическим абстракциям мозги вдруг дружно забастовали. Я почувствовала себя дура душой.

— Ну, поняла? — Годик довольно потер руки.

— Поняла.

— На всю жизнь?

— На всю жизнь...

Что особенно увлекало нас на физическом кружке, так это возня с магнитофоном. Дедушка современных «соны» и «шарпов», работающих на батарейках величиной с леденец, был громоздок, как тумбочка для белья. Перетаскивать эту бандуру с места на место мог только Годик. Мы же занимались перемоткой, клеили ацетоном непрочную, цвета ржавчины ленту. Одним словом, были на подхвате. Нам с подружкой давно хотелось остаться с магнитофоном наедине, и вот однажды это

удалось: учитель посадил нас за перемотку и удалился. Кружковцы тоже разбежались, посоветовав нам записать на пленку общее объяснение в любви.

— Вот еще, общее! — фыркнула подруга.

— А то чье же?

— Твое и мое.

— Может, почитаем стихи?

— Нет, лучше споем.

И мы затагнули, пустив «запись», популярное тогда танго «Вино любви», слова которого казались нам верхом совершенства:

*Проходят дни и годы,
И бегут века.
Уходят и народы,
И нравы их и моды,
Но неизменно, вечно
Лишь одно любви вино.*

Припев приводил нас в полный восторг, меня — особенно, потому что мое чувство к Годнику получало оправдание свыше, становилось в ряд могучих и нетленных чувств:

*Пускай проходят века,
Но власть любви велика,
Она сердца нам пьянит,
Она, как море, бурлит.
Любви волшебной вино
На радость людям дано,
Огнем пылает в крови
Вино любви...*

Блюстители поэтического вкуса, придержите свои жала, разве вы не знаете, что плохие стихи могут вызвать такой же чистый и высокий отклик души, как и первоклассные?

Только мы допели дуэтом танго и сладко приготовились себя прослушать, как вернулся Годик. Наверное, у нас был вороватый вид — он мигом смекнул, что мы делали что-то недозволенное. Но что? «Проницательный взгляд вошедшего, — как писалось в имевших большое хождение шпионских романах конца сороковых, — уперся в магнитофон.

В глазах мелькнули колющие искорки. Он властно положил руку на источник своих подозрений...» Говоря же попросту, Годик отключил аппарат и немедленно выставил нас из кабинета с напористостью, вовсе ему не свойственной.

Мы нарочито громко протопали по коридору, потом на носочках вернулись к двери и — о ужас! — услышали, как два писклявых голоса заунывно, вразнобой, тянут мелодию, созданную, чтобы парить в небесах. «Как нищие на паперти», — вспомнилось мне мамино присловье.

А на годовой контрольной физик дал нам с подругой нетиповые задачи. Я решила одну из пяти, и, когда все уже все сдали, прозвенел звонок сначала на перемену, а потом с перемены и учитель, собираясь уходить, протянул руку за моим кошмарно чистым листом, я расплакалась. Годик безмолвствовал. Затем вынул из своего кармана носовой платок и сделал такое движение, точно собирается высморкать мне нос. Хорошо, я успела перехватить носовик и высморкалась в него сама.

В нарушение всех правил он сел рядом за парту и тут же, у меня на глазах, решил все четыре задачи, легонько улыбаясь и приговаривая между втягиванием слюны: «Сейчас все поймешь. Это же так просто!»

Мы встретились в конце пятидесятых около метро «Новослободская». Годик уже плохо уживался со своим уменьшительно-ласкательным именем: он «заматерел», стал гладким и вальяжным. Откровенно радуясь моему смущению продиктованному — только бы глупо не молчать — вопросу о житье-бытье, он сыпал сведениями, для меня новыми и ошеломляющими. Самому ему говорить об этом явно поднадоело, но он стремился поставить все точки над *i*, высветить все темные углы, где пряталось его прошлое.

Не знаю, что взволновало меня больше: информация или знакомый, с присвистыванием голос.

— Отец реабилитирован посмертно. Мать и дядя вернулись инвалидами второй и третьей группы, так что, надо считать, повезло... — отчитывался он передо мной. — Нам даже разрешили построить одноэтажный домик на участке, где стоит наша бывшая роскошная дача. Знаете эти кооперативные поселки на Казанке: зеленые просеки, песок, сосна...

— А кто живет в роскошной? — спросила я.

— Тоже люди. Важна не этажность. Важен принцип.

— Вы больше не работаете в школе?

Годик засмеялся.

— Я работаю над докторской диссертацией.

Мы шли рядом: молодая женщина и не старый еще, вполне подходящий ей по возрасту мужчина.

— У те... у вас все хорошо? — чуть не оговорился он. Впрочем, часто ли он обращался ко мне на «ты» в той школьной жизни или привычно объединял меня с одноклассницами, кружковцами, подругой, вытесняя самый намек на личное отношение ничего не значащим, педагогически выверенным, как раз в духе времени, коллективистским «вы»?

Я ответила «да», хотя у меня все было как раз плохо. Но что мое «плохо» рядом с его недавним «плохо»? Да и он жил ведь как-то, работал, был любим. А его отец? Не жил, пропал, загинул...

«Если бы мы знали горести других, мы бы сдержали свои стоны...» Святой человек сказал это. Без святости такого не поймешь, все будешь носиться со своими свербящими болячками, не думая, что у кого-то страшная, не совместимая с жизнью рана.

— Так чем же отличается сила тока от напряжения? — пошутил Годик на прощание, поразив меня, как и прежде, своей памятью.

Я хотела вместо ответа напеть «Вино любви», но не стала. Слух у меня неважный, а мелодия, которая звучала во мне в ту минуту и, может быть, передалась ему, действительна только в безукоризненном исполнении.

ВМЕСТЕ СО СВЕТОМ

Часть первая

УТРО ПОДМОСКОВЬЯ

Человек проснулся так рано, как только мог. Встал вместе со светом.

Задний двор дачи, разделенный на прямой пробор белесой тропинкой, не встретил его никак. То есть встретил обычно, без поправки на столь ранний час, на волевое вставание. Кабачки уже перегнали в росте самые зрелые огурцы и теперь вытягивали в неподходящих направлениях сладко и сочно хрустевшие под ногой плети. Когда кабачки только народились и карманным фонариком посвечивал из каждого желтый кувшинчик цветка, у дальновидного человека мелькала мысль... А не загнать ли кабачок вместе с ворсистым стеблем в бутылку, чтобы он там и вырос? Вот изумятся городские знакомые! Но кабачки были хозяйские, бутылки у матери в ходу. Дело папахивало двусторонним вредительством.

Однако человек встал не для того, чтобы валандаться с кабачками, к тому же вышедшими из подопытного возраста. А для того, чтобы описать утро Подмосковья. Такое задание было дано в школе перед трехмесячным и, как тогда казалось, бесконечным летним отдыхом.

Человек огляделся. Налево, за шершавым срубом колодца, начиналась аллея рябин, а за ней прятался «кабинет задумчивости». Рябина стояла горько-оранжевая, но ее уже выщелкивали какие-то неразборчивые птицы. Масса облепченных, разбитых ягод валялась на дорожке.

Человек держал в руках свежую тетрадь. Ее идеально гладкие страницы с розовой летящей вертикалью для обозначения полей жаждали принять первую фразу. Карандаш тоже был отличный, 2М, с нежными срезами вокруг грифеля. В человеке забрезжило желание как-то выразить всю эту привычную необыкновенность утра. Тщеславная мысль написать стихи, чтобы потом читали перед всем классом, погасла, не разгоревшись. Где уж там! Написать бы хоть прозой... Но тут в нем что-то

сорвалось и повернулось. Так неловко поворачивается телефонный диск, соединяя уже совершенно с другим абонентом.

И человек записал:

СОЛНЦЕ ВСТАЛО И ОЗАРИЛО ЗЕМЛЮ.

Запустив глаза в мощную зелень кабачков, точно промыв их на расстоянии, он вспомнил, что писать просили не вообще, а только о том, что увидишь и почувствуешь сам.

И он продолжал так:

НА СОЛНЦЕ ЗЕЛЕНЕЮТ КАБАЧКИ И...

И как верный ключ в хорошо знакомом замке прокручивается не единожды, а дважды (р-раз и еще р-раз), само собой получилось:

...ЖЕЛТЕЮТ ТЫКВЫ.

Хотя ни одной тыквы на огороде не было. Перечитав начало, требовательный к себе автор вставил с помощью недоразвитого квадратного корня наречие «ярко»:

НА СОЛНЦЕ ЯРКО ЗЕЛЕНЕЮТ КАБАЧКИ И ЖЕЛТЕЮТ ТЫКВЫ.

Так получилось «художественнее».

С земледельческим рвением, которое ничего ему не стоило, он посадил к парным овощам еще одну пару — морковь и редиску:

КАКАЯ ПЫШНАЯ БОТВА У МОРКОВИ! КАК ЛУКАВО ВЫГЛЯДЫВАЕТ ИЗ ЗЕМЛИ ВКУСНАЯ РЕДИСКА!

Редиска давно сошла. Последние, задубевшие головки отличались абсолютной несъедобностью. Но человека это не смущало. Ведь он писал не сочинение по биологии, а литературное — **УТРО ПОДМОСКОВЬЯ**. И, конечно, у него **ВЕТЕР ПЕРЕШЕПТЫВАЛСЯ С ДЕРЕВЬЯМИ И НА РЯБИНОВЫХ ВЕТВЯХ РАСПЕВАЛИ ПТИЦЫ**.

Очень печально, что в это августовское утро человек четырнадцати с половиной лет от роду сделал шаг не к творчеству, не к поэзии, а, наоборот, от творчества, от поэзии. Да положи он свои незрячие фразы на самые звонкие стихи, ничего не изменилось бы. Только резче выперла бы их беспомощность.

Так удачно проснулся, такое превосходство чувствовал, поглядывая на спящую у противоположной стороны подругу, прикидывал, не махнуть ли в окно, на цыпочках крадся через кухню... И ничего не увидел, а если и увидел, то не назвал — все равно как не увидел.

Особенно же печально, что этот человек — я.

Улица, на которой мы жили, называлась Ленточка, но, кроме названия, ничего привлекательного в ней не было. С утра до вечера она пыли-

ла — от грузовиков, легковушек, мотоциклов. Даже дамский велосипед способен был всколыхнуть и подержать в воздухе ее какую-то особенно летучую и вьедливую пыль.

Гостившая у меня подруга скучала, потому что дачный ассортимент развлечений был очень скуден. Утром мы шли на «поляну» — большое открытое место, возделанное цветоводством. Место было вольное, без единой крикливой фанерки: «НЕ РВАТЬ», «НЕ ТОПТАТЬ», «НЕ ТРОГАТЬ». И без того не рвали и не топтали, а трогали только тогда, когда на рыжий цветок настурции садилась... не сразу садилась, а сначала примеривалась к нему (посадка — взлет — планирование, посадка — взлет — планирование, посадка!) вся шелковая, с четырьмя очами на крыльях, кирпично-коричневая бабочка павлиний глаз.

Надо было так подвести к ней сачок, чтобы тень от палки, от руки и от марлевого мешка не выскочила вперед, а с каждым продвижением отгибалась все дальше назад. Чтоб травинка не шелохнулась!

Подруга тяготилась сбором ненужной ей коллекции. На поляну ходила загорать и читать толстую книгу, всю из отрывистых разговоров. Сверху казалось, что это стихи. Выглядывая из-под газетной треуголки, она размеренно спрашивала: «Ну, кого ты там поймала?» — и звала к себе, «пожариться». Лежа рядом, ленивые от тридцати пяти градусов на солнце, мы обменивались односложными и двусложными словами — прямо как в Маниной книге:

- Мань!
- А?
- Пойдем?
- Куда?
- Туда!
- К ним?
- Да!

К ним — означало на Шанхай. Не знаю, почему окрестили Шанхаем это неровно выбритое среди леса волейбольное поле. Обычно тут играли три команды. Победенная отдыхала на траве. Наши попытки втереться в состав команд, как правило, кончались ничем. Мы были пришлые, с Ленточки, а не местные, с улицы Шмидта (лейтенанта? полярника? наверно, полярника) и к тому же играли без блеска. Если кого-то из нас и ставили в прорыв, излишнее усердие вылезало из каждого его удара, как пружина из матраца. И удар браковался знатоками. Во всяком случае, к следующему матчу подоспевал законный запасной, вытеснявший нас из игры.

Велосипеда у нас не было. Иногда я одалживала его на часок у взбалмошной Лены с улицы Шмида, но страх замарать пылью потрясающую радужную сетку отравлял нам удовольствие от катания.

Вечером мы отправлялись на станцию встречать моего отца. Отец приезжал то раньше, то позже, то ежедневно, то раз в неделю — в зависимости от произвольного окончания служебного дня и непредвиденных, «в последнюю минуту» предложенных командировок. На станции мы знакомились с мальчишками, тоже встречающими кого-то. «Обсуждать» потом мальчишек было истинным наслаждением, и тут мы с другой находили общий язык. Но станционные знакомства не держались. Алик, Эдик, Толя, Валера — иные даже под прозвищами, со смаком придуманными для них, — не попадались нам больше. Почему мы и пришли к мужественному выводу, что с мальчишками нам не везет.

В середине августа Маня уезжала. Перед отъездом она задумала скатать у меня «мировое» УТРО ПОДМОСКОВЬЯ. Я давно привыкла к ее вялому восхищению, но восторги в адрес УТРА льстили мне необычайно.

Хотя мы учились в параллельных классах, списывать сочинение слово в слово было рискованно. Памятливая Нина (так мы называли между собой учительницу) могла обеим снизить отметки. Поэтому решено было перефразировать некоторые места, в особенности все начало. Вместо СОЛНЦЕ ВСТАЛО И ОЗАРИЛО ЗЕМЛЮ мы изобрели: ВЗОШЛО СОЛНЦЕ И ЗАЛИЛО ВСЕ ВОКРУГ. Кабачки заменили на горошек, а тыкву на репу. Получилось не хуже, чем у меня:

НА СОЛНЦЕ ЯРКО ЗЕЛЕНЕЕТ ГОРОШЕК И ЖЕЛТЕЕТ РЕПА.

Морковь переродилась в свеклу:

КАКАЯ ПЫШНАЯ БОТВА У СВЕКЛЫ!

А вот с редиской вышла заминка. Подземных овощей не хватало. Мы страдальчески морщили лбы, пока со дна памяти не всплыла экзотическая брюква:

КАК ЛУКАВО ВЫГЛЯДЫВАЕТ ИЗ ЗЕМЛИ ВКУСНАЯ БРЮКВА!

Но вкусна ли брюква, никто не знал. Кажется, она шла на корм свиньям. Разумнее было обезопаситься определением нейтральным, например, «крупная».

Остальное обошлось почти без изменений. Если учительница что и заподозрит, сошлемся на общий отдых, одинаковые наблюдения. Могут ведь у подруг совпадать мысли!

Маня хихикала довольно и смущенно, как удачливый, до поры до времени не пойманный плагиатор. Я же без тени сомнения присваивала себе то, что, по-существу, моим не было. Ибо и солнце, что ОЗАРИЛО

землю, и ветер, что ПЕРЕШЕПТЫВАЛСЯ с деревьями, и все остальное я тоже «слизала», но у кого, сразу и не скажешь. Как любила приговаривать моя мама, «с бору по сосенке, с миру по нитке»...

Маня уехала, а я осталась. Коллекционирование вдруг разонравилось мне. Когда по утрам девятилетний внук хозяйки вбегал в комнату под раскатистое «а»: «Вставай — какая — бабочка!», я молча отдавала ему сачок и коробку, а сама на охоту не шла. Я доверяла ему сачок не покупной, с марганцовочным оттенком и таким длинным суженным концом, в котором обила бы крылья любая пленница, а собственного изготовления, полукруглый, некрашенный, чтобы цвет, разлитый в воздухе, не спугнул самых осмотрительных (бог знает, что и как видят эти бабочки!). К тому же колап был укреплен на бамбуковой палке. Эту семейную реликвию за несколько лет до войны, за несколько месяцев до меня привезли из Батуми мои родители.

В тот день я так же выпроводила из дому гордого моим доверием мальчика и с книгой села в гамак. В наш старый, довоенный же гамак, с наспех перевязанными, как на авоське, тянучими дырами. Надо было прочесть хоть что-нибудь по программе, и выбор мой пал на «Евгения Онегина». Первые же строки поразили меня. Читались они так легко, так непостижимо совпадали с колебаниями гамака, с колебанием земли под вытянутой для отталкивания ногой...

Мне было жалко произносить стихи про себя, безмолвно расточать их звучное богатство. Я и не заметила, как бормочу вслух:

*Судьба Евгения хранила:
Сперва Madam за ним ходила.
Потом Monsieur ее сменил.*

Я с удовольствием закончила первую главу, окунулась во вторую, но тут поперек моего чтения встали мрачные мысли. Как по-дурацки провела лето! Играть по-настоящему в волейбол не научилась. Кататься захватски на велосипеде не научилась. Не завела ни одного стоящего знакомства не только что с мальчиком, но и с девочкой. А как было бы здорово ездить зимой друг к другу в гости — может, через весь город, ходить вместе на каток, обмениваться книгами, приглашать на день рождения!

Чего ради бегала на Шанхай, унижалась, заискивала перед Ленкой? Лучше бы...лучше бы... Я не знала, что лучше, и со злостью оттолкнулась в своем сером, режущем под коленками, опостылевшем гамаке. Лучше бы выучила наизусть «Евгения Онегина»!

Как поздно приходят к нам блестящие идеи! До конца каникул ос-

тавалось двенадцать дней. Я раскрыла учебник для восьмого класса, отыскала начало и конец «Онегина», пощупала двумя пальцами плотную пачку страниц. Вполне могла бы выучить, вполне. Но теперь нечего и мечтать об этом, теперь уже все.

Я выкарабкалась из гамака и зашла на кухню. Игнорируя волнистое хозяйкино зеркало, висевшее под угрожающе тупым углом и отражавшее одни щепки и шишки для растопки самовара, я достала из чемодана собственное, кругленькое, со станцией метро «Измайловская» на обороте. В карманном зеркале физиономия всегда уже и нос тоньше. Я изобразила оживление и предвкушение счастья.

— Ты куда? — догадалась мама.

— На Шанхай.

— Только не сутулься.

Я в самом деле ужасно горбилась, стесняясь своей непонятно откуда взявшейся возмужалости.

Было еще довольно рано, и на Шанхае играли две неполные команды. Несколько велосипедов стояло в расслабленных позах, цепляясь рулем за сосновые стволы, лоснясь шоколадной, фигурно изогнутой кожей седла. Я узнала Ленкин велосипед с малиново-сине-розовой сеткой и присела на пенек рядом с ним.

Лена в белом платье прыгала высоко, гасила безнадежные мячи, но ее стройное мастерство не влияло на характер игры в целом. Игроки вроде меня некрасиво толкались на обеих сторонах поля, все время шла грызня: чья подача, кто в центре. Мяч отлетал в самые неожиданные места, и бегали за ним неохотно.

Наконец меня заметили. Но не Лена, похожая в своем разлетающемся платье то на парашютистку, то на парашют, а какой-то мальчишка «станционного» типа. Возможно, я его и видела на станции. Играя не лучше Лены, он, видимо, переоценивал себя, если предложил подкрепить мной Ленину команду. Никто не возражал, и я уже побежала на ткнутое кем-то место, как вдруг Лена сделала «пас» без мяча в мою сторону. Она отмахнулась от меня, даже не поглядев, даже не узнав, быть может. Но я замерла на невидимой черте, не смея ее перешагнуть.

Тут не подкрепленная мной команда подняла гаддеж: да что это за неравенство, да кому это нужно?! Как будто я была тем унижительным ферзем, коего с усмешечкой додает игроку слабейшему игрок, уверенный в своей победе. Сквозь жар обиды я все-таки заметила длинный Ленин взгляд сначала на меня, а потом — через рябящую сетку — на моего минутного заступника.

Ее предательство было тем разительнее, что несколько дней назад, еще при Мане, она лицемерно приглашала нас на Шанхай, покровительственно болтала с нами. Ее брезгливое внимание к пойманной мной тогда замечательной бабочке траурный плащ я сочла за интерес к себе лично, к своей коллекционерской страсти. Какая дура! И этот защитник со станции тоже хорош. Почему он не взял меня в свою команду? Просто он влюблен в Лену — вот оно что! Влюблен — и хочет ее раззадорить. А я никакой не ферзь, а пешка в их игре. Я пешка!

Все несправедливости, включая будильник, который я не роняла, а родители считают, что уронила, вдруг воспрянули, наполнились теплым током крови. Я шла домой мимо бесконечных заборов улицы Шмидта (ускорение там, внутри, замедляет время) и завидовала младенцам в колясках с заломленным верхом. Вот кому живется безоблачно — грудникам. А я... А мне...

*Стою на поле волейбольном.
Они играют. Я молчу.
Мне так обидно, так мне больно:
Ведь тоже я играть хочу.*

Я и раньше сочиняла стихи: к праздникам с навязчивой рифмой «поздравляю» — «желаю», в стенгазету о нерадивых ученицах, «тройках, двойках, единицах». Во втором классе, в незабвенном 1945 году, я сотворила как-то сразу:

*Посмотрите на зверя,
Этот зверь был когда-то Геринг,
А теперь он похож на лапшу,
Мы убили его, как вшу.*

Неточности исторические («мы убили его») и физиологические («похож на лапшу») мне прощались за публицистический накал... Но еще ни разу не отводила я стихами душу, как теперь. Ни разу не сгущали они мою мою обиду до состояния непереносимого, чтобы тут же начать разгружать ее, брать на себя ее добрую половину:

*Не ты ли, Лена, на поляне
Сказала, подвезжая к нам:
«Не обращай на них вниманья.
Входи, играй. Я буду там».
И вот молчишь...*

Утренний заряд «Евгения Онегина» сильно давал себя знать. Я перестала чувствовать на своих плечах затрапезно-ситцевую накидушку, так называемое «фигаро», детскому покрою которой приписывала часть неуспеха у мальчиков. «Как денди лондонский одет» был тот (тот поэт), что, помахивая тросточкой (сухой сосновой палкой), шествовал вдоль ограды (из металлических полосок с вырезанными ложками) и продолжал вести мои стихи:

*...Ну что ж, прекрасно!
Зачем меня им принимать,
Когда всем сразу стало ясно,
Что не могу я так играть?..*

В самом деле, зачем? Пускай себе забавляются. Нашла, чему завидовать! Зато никто из них не напишет таких стихов. Даже если Лена проедет, не держась руками, на своем — с такой сеткой — велосипеде пятьдесят раз по Ленточке и по Шмидта, по Шмидта и по Ленточке, — она моих стихов не придумает. И подружки ее тоже, ибо:

*От них я многим отличаюсь:
Их идеалы не люблю,
За мальчиками не гоняюсь,
А только бабочек ловлю...*

Ущемленный девчоночьими секретами Онегин как-то стушевался на миг, чтобы от души отыграться на великосветском восклицании:

*Пускай смеются надо мною!
Пускай серьезно иль шутя
Заметят с важностью большою,
Что я совсем еще дитя, —
Обиду долго не забуду,
Ответ же будет мой таким:
Какая есть, такой и буду,
И подражать не стану им.*

Что-то похожее на взрослость, на внутреннюю независимость шевельнулось в стихах, так скоропалительно сочиненных между Шанхаем и нашей дачей. Хотя это были не совсем мои стихи, они принадлежали

мне больше, много больше, чем ничейное УТРО ПОДМОСКОВЬЯ. Правда, я не удержалась на их нравственном уровне и, пропустив один день, ринулась на воспетое мной злополучное поле. Меня тут же пригласили играть, потому что судьба, даже в своем дачном, несолидном варианте, умеет сменить гнев на милость.

«Евгения Онегина» наизусть я не выучила, но полюбила навсегда, что, может быть, даже лучше. Некоторые куски: начало первой главы, письмо Татьяны, отповедь Онегина — запомнились мне без особых усилий. Я не знала, не предполагала тогда, как скоро и как фантастично отзовется это в моей жизни.

СТОЮ НА ПОЛЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОМ я продекламировала только маме и моему девятилетнему адъютанту, охотнику за насекомыми. Ему первому, потому что его суд для меня значил меньше. Он поймал главное в стихах: что я ухожу куда-то. И попытался меня задержать по эту сторону наклоненного к Ленточке, указующего забора.

Сперва он «притаранил» коробку от папирос «Казбек» — с черным, в бурке, всадником на дымчато-голубом фоне — и таинственно погрел у меня над ухом заключенным в ней жуком. Но я охладела к чешуйчатокрылым. Потом он устроил кавказскую вольтижировку двумя деревянными кинжалами, демонстрируя готовность расстаться с лучшим из них, отшлифованным стекляшкой до лунного сияния. Но что мне были ребячьи забавы!

И вот тогда он камнем сшиб в огороде царь-подсолнух и разломленным на три части, с обнажившимися под семечками ватными деснами, приволок мне. Зерна были так мягки, так легко отделялось ядрышко от сырой лузги, такой слабый подсолнечный намек оставался во рту... И все же мы попиروвали на славу, отбросив пустые соты.

Маме стихи понравились. Но их горестно-личная нота вызвала у нее жалость к своему бедному ребенку. Она приготовила особенно аппетитный ужин и перед сном сказала:

— Надо будет выкроить денег и купить тебе новое платье.

Она почему-то не понимала, что стихи впитали мгновенную горечь, а сама я весела и спокойна. Что это как испещренная лиловым промокашка, вложенная в незапятнанную тетрадь.

«ЕЕ СЕСТРА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНА...»

После каникул парта стала теснить меня. На первом же уроке физкультуры я с удивлением обнаружила, что переросла сразу семерых своих одноклассников и стою уже не ближе к хвосту, а где-то следом за первой десяткой. Пятиклашки, у которых я была пионервожатой, едва доставали мне до плеча. И всякий раз, входя в их мельтешащий мелкокалиберный класс, я снисходительно думала: «Ну, Гулливер в стране лилипутов...»

Первая четверть не принесла никаких неожиданностей, если не считать того, что наш восьмой «А» разбился на группы. Появилась группа танцорок, упражнявшихся даже на переменах. Три или четыре девочки танцевали только «за кавалеров», и на них всегда был спрос. Я тоже пробовала танцевать за кавалера, правой рукой обхватывая свою даму как можно туже (признак мужественности), а левой сжимая до белизны ее чернильные пальцы. Но примитивный рисунок танца — два шага вперед, один в сторону — не устраивал моих напарниц, уже искушенных в некоторых вывертах.

Почти автоматически я перешла в менее многочисленную группу шахматисток. Успокоительный, как валерьянка, лаковый запах фигур и досок, сочный электрический свет — все это было в моем вкусе. Но свет мерк, когда я углублялась в дебри возможных комбинаций. Я прикидывала, изошрялась, подставляла провокационные «жертвы». А в это время противница, может, и не с таким снайперским прицелом, элементарно съедала на другом фланге моего коня или офицера! Не вытянув даже на пятую категорию, я выпала из шахматного кружка.

Была еще группа анекдотчиц, а точнее, сплетниц. Я делала вид, что сторонюсь ее. На самом же деле меня в нее и не пустили бы за фатальную ненаходчивость...

В середине декабря восьмой «В» ближайшей мужской школы пригласил нас на конференцию, посвященную Пушкину. Наш класс пришел не целиком — отсыпались занятые, больные и мужененавистницы. Однако представители всех трех групп были налицо. Пока докладчик собирался с силами (а собирался он демонстративно долго), танцорки танцевали, шахматистки мыслили, а скрытые сплетницы злословили. Потом кто-то затеял игру в «ручеек». На короткое время все группиров-

ки смешались, и множество поспешно соединенных рук образовало сводчатый, извилистый коридор, из которого очередной «пролаза» вытаскивал облубованную пару. Я выбирала только девочек, меня тоже выбирали только девочки, и мое предпушкинское настроение начало заметно портиться.

Наконец расселись по рядам, на скрепленные досками, чрезвычайно неудобные кресла. Оттого, что доклад был скучен, а каждое нетерпеливое движение передавалось всему кресельному ряду, в зале стоял отвратительный скрип. Он умолкал только тогда, когда докладчик пил воду, переговаривался с президиумом и вообще совершал что-то человеческое.

После доклада мальчишка с опущенными плечами понуро прочитал «Деревню» и «Вновь я посетил...» На этом наши хозяева иссякли.

Я была разочарована. Как? Бубнить о Пушкине, точно это какой-то неодоушевленный предмет? Торжественно преподносить нам стихи, вызубренные моими пионерами? За идиоток они нас, что ли, принимают?

Между тем председатель собрания, мальчик в кожаной куртке, что по тем временам было большой редкостью, и единственный, как мне казалось, серьезный человек, галантным жестом пригласил выступить кого-нибудь из девочек. Меня затолкали справа и слева: иди! Кто-то из одноклассниц, сидевших сзади, перекинул мне через плечи довольно длинные косы. Я их не убрала. Ну, конечно, я читала «Письмо Татьяны». Щеки мои горели. От давешнего гнева или от мешающих лицу волос?

Председатель аплодировал стоя:

— А теперь я отвечу вам...

Он прочел отповедь Онегина не столь уж блестяще. Раза два споткнулся, пропустил целых четыре строки... Но он обращался лично ко мне — это все заметили.

*Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней, —*

тут в рядах прыснули. И все-таки я была сама не своя от счастья. Я вдруг полно и глубоко успокоилась. Все, что было сдвинуто летом, что пробовало и не могло улечься в стихах, что мешало учить уроки, ссорило меня с родителями, — все это сразу стало на свое место.

После конференции еще поиграли в «почту», и он несколько раз написал мне. Кто мои любимые герои? Чем я интересуюсь? Кем бы я хотела стать? Я спросила в записке, будет ли он в нашей школе на новогод-

нем вечер. И он ответил, что ТЕПЕРЬ (это слово было подчеркнуто) непременно будет.

В раздевалке девочки громко возмущались бездарным и плохо организованным вечером. Прима анекдотчиц Лида Гор сказала, что эта конференция напоминает покупной пирог. До начинки и не доберешься!

Я рассеянно улыбнулась ей.

На следующий день я пришла в класс раньше обычного: легко встала утром и, чуть не приплясывая, добежала до школы. Портфель не оттягивал мне руку.

Мое появление вызвало многозначительное «о» у протиравшей доску дежурной и завистливые реплики у остальных:

— Татьяна явилась!

— А этот Онегин ничего...

— Усатик... Воображала...

— Танцевать-то он умеет?

— Да кто в этом восьмом «В» хоть что-нибудь умеет?!

Я раскладывала на парте ученические принадлежности, а сама думала об Онегине. Разумеется, я уже знала его имя и фамилию — очень звучные, прямо музыкальные: Игорь Златогоров.

Не из бойких ухажеров

Игорь Златогоров.

И не любит дерзких взоров

Игорь Златогоров.

Я пыталась представить себе, что же он любит, как живет. Хотя с первого класса я училась отдельно от мальчиков, они не были для меня существами с другой планеты, как для иных моих одноклассниц. Те прямо шарахались от мальчишек. В квартире, где я жила, росли два моих сверстника — один на класс старше, другой на класс моложе. Это были нормальные ребята, в меру воспитанные, в меру озорные. Мои отношения с ними строились на прочной практической основе: «дай почитать», «давай решу», «одожди тетрадку».

Ничего подобного не могло у меня быть с Игорем! Я не могла вообразить, что его так же натаскивают родители, так же заставляют мести пол, бегать в аптеку за горчишками. Нет, он совершенно другой. Но какой?..

Я с трудом высидела шесть уроков, хотя всегда училась охотно.

К счастью, меня не вызывали. Может быть, опутанная девичьими раздумьями, я стала для учителей туманным пятном, человеком-невидимкой?

— Прекратите посторонние разговоры!

Это — не мне. Мне следовало бы сказать: «Прекратите посторонние мысли!»

Самое печальное заключалось в том, что мне не с кем было поделиться. С Маней после совместного летнего отдыха мы совсем разошлись. Вообще я заметила, что чрезмерное сближение с друзьями ни к чему хорошему не приводит. На расстоянии вы можете испытывать взаимное тяготение, преодолевать препятствия, чтобы наконец-то оказаться вместе, рваться друг к другу изо всех сил. Но как только дорветесь, тут и сказке конец. Возможно, с настоящими друзьями все не так? Ну, значит, у меня еще не было настоящих...

До Нового года времени оставалось достаточно. Чтобы как-то сократить его, я решила пуститься по второму кругу: танцы, шахматы, в крайнем случае анекдоты. Все лучше, чем киснуть в одиночестве!

Мои капризные «дамы» сделали без меня немалые успехи. Если раньше мы танцевали под «медленный танец», за коим скрывалось простое танго, и «быстрый танец», за коим прятался обычный фокстрот, то теперь из дома в дом в желтых картонных коробках переносились драгоценные, в шрамах и как бы с надкусанными краями пластинки тридцатых годов: румба, уанстеп, тустеп, вальс-бостон. Моя любимая «Родина» Айвазяна не выдержала соперничества со знатными «ветеранами». Что уж говорить обо мне!

Шахматы? Но, проиграв две партии подряд ничем не примечательной Вике с «камчатки», я вдруг разговорилась с ней, впервые за семь с лишним лет. Господи, мы думали одинаково! Она провела очень похожее пустое лето с навязанной ей младшей сестренкой: ни почитать вволю, ни на велосипеде покататься. Она тоже любила стихи, правда, предпочитала Пушкину Лермонтова. Он казался ей содержательнее.

На четвертый или пятый день я, волнуясь и трепеща за исход нашей неокрепшей дружбы, рассказала Вике об Онегине. Она все поняла и задумчиво, даже несколько мрачно предсказала:

— Это не может так кончиться...

Новогодний вечер застал меня врасплох. Когда очень ждешь чего-то, преувеличиваешь растяжимость времени.

В последние дни старого года я пережила сильный испуг. Коллек-

тивное недовольство восьмым «В» чуть не разрешилось самым плачевным для меня образом. На специально созванном бюро (я тоже входила в него) решено было пригласить на вечер не «В», а «Г» — какой-то феноменальный класс с высокими спортивными показателями. И если бы не насмешливое сочувствие Лиды Гор, ловко выступившей в защиту интеллекта, тот, кого я ждала, едва ли попал бы в нашу школу.

Впрочем, «спортивные» гости тоже проникли в зал, и один из них даже влез под потолок по прибитой у двери шведской стенке. Но более культурные одноклассники быстро стащили его на пол. Среди развернутых плеч и атлетических фигур восьмого «Г» я разглядела десятка полтора худосочных «вэшников». Игоря Златогорова на вечере не было..

Я чувствовала себя потерянной. Вику опять приставили к сестренке и чуть ли не со скандалом принудили дышать морозным подмосковным воздухом. Лида Гор, по-моему, злорадствовала. Прочие и думать забыли о моем литературном «романе».

Начались неинтересные танцы, и я покорно отошла в угол, поближе к холодной, криволапой, действительно прекрасной елке, сегодня привезенной и наряженной. Я вовсе не рассчитывала, что меня пригласят. Мальчики безошибочно угадывали наших завязтых танцорок, менялись ими или же надолго «прилипали» к одной. И редко, очень редко нарушали удобную закономерность.

Внезапно ко мне подлетел совершенно растрепанный юнец и вразумительными жестами попытался выволнить меня из укромного места. И тут я забыла, какую именно позу принимает приглашенная девушка. Я бестолково перебирала руками, чуть не обняла его за талию, с грехом пополам прошла полкруга и, извинившись, опрометью бросилась в коридор. Вот оно, мое первое чувство к мальчику! Вот он, мой первый в жизни танец! Я чуть не разревелась. Уйти сейчас же и не возвращаться никогда! Я стала спускаться по мелодично звенящим ступенькам в гардероб.

Онегин поднимался мне навстречу как ни в чем не бывало, улыбаясь с того края лестничного аккордеона. Мы почему-то не поздоровались. Я тупо прошла мимо и очухалась только у вешалки. Что я надела! Как теперь вернуться в зал?

Многоопытная гардеробщица чуть не проглотила меня равнодушным зевком:

— Одеваться будешь?

— Да нет.. платок.. жарко.. танцы, — завиралась я, а сама обыскивала карманы пальто, в которых носовые платки водились крайне редко. Но на этот раз платок был, — видно, мама сунула его перед вечером.

Сжимая в кулаке вещественное оправдание своего ухода, я поднялась в зал и стала ждать записки. Ее не было. Тогда я первая написала ему — какую-то чепуху о четвертных отметках, о планах на каникулы. Он ответил — и ни одного вопроса. В отчаянии я ухватила за испытанное «кто ваш любимый герой», смутно надеясь вернуться в тепличную атмосферу литературы и искусства. Он разразился целым сочинением. Его любимый герой — Евгений Онегин. У него с Онегиным масса общих черт. Подобно Онегину, он не может удержаться, чтобы не развлечься с девочкой. Ему так же, как Евгению, неприятно, если это удастся...

Я закусила все еще бывший у меня в руке платочек: «Если это намек, пожалуйста, выразитесь яснее...»

Почтальонша понеслась от меня к нему не по прямой, а по четырежды ломанной, попутно вручая девочкам и мальчикам жданные и нежданные, похожие на шпаргалки, но взрослого назначения, шуточные, лестные, влюбленные записки. Я оглянулась на преподавательницу литературы, нашего классного руководителя и пристрастного свидетеля всех «совместных» вечеров. Она сияла, как елка. Если бы она знала, что сейчас происходит рядом с ней, под прикрытием ее предмета!

Минут через десять мне принесли ответ. «Откровенно говоря, я написал вам с умыслом. Мне показалось, что вы немножко Татьяна. И я не хочу, чтобы ваше увлечение зашло слишком далеко».

Я сразу ушла из зала.

Забиться сном? Но я не могла уснуть. Как это у Пушкина:

*Не спится, няня; здесь так душно!
Открой окно, да сядь ко мне...*

Увы, я была лишена даже такого утешения. Во-первых, у меня не было няни. Во-вторых, я не могла открыть окно: оно было замазано. Полночи я вертелась на своем новом пружинном матрасе. Еще прошлой весной я спала на детской кровати с провиснувшей от моей тяжести металлической сеткой. Прошлой весной... Да была ли она когда-нибудь!

Утром я почувствовала неожиданный прилив сил. Родители ушли на службу, оставив мне тот условный порядок, в недрах которого уйма черной работы. Я стала разгребать залежи в буфете, перемывать масляные бутылки, освобождать от хлама кухонную полку. При этом я размышляла. Меня унизили, оскорбили. Надо мной просто-напросто посмеялись. Неужели мне так и жить оплеванной?

*Мне абсолютно безразлично,
Поймете вы меня или нет.
Но я хотела, я бы лично,
Чтоб дали вы на все ответ...*

Коричневую кастрюлю я в столбняке рассеянности увенчала зеленой крышкой, а чугунный «чапальник», предназначенный для сковородки, поместила вместе с фарфоровыми чашками. Я путалась в самом обыкновенном, но зато мне везло в стихах. Не отыскивая, я находила слова, облегчавшие зубную боль души:

*Нужны вам милые кокетки,
Которыми богат наш класс?
Для них расставите вы клетки —
Они поймать сумеют вас.
Приятно с ними прогуляться
И вместе на каток сходить,
Разок до дома проводить,
Потом же навсегда расстаться...*

Изрядная мешанина понятий, стародавних и современных, противоестественные гибриды «кокеток записных» и танцорок из восьмого «А» не замечались мной. У меня отлегло от сердца — вот что главное. Как будто неведомый стрелочник перевел поезд с аварийного пути на путь безопасный и целенаправленный, под защитой знакомых зеленых откосов:

*Зачем была нужна вам я?
К чему из всех меня избрали?
Жестоко мною так играли?
Чего хотели от меня?*

Далее следовали еще три распаленные строфы, но заключить я предпочла спокойным презрением:

*Довольно! Я нашла блаженство
И в мыслях и в стихах своих,
Им далеко до совершенства,
Но недостойны вы и их!*

То, что стихам «далеко до совершенства», надо было понимать как риторическую фигуру, мимолетную дань поэтической моде. На самом деле я была весьма горда стихами и благодарна вернувшейся Вике за то, что она оценила их по достоинству. Вика считала, что стихи надо немедленно передать адресату, и вызвалась это сделать. Я дала согласие. В конце концов я поступала в лучших традициях русской классической литературы, и это прибавляло мне храбрости.

Мы не без труда узнали телефон Игоря, составили текст лаконичного одностороннего разговора, и втиснулись обе в замороженную телефонную будку недалеко от школы. Тщательно подготовленная первая фраза: «Слушайте и не перебивайте», — лишала абонента возможности возражать и любопытствовать. В целом разговор напоминал вызов на дуэль:

СЛУШАЙТЕ И НЕ ПЕРЕБИВАЙТЕ! ВАМ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАТЬ ПИСЬМО. БУДЬТЕ СЕГОДНЯ, РОВНО В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА, У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ. НИКОМУ НЕ ГОВОРИТЕ НИ СЛОВА. ПОРУКОЮ НАМ ВАША ЧЕСТЬ.

Вика договаривала в трубку последнюю фразу, а я уже держала наизготове руку в душной варежке, чтобы мгновенно нажать на рычаг автомата. Придет или не придет? Часа три мы слонялись по улицам, стараясь не думать об Онегине. Ровно в шесть Вика стояла у памятника, а я издали следила за ходом операции. Он пришел. И в тот самый миг, когда Вика протянула ему стихи, вспыхнули фонари на сквере. Незапланированная иллюминация прилась как нельзя более кстати.

Стихи были переданы, справедливость восторжествовала, но мне от этого не становилось легче. Со мной творилось что-то неладное. Я вдруг осознала, что похожа на Татьяну даже в мелочах, что Татьяна всегда жила во мне, маскируясь только из чувства стыдливости. Ну разве не про меня сказано:

*Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.*

И то, что «задумчивость, ее подруга от самых колыбельных дней», и то, что «ей рано нравились романы; они ей заменяли все», — было написано прямо обо мне. Правда, не обошлось без некоторых натяжек. Я, скажем, никогда не была «дика, печальна, молчалива», не «казалось девочкой чужой» в своей дружной семье. Уж не говоря о том, что косы

мои были русого, или, как выражались интеллигентные мамы подружки, пепельного оттенка, а Татьяна, по общему мнению, — жгучая брюнетка.

Но кто это придумал? У Пушкина этого нет. Я не поленилась просмотреть все варианты романа, все примечания, до коих мне никогда не было дела. О цвете Татьянинных волос Пушкин умалчивал.

Я так любила Татьяну, что пожелала совпасть с ней всеми точками, как совпадают наложенные друг на друга треугольники. Получив пятерку, я непременно становилась грустной, я перестала ласкаться к родителям, я попробовала читать Руссо.

Мне самой была удивительна такая власть надо мной, может, и глубокой, но пассивной природы. Мне всегда нравились характеры героические, меня пленяли девушки-воины, подпольщицы, борцы. Недаром я еще пионеркой играла Зою в «Сказке о правде», Валю Борц в школьном спектакле по «Молодой гвардии». А тут вдруг, зарасте, пожалста, Татьяна Ларина? Неужели все это проделала со мной... любовь?

Да, я любила этого Игоря-Онегина, этого Евгения Златогорова — теперь бессмысленно было бы отнекиваться. Я любила его, а он как сквозь землю провалился. Один только раз я встретила его на районном слете пионервожатых, но он даже не кивнул мне. Зачем я послала ему эти глупые стихи, зачем деклариовала свое абсолютное безразличие? Понятно, что он постарался исчезнуть и, вероятно, навсегда...

Всю бесконечную треть четверть я не жила, а существовала. Внешние приличия были соблюдены. Я сносно училась, штудировала историю Великой французской революции, составляла литературно-музыкальные монтажи для своих пионерок. Под чутким руководством учителя физики мы с Викой смастерили искусственный костер, создававший у детей да и у меня летнее, лагерное настроение. Исходным «сырьем» послужили: старый оранжевый абажур, вентилятор и полоски алого шелка.

В темном зале оживало шелковое пламя нашего костра. Пятиклассницы, свободные от ига несчастной любви, высокими голосами читали стихи о прошлой войне и девочке из Пхеньяна, пели песни о демократической молодежи и борьбе за мир. На какое-то время мои личные беды растворялись во всеобщем воодушевлении. Но дома у меня начиналась хандра. Вика была в курсе моих переживаний, однако сентиментальные излишества я скрывала и от нее. Откровенной до конца я могла быть только с Пушкиным, и он, казалось, понимал меня.

Я читала его стихи, и — о чудо! — они становились моими стихами.

Какой-то луч прорезывался в душе, луч если не разделенного, то, во всяком случае, оправданного чувства. Я осмелилась переделать на женский лад самое великодушное, самое прощальное стихотворение «Я вас любил...» Вышло немного коряво, но правдиво и утешительно:

*Я вас любила, и любовь, быть может,
В душе моей угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любила долго, безнадежно,
То робостью томима, то тоской.
Любила вас так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимым быть другой.*

Почему-то именно над этим перелицованным пушкинским стихотворением я однажды заплакала: так жалко мне стало себя теперешнюю, себя будущую, всех несчастных влюбленных и... Александра Сергеевича.

На предпраздничный майский вечер я иду по инерции. Мне все равно, кого пригласили, «В», или «Г», или еще не опробованную мужскую школу — наш класс все мечется в поисках идеала.

Майский как две капли похож на новогодний, и я тоже не утруждаю себя новшествами: забираюсь в спасительный угол, на этот раз не одна, а с Викой. Танцевать нас, конечно, не приглашают, и мы не могли бы объяснить, что нас тут удерживает.

Вика первая замечает Игоря и сжимает мою руку, присягая на верность, какой бы жертвы я от нее ни потребовала. Игорь направляется к нам, и Вика молниеносно ретируется, освобождая чужое поле боя.

Однако все идет очень мирно. Игорь здоровается со мной (впервые в жизни) и приглашает на танго. Танцуем мы одинаково плохо, и это дает мнимое ощущение гармонии. Музыка уже нет, но он не отходит. Намерена ли я до конца терпеть эту скучищу? Не лучше ли прогуляться по праздничной Москве? Он многое хотел бы сказать мне в ответ на стихи и вообще...

У выхода я ловлю преданный, напряженный взгляд Вики. Он мне сигналил: не уступай! Моя милая, «подкованная» подруга ждет от побежденного гордеца немедленной репарации. А я жду совсем другого.

И вот мы идем мимо сборчато-красных майских витрин, мимо тускло горящих при естественном свете гирлянд, мимо знакомых с мла-

денчества, никогда не стареющих портретов. Я не знаю, как мне держать голову. Фас у меня лучше, чем профиль, но от натужного поворота головы деревенеют шейные мышцы. Все же я пытаюсь идти, оборотиться к Игорю всем лицом. Правая рука болтается, как плоть, а левой я то и дело поправляю шарфик и незаметно растираю неживую шею.

Игорь говорит занимательно, остроумно, высмеивает свою недавнюю онегинскую позу. Теперь он увлечен «Педагогической поэмой» Макаренко. Вот это человек, вот это образец для подражания! Он предлагает мне в конце учебного года устроить совместный сбор моих и его пятиклассников, «чтобы мальчики и девочки не росли такими дикими».

Я смотрю на него и удивляюсь: ну, какой это Онегин? Просто компанейский парень, успевающий ученик, один из лучших в районе вожаков. И с чего это девчонки взяли, что он усатик? Даже теперь, пять месяцев спустя, у него не усы, а так, тень какая-то под носом, точно бабочка оставила нежную пыльцу.

Прощаясь, он хвалит мои стихи и просит телефон. Телефона у меня нет, и тогда он собственноручно записывает на листочке номер, который я давно знаю наизусть: 5-25-20. Бывают же на свете такие легкие номера! Когда Вика путем сложных махинаций раздобыла его телефон, я была почти оскорблена простейшим набором цифр. Как это он не пришел мне в голову сам? Как это телефонный диск послушно не повернулся на нужных знаках?

Я блаженно сплю всю ночь и утром собираюсь позвонить ему. Но вряд ли это прилично — надо выждать хотя бы три дня. Потом начинается предэкзаменационная горячка, и я опять не звоню — пусть самое радостное останется на каникулы. Наконец сдан последний экзамен, и мы всем классом идем в кафе «Мороженое». Помешивая ложечкой в растаявшей коричнево-белой бурде, запивая ее невкусной розовой водой, я с тайными замираньями сердца думаю: ну, уж сегодня позвоню обязательно.

Расстаюсь с классом, счастливо бренчу заготовленными монетами, подхожу к автомату. И вдруг чувствую, что у меня сел голос. От мороженого. Пожалуй, Игорь не узнает меня. Придется унижительно объяснять, кто я такая... Позвоню завтра. Дома меня ждет замечательный сюрприз. Отгу дали много раз откладываемый отпуск, и мы завтра едем на Кавказ! Впервые на Кавказ! Неужели я не рада?..

С Кавказа я привожу не стихи о красотах южной природы, не описание головокружительной поездки на Красную Поляну (этого втайне ждет от меня отец), а всего одно стихотвореньице, к тому же скрытое

от родителей, «нецензурное». Поэтических достоинств у него очень немного. Вот, правда, написано оно хоть скромными, но своими словами:

*В пятнадцать лет — почти закон:
Внезапный чей-то взгляд,
Улыбка, голос, телефон,
Повторенный стократ.
Смешные встречи у витрин,
На лестнице, в кино,
Случайно, просто, без причин,
Продуманных давно.
И на листке, где горы дат,
Где Ньютона закон,
Вдруг тот, повторенный стократ,
Знакомый телефон.
Потом вечерняя Москва,
Вдоль улиц огоньки,
Немного глупые слова,
Пожатие руки.
И все! Запомнишь телефон,
И то, как звук пустой,
Лишь потому, что он... что он
Совсем-совсем простой.
Встречай же век свой молодой
И в жизнь себя готовь.
Придет, придет своей порой
И взрослая любовь.
Но как сквозь пыльное стекло,
Увидишь те черты
И вспомнишь рук его тепло,
Забывшие мечты.
Покров деревьев негустой,
И встречи у окон,
И слишком легкий и простой
Знакомый телефон.*

Прощай, игра в Татьяну и Онегина! Здравствуй, Пушкин! Чем взрослее я становлюсь, тем преданней люблю тебя. И эта старая невыдуманная история — только дань твоей памяти.

Отчаянные наши игры.
А «Гуси, гуси, га-га-га» —
Ребячество, а не игра.
Я в круглосуточном саду.
За чаем жду.
Ночами жду.
Я жду родительского дня.
Всех любят — только не меня!
Одна за толстыми дверьми
Стою.
Слезами щеки мажу.
«Конфетку, девочка, возьми.
Дай поцелую за мамашу!»
Я не хочу, я не хочу,
Чтоб мне из жалости дарили!
Опять зима.
В руках верчу
Мороженые мандарины.
Солдат в ушанке

их принес.

Солдат!
Не Дедушка Мороз!

Четыре года нам должна,
Все детство нам должна война.
И вот уже который год
Она его не отдает.

ОСЕНЬ

Веет осенью.
Тишина.
Я иду под чьими-то окнами,
Не усталая, не одинокая, —
Просто я сегодня одна.

Фонари надо мной зажглись.
Клены
Желтые звезды сбросили.

Я беру на память об осени
Горьковатый, в морщинах, лист.

Кто-то шепчется там, впотьмах.
Бродят парочки
Вереницами.
Это счастье, быть может, снится мне
Только в самых секретных снах.
Я гляжу сквозь кленовое кружево,
Прижимаю листья к груди,
Невлюбленная, незамужняя..
Это все
Еще впереди!

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Примите в камеру хранения
Не чемодан и не плетенку —
Мое дорожное смятение,
Мое постыдное хотение
Опять забиться в комнатенку.

Примите в камеру хранения
Не вещевого мешок в заплатках —
Мое плохое настроение,
Мое великое сомнение
В моих особенных талантах.

Примите в камеру хранения
Все то, что мне наобещали,
Мое сплошное невезение:
Мои свидания осенние,
Мои весенние прощанья.

Квитанций с камеры хранения
Я не возьму. С какой же стати?
Мне только чувство обновления,
Мне только радость откровения
И молодость мою оставьте.

ШАГИ

Покрыть твои шаги чужими
И сделать вид, что не с тобой,
Как заведенные, кружили
Мы по вечерней мостовой.
Застлать твои шаги другими,
Как войлочным половиком,
Твои звенящие — глухими,
С тяжелым плоским каблуком.
С другим стоять в подъездах гулких.
С другим выписывать круги.
Теряться в тех же переулках.
Стереть (сберечь!) твои шаги.

*** *** ***

Все говорили: дурочка!
А это была Снегурочка.
Была не такой уж маленькой,
Но все ее поучали:
«Иди и любовь вымаливай,
Не вымолишь — плачь ручьями».
Твердили: «Ступай на выселки,
Возьми у колдуньи зелье...»
А гордость куда?
На выставку?
Чтоб на нее глазели?..
Сколько на свете дурочек!
Вот и я не могла бы
Из весенних снегурочек —
Просто в снежные бабы.

*** *** ***

Молчи, район моей любви —
Четырнадцать кварталов счастья!
Меня за локоть не лови —

Я не хочу с тобой встречаться
Ни утром, ни в разгаре дня
(А вечера теперь короче!).
Ты не разыгрывай меня
И не разгуливай до ночи.
Не засекай, район любви,
Меня на каждом перекрестке,
В пролеты лестниц не зови,
Не пачкай в краске и известке,
Не отводи оконных глаз
И не топи в тени скамеек..

Ты это делал тыщи раз —
Ты не откроешь мне америк!

*** **

У меня сегодня нету дел.
Двадцать пять мне нынче.
Двадцать пять.
Набираю телефоны старых дев,
Приглашаю их немножко погулять.
Где же наши мальчики?
А там!
Бродят по весенним площадям.
Все они талантливейший народ —
Взрослости мне в них не достает.
Я сама умею так гадеть,
Я сама умею так глядеть,
Я сама читала уйму книг,
Я взрослее сверстников своих.
Это можно ведь сойти с ума,
Если все сама, сама, сама.
Хочется, чтоб кто-то был сильней,
Хочется, чтоб кто-то был умней,
Чтобы он — рукой по волосам,
Чтобы он, как маленькой:
— Я сам!

Вот мы и остались не у дел.
Все равно гуляем, все равно.
Набираю телефоны старых дев
И веду их в панорамное кино.

БЕССОННИЦА

У моего отца бессонница,
Он в кресле как ночная птица,
Я понимаю, что бессовестно
Храпеть, когда ему не спится.
Но ночь берет свое.
Отколотый
От спящих, он сидит, дежуря.
Над ним луна в масштабах комнаты —
Зеленый круг от абажура.
Как долго сон его сторонится,
Как тянется ночное бденье.
И это я — его бессонница,
Мое прикрытое безделье.
И правда, мало в жизни сделано,
Одни лишь планы, планы, планы.
Самостоятельность?
Но где она?
Не в сторублевке же зарплаты.
Почти ничем отца не радую
И часто нарушаю слово.
Но по утрам с отцовской правдою
До хрипа спорить я готова:
«Не отпевай. Я не покойница.
Все впереди. О человеке
Иначе надо беспокоиться,
Я не хочу твоей опеки.
Да, ваше время скороспелое,
А нам нужна иная зрелость...»
Я называю черным белое,
Ведь мне не то сказать хотелось.
Но спор доказывает равенство

Между отцом и мной, как будто
Не он, а я была изранена,
В опорки грязные обута,
Как будто я несла воззвание:
«Смерть белой банде, красным слава!»
И подо мною конь вызванивал
По улицам Бугуруслана...
Отцы, чьи прошлые ранения
Все чаще колют нас укором,
Меня пугает их смирение
Перед пустым дочерним вздором.
Да осади меня насмешкою,
Я защищаюсь очень глупо.
Но мой отец чего-то мешкает
И говорит немного глухо:
«Ты знаешь, у меня бессонница,
Все ночью вижу в мрачном свете.
Давай не будем больше ссориться.
Отцы неправы, правы дети».

1960

*** **

Нет кабинета у поэта.
Что за поэт без кабинета!
Однако я встаю чуть свет
И, чистя зубы в общей ванной,
Вдруг озаряюсь мыслью странной:
Вот мой рабочий кабинет.

Потом в холодной пирожковой
Я пью напиток порошковый,
Раз кофе в кофеварке нет.
И с выражением овечьим
Сижу и думаю о вечном.
Вот мой рабочий кабинет.

Сажусь в троллейбус номер первый
И, чтобы успокоить нервы,
Смотрю — счастливый ли билет?
И если да, то сколько новых
Стихов шепчу меж остановок.
Вот мой рабочий кабинет.

Все дело в том, чтоб не шептать их,
Все дело в том, чтоб написать их,
Пока весь этот белый свет —
Мой персональный кабинет.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ

Автомобильный спорт хорош
Для слабосильных силачей.
Когда ты в руки руль берешь,
Земля твоя, а ты ничей.
Ты можешь взять бензину впрок,
«Поддай!» кричать, «Еще поддай!».
Как жмут рукою на курок,
Так жать ногою на педаль.
Ты можешь бешеную прыть
Родить движением одним,
Хоть день, хоть час, хоть миг побыть
Не пассажиром — рулевым.
Но и владельцу автоправ
Забвенья ставится в укор,
Тебя хватает за рукав
Дорожных знаков частокол:
НЕ ОБГОНЯЙ,
СБАВЬ СКОРОСТЬ,
СТОЙ,
Как будто ты на всем ходу
Столкнешь с орбиты шар земной,
Собьешь Полярную звезду.
Но у тебя свои дела —
И некогда озорничать.

Ведь жизнь твоя заведена
Скупым ключом на краткий час.
Как у тебя горит лицо,
Когда ты видишь путь впотьмах,
Само Сатурново кольцо,
А не баранку сжав в руках.

*** *** ***

Зимний дом отдыха, снег да катки.
Нет молодежи, одни старики.

Поговорят, побряхтят, посидят,
Книгу возьмут, а на стенку глядят...

Взрослая школа продленного дня!
Ты научи прилежанью меня,

Спрячь от меня надувные мячи,
Головоломки решать научи,

Строго внуши, что безделье — позор,
С третьего блюда начать не позволяй.

Только бы вечером, после шести,
Стали дежурные классы мести,

Только б кричали они вразнойбой:
«Что же ты киснешь? Пришли за тобой...»

А старики за столами сидят,
Без аппетита, как дети, едят,

Страстно, как дети, играют в лото,
Но не приходит за ними никто.

ТАЛАНТ

И.П. Погорелко

Хирург завоевал авторитет..
Пока коллеги за ухом чесали,
Он, как вышагивает стих поэт,
Выстаивал профессию часами.

Толплятся ординаторы за ним,
К нему воскресшие идут по стенке.
Разрез его всегда неоспорим,
И шов его не ждет переоценки.

Завидна мне раскрепощенность рук,
Сутулость не конторщика — Атланта,
Непререкаемость его заслуг,
Безоговорочность его таланта.

А я устала от стихов на час:
То рвут из рук, а то не нужно даром.
Критерий где? Мы путаем подчас,
Кто гений, кто способен, кто бездарен.

Хочу, чтоб был вещественным талант,
Талант, а не удобная личина.
Чтоб, отработав, сбрасывать халат,
Где каждое пятно красноречиво.

*** *** ***

Сети кругом развешены,
Хочется их потрогать.
Руки у каждой женщины
Обнажены по локоть.

Ходят шагами крупными,
Перекликаясь громко,

Водят руками круглыми
Розовыми, как семга.

Синяя, белая, красная
Бьется в сетях добыча.
И красота их разная,
Женская и девичья,

Правильная и пряничная,
Служит делу подспорьем.
И вся городская прачечная
Пахнет соленым морем.

РУСАЛКА У МИСХОРА

Боролась с морем, устала,
Грудью кормит сыночка..
Да разве это русалка?
Это мать-одиночка.

Ей незачем быть красивой.
Теперь не имеет значенья
Хвост — трагический символ
Женского отреченья.

Висит он пудовой гирей.
Русалка с младенцем, скажи мне:
Ты стала морской богиней
Не от хорошей жизни?

*** **

Ты теперь — как выход,
я — как вход,
Заземление ты,
а я антенна.
Все у нас теперь наоборот.

Два тоннеля метрополитена.
Но не может быть, что все ушло,
Что-нибудь, наверное, осталось.
Не используй это мне во зло,
Человек, с которым я рассталась.
Все, что я писала, изорви,
Припиши недолгому пожару,
Все, что говорила о любви,
Отнеси к какому-нибудь жанру.
Все, что я дарила, в мусор брось,
Но спаси пустяк, безделку, малость,
Выполни последнюю из просьб,
Человек, с которым я рассталась,
Потому что тяжело уйти,
Не оставив ни вещи, ни строчек.
И ручей уходит из горсти,
Забывая желтенький песочек.
Голову смотри не расшиби,
Но не прячь и под крыло, как страус.
Хорошо, но без меня живи,
Человек, с которым я рассталась.

*** **

Семья — это дело вязальщиц,
А я не умею вязать.
Опять этот желтый вокзальчик,
Рюкзак за плечами опять.

Попутчица скажет о муже:
«Любить я его не люблю,
И все-таки надо потуже
Затягивать эту петлю».

Какие нескладные спицы
В моих неуклюжих руках!
Мне нечем с тобой поделиться,
Рюкзак мой ветрами пропах.

Но черствый сухарь расстояний
Я честно делю на двоих,
Хозяйка своих расписаний
И враг рукоделий своих.

*** *** ***

Междугородная! Алло!
Соедините нас друг с другом:
С внезапным холодом тепло,
Почти что Север с ближним Югом,
Соедините с тенью свет,
Соедините шепот с громом,
С его вопросом мой ответ,
Все малое со всем огромным.

Междугородная! Прошу
Соединить затишье с ветром,
С парашютистом парашют,
День с вечером, письмо с конвертом,
Соединить с иглою нить,
Двадцатый век с двадцатым веком,
Грусть с радостью соединить
И человека с человеком.

ГОСТИНИЦА

Гостим в гостинице с тобой,
Живем впервые общим домом.
Нам этот номер голубой
При солнце кажется медовым.
Но быт гостиницы суров,
Ей вовсе не до этикета
За длинной описью ковров,
За долгой чисткою паркета.
Дежурная по этажу
Меня встречает строгим взглядом,

Когда я мимо прохожу
Одна или с тобою рядом.
И что-то щеки мне печет,
Когда я подхожу к окошку
И мне выписывают счет
На стол, на стулья, на дорожку,
На палисадник под окном,
На снег, который галки месят.
И так неспешно, день за днем,
Проходит наш медовый месяц.

ДОМ

П. С.

Дом как дом.
Мы слишком затвердели,
Чтобы неудобства брать в расчет.
Ладно уж и то, что две недели
Надо мной не каплет, не течет.
Что мои семейные заботы!
Что мои домашние дела!
Жду с работы.
Никого с работы
Я вот так протяжно не ждала.
Мы смеемся, думаем, читаем,
Скуку не пускаем на порог,
Мы друг друга приобщаем к тайнам,
Накопившимся за долгий срок.
Вечно спотыкаюсь о ботинок,
Рантовый, уверенный, мужской,
И совсем не слышу, как будильник
Утром гаснет под твоей рукой.
Счастлива...
А я и раньше знала,
Что любить иначе не смогу.
Суть любви, почти как суть привала,
В том, чтоб отдышаться на бегу.

ВЕРТОЛЕТ

Вертолет как мельница,
Поднятая в небо.
Намели мне, мельница,
Много-много снега,
Кротости и смелости
Выдай без задержки,
Мельничной оседлости,
Вертолетной спешки,
Тяжести и легкости,
Я не протестую,
Чтоб вращались лопасти-
Крылья не впускаю.
Намели мне, мельница,
Хорошей погоды,
Медового месяца
На долгие годы,
Друзей попокладистей,
Врагов позубастей,
Современных радостей,
Старомодных счастлих.

БАЛЛАДА ОБ ОДНОЙ КОМНАТЕ

Все в одной комнатке, все в одной комнатке:
Шашка на стенке и детские коврики.
Кончил училище — въехали вскорости
В дом, где не в комнатке жаться, а в комнате.
Комната светлая, комната длинная,
Бывшая бальная или гостиная...
Муж на войне, ребятишки простужены.
Топишь «буржуйку», чтоб чаем поужинать.
«Мне бы свиданьица! Им бы здоровьица!»
Горькая сводка от спички коробится.
Ясно от зарева, мрачно от копоти.
Все в одной комнате, все в одной комнате...
Радость победы! Бульон из говядины!

Блиzkих друзей напоили, спровадили.
«Папа!» И пляски ребячьи дикарские.
«Папа, еще одну сказку!» До сказки ли?
Глупый, желанный, родной, нерешительный..
«Спать, полуночники, спать, нарушители!»
Шепчешь в жару, а командуешь в холоде.
Все в одной комнате, все в одной комнате..
Стали юннатами, дом затоварили
Птицами, рыбами, всякими тварями.
Муж говорит: «Птицы — самое лучшее.
Я молодею, когда их послушаю».
Должность оседаая, да беспокойная.
После дежурства соснуть бы. Какое там!
Разве уснешь в этом щебете, гомоне?
Все в одной комнате, все в одной комнате..
К дочке подруги, а к сыну товарищи.
Кофе какое-то черное варишь им.
«Что ж вы родителей из дому гоните?»
Все в одной комнате, все в одной комнате..
Дали кому-то папаху. Два вечера
Мужу пеняла: «Квартиру бы! Четверо!»
Взгляд ухватила — и больше не спорила.
Бог с ней, с квартирой, с папахой — тем более.
Что-то он стал невеселый, замотанный.
Не заболел ли моими заботами?..
Сын защищает диплом своевременный.
К дочери ходит жених неуверенный.
«Вы мне парадную скатерть не комкайте!»
Все в одной комнате, все в одной комнате..
Вышла — уехала. Кончил — направили.
Сам-то сгорел на работе, как в пламени.
Ходишь и планки считаешь на кителе.
«Милые, вот вы меня и покинули,
Тварей не держите, свет экономите.
Все одна в комнате, все одна в комнате».

1966

Портниха шьет по старым швам,
 Не верит собственным ушам,
 Когда ей говорят:
 «Премило!
 Но вы владеете иглой,
 Вам стыдно тешиться игрой,
 Перешивая то, что было.
 Скажите, в чем же ваш талант?
 Не в пуговке ли «Elegant»
 На платье ветхого покроя?»
 Талант блестящей бляхой стал,
 Талант мучительно устал
 От этой пуговичной роли.
 Но сила творчества не в том,
 Чтоб слыть нарядным пустяком
 И быть ничем на самом деле.
 Кроить от целого куска —
 Как это трудно, как близка
 И как я далека от цели.

МОЕЙ БИБЛИОТЕКЕ

Я продаю свою библиотеку,
 Я в десять тридцать букиниста жду
 Оценщикам модерна на потеху,
 Утильщикам на зависть и вражду.
 Незстетично, если книг сверх меры:
 Их явно не вмещают стеллажи,
 Их не предполагают интерьеры,
 Так равнодушно вписанные в жизнь.
 Прощай, Дюма!
 Мы всей семьей решили,
 Что проживем без шпаги и плаща.
 Прощай, Плутарх, Майн Рид и даже Шиллер,
 Тридцатитомник Диккенса, прощай.
 Я оставляю только хлеб насущный,

Тех, чья на мне навечная печать.
Всех прочих буду с миной равнодушной
В читальный зал похаживать читать.
До половины пройдены ступени,
А может быть, осталась только треть.
Мне не до вас, «Собрания сочинений»,
Мне «Избранное» только бы успеть.
Но как расстаться с этими томами,
Где ум и совесть, красота и жар?
Ненужных нет, бездарных нет меж вами.
Вы точно люди.
Вы — живой товар.
Шкафы томов! Я под дождями мокла,
Чтобы подписку разрешили мне.
Прощайте вы, светящиеся окна
В пустой, в глухой, во внутренней стене.

1966

СНЫ

Такие сны мне снятся в эту зиму,
Так радостно, раскованно и зримо
Все в них: от детских санок с бахромой
До поезда, летящего стрелой.
Провалы... Взлеты... Я спешу куда-то,
Одетая легко, щеголевато,
Как никогда одета не была,
Не по годам спокойна и смела.
А сколько лет мне?
Двадцать или десять?
Не знаю я...
Без паспорта, без денег,
Без аттестата, без диплома —
р-раз —
И вот уже на воздух поднялась.
Опомнись! На четвертом-то десятке!

А это значит, я еще в порядке:
И снег, и свет, и сердца сладкий стук...
А то с чего бы мне приснились вдруг
Такие легкомысленные санки,
Такая куртка, красная с изнанки,
Подруги детства, и отец, и мать,
И дурость юных —
время подгонять.

*** *** ***

Тургеневские, милый мой, места,
Тургеневский ракитник над водою,
Тургеневская сила естества
В деревьях, изрубцованных войною.

Ты знаешь ли наплывы на коре?
Чтоб там, внутри, курсировали соки,
Стволы с железной хваткой лекарей
Самим себе накладывают скобки.

И вот наплыв. Заплата или нет,
Скорее лицевая хирургия.
Тогда, теперь и через триста лет
Тургеневская Средняя Россия.

Мне тут оказан ласковый прием
Едва знакомой женщиной из Мценска.
Грибы едим, и чай до пота пьем,
И ставим чайник на «Курьер Юнеско».

Такой родимый запах от грибов,
От свежей булки, испеченной к чаю..
И все это похоже на любовь.
К тебе? Ко всем? К Тургеневу? Не знаю..

РУССКАЯ БОРЗАЯ

Из какой-то там дыры,
Из дворняжьей конуры,
В жар меня бросая,
Русская борзая.
Благородный экстерьер,
Наведенный револьвер
Вытянутой морды,
Вид ужасно гордый.

Эта нега, эта статья!
Их осталось — посчитать.
Время, что ли, смыло?
Говорят, что Бондарчук
Раскопал пятнадцать штук
Для «Войны и мира».

Здравствуй, чудный мой кобель.
Что же мне сказать тебе?
Зря зубами блещешь:
Я к тебе от всей души,
Лай, но только не брещи.
Приучили. Брещешь.

Твой хозяин бестолков:
Ты охотник на волков,
А не на воришек.
Ведь и так тяжел засов,
Беспородных всяких псов
Ведь и так излишек.

И пора бы знать тебе,
Что борзым показан бег,
«Ах ты!», а не вахта.
Сердце так заведено,
Что в бездействии оно
Гибнет от инфаркта.

Что же делают с тобой?
Говорят тебе «тубо»,
Мясом губы мажут,
Перед носом машут.
Крикнут «пиль» — в один бросок
Ты хватаешь свой кусок,
Душу мне терзая,
Русская борзая.

1969

*** **

Две ленинградки,
Компаньонки, что ли,
Учившие детей в советской школе,
Водившие отряды в Летний сад
(Теперь их сорванцам под пятьдесят),
Бранившие педологов и прочих
Судей, до нежной психики охочих,
Прожившие полжизни без удобств
В квартире с видом на Дворцовый мост,
Владелицы газетных фолиантов,
Не допускающие экскурсантов
В кунсткамеру своих старинных чувств,
Не верящие в Бога — разве чуть? —
Прославившие чудачками в подъезде,
Два раза в год на Пискаревку ездят
И там не плачут и не бьют поклоны —
Прямые, как ростральные колонны.

1970

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Неотразимость старых лент..
Неповторимость давних лет..
Плакаты. Молнии. Агитки.
Чтоб донести размах до нас,
Лез оператор, как гимнаст,
На рукотворный пик Магнитки.
Без длиннофокусных затей
Сперва у топки попотей,
Потом под белого медведя
Подляг,
Чтоб видел зритель твой,
Что ты не шулер,
Головой
Рискуешь,
Правдой факта бредя.
Я проповедник тонких средств:
Люблю, когда журчит подтекст,
Люблю монтажные уловки.
Но правда факта — это вещь!
И вещь — когда ты взмокнешь весь,
Хватая суть без лакировки.
Пускай «Челюскин» твой погиб, —
Не хнычь, не прячься, не беги,
А, припадая на треногу
(Как мамонт, раненный во льдах),
Снимай.
Гони постылый страх.
Цел объектив —
и слава Богу!

ФИНСКИЙ ДОМИК

Финский домик — раскладушка:
Погостил — и будь здоров.
В нем и холодно, и душно,
Много мух и комаров.

Но меня прельщают те же
Свойства, что у шалаша.
Основательность коттеджа
Мне была б нехороша.
Да не так уж он и хлипкок,
Дом, законченный вчерне,
Пара дудок, пара скрипок
Помещаются в стене.
У сверчков свои тетради,
Свой минор и свой мажор.
Так что слух мой не внакладе,
И самой мне хорошо
Наслаждаться на природе
Солнцепеком, холодком,
А потом на самолете
Взмыть над утлым чердаком,
Подержать его в ладонях,
И отчалить, и салют!..
Жизнь — она как финский домик
Соберут и разберут.

*** *** ***

Пока росла, все были молодыми,
Никто не умирал, не угасал,
Никто на идилической латыни
Ужасных приговоров не писал.
Врачи микстурой спаивали сладкой,
Укладывали в тридцать семь и шесть
И щекотали в горлышке лопаткой,
Которой бы мороженое есть.
Грознее, чем бесцветная вакцина,
Природа не придумывала бед..
Какой суровой стала медицина
За эти восемнадцать — двадцать лет!

УГОЩАЮ РЯБИНОЙ*

Я притянула ветку
И отщипнула кисть.
И вдруг откуда-то сверху
Слышу:
«Поторопись!
Выбрала самый длинный
Путь —
так ступай скорей...
Угощаю рябиной,
Больше нечем, ей-ей.
Нет ни водки, ни хлеба.
Понимаешь, скандал:
Раньше богатым не был
И еще обеднял.
Но богатство, поверь мне,
Для поэта — хомут.
Дорого только время,
Всех дороже валют.
Что-то на свете вашем
Эти слова не впрок.
Жил Александр Яшин —
Время мотал как мог.
Что я с собой лукавил
(«Не моя, мол, вина...»),
Понял, ложась под скальпель
Самого Блохина.
А душа половинной
Долею не сыта.
Угощаю рябиной
Я тебя неспроста:
Знаю, что много тягот,
Что семейный разлад.
Наломай зимних ягод —
Может быть, исцелят?»

* Так называется один из рассказов Александра Яшина.

Хороши от утара,
От тоски хороши.
Не разменивай дара,
Плюнь на все и пиши!..»
...Чтобы с волнением сладить,
Долго держу во рту
Горькую эту сладость,
Красную черноту.

1971

*** **

Устала я... Поверь и не кори.
Не говори, что сделано так мало.
Я руки состирала до крови,
Хоть в проруби белье не полоскала.

Я уставала много дней подряд:
Кормила, мыла — разве все упомнишь?
Хоть у меня не дюжина ребят,
А лишь один-единственный детеныш.

Прабабушку мою не поминай.
Ей было плохо, мне намного лучше.
В далекие, глухие времена
Едва ли бабы были так живучи.

Но если паром выйдет весь мой дар
И не сумею ни любить, ни петь я,
Какую бы отсрочку век ни дал,
Я не хочу такого долголетия.

Как мала моя дочь!
Как стара моя мать!
Как должна я
Обоих детей опекать!
Дочке — сказки читать,
Маме — правду смягчать,
На одну покрывать,
А другой промолчать.

Нелегко вместе с дочкой
Твердить мне азы,
Запрокидывать к небу
Картавый язык.
Нелегко наперед
Вместе с мамой моей
Разгонять отложения
Всяких солей.

Две обузы —
На что я себя обрекла!
Два гремучих прицепа,
Два тяжких крыла,
Две мои половины —
Я и дочь, я и мать.
Как мне их отделить?
Как себя разорвать?

Но, сделав привычный укол,
Вдруг вспомнит:
 он создан для риска!
Летавший всю жизнь высоко,
Неужто он сядет так низко?

Красив он, как перед венцом,
Берет и гитару к тому же,
И женщина с горьким лицом
Глядит с обожаньем на мужа.

Как жаль, что бессмертия нет.
«Прощайтесь!» — морозом по коже.
Мы все — «уходящий объект».
И жизнь, если вдуматься, тоже.

Наш опыт в кино невелик,
Но сладко бывает и грустно
Мелькнувший за трапезой миг
Возвысить до правды искусства.

КРЫЛЬЯ

Грузный, обрюзгший мужчина в летах
Ты ли?
Ты же, когда мы встречались, летал.
Где твои крылья?

Ты говорил, что влачиться — позор,
Пешие — пешки.
Я понимала, что ты не позер,
Молча глотала насмешки.

Как ты боялся любого манка:
Женщины или
Девочки — предполагалось, меня, —
Вяжущей крылья.

Все проблемы решали
и лишь одного,
Что им делать со мной,
не ведали.

Каждой крохой тепла все равно дорожу.
На вопрос неуверенный — помнишь ли? —
Все я помню, скажу, все я знаю, скажу,
Кавалеры мои, несмышлелыши.

*** **

Чужой болезни страж,
Не знаешь, как помочь.
Стакан, платок подашь,
Сидишь, не спишь всю ночь.

Не смотрит на меня.
Ну что ж, не в этом суть!
Сползает простыня —
Оправить, подоткнуть.

Рука висит, как плоть, —
Удобней положить...
Сама начну болеть,
Кто станет сторожить?

Кто бросит все дела?
Ворчат друзья мои:
Свой дар, мол, принесла
Я на алтарь семьи.

Пусть не могучий дар —
Пронзительный зато.
«А он тебе что дал?»
И в самом деле — ч т о?

Тролейбусы слышны,
А я еще не сплю.
Лицо белей стены,
И я его люблю.

Рот слабо приоткрыт,
Два склеенных угла.
«Спасибо», — говорит.
И по слогам: «Спас-ла»...

И ничего не жаль,
Лишь был бы он здоров.
И милосердья жар
Дороже все даров.

*** **

Какой архив мы развели!
(Из ничего как много звона...)
Его потом не сдашь в ЦГАЛИ
И не продашь с аукциона.

Что будет делать наша дочь
С мешками писем, сочинений,
С фотоальбомами — точь-в-точь,
Как если б тут скрывался гений.

Она их станет разбирать,
С трудом одолевая дрему,
И снова сунет под кровать,
Не в силах резать по живому,

Э, девочка, не дорожись,
Ни адресов, ни дат не помни.
Ведь это все — чужая жизнь.
Крой свою поэкономней.

ПРОСТОР

А. Жигулину

..Но вот однажды самолет
Меня унес.

И я бесстрастно
Смотрела, как внизу цветет
Незаселенное пространство.

Тут не слышали про «метраж»,
Не бредили «жилищной нормой»,
Чернел единственный шалаш
На берегу реки огромной.

И милосердней медсестер,
И хирургии эффективней
Мне показался тот простор,
Серебряный, молочный, синий..

Вернулась я.
Угрюмый быт
Опять велит впрягаться рикшей,
Опять завалами грозит
Душе, недавно воспарившей.

Но та жива.
С недавних пор
Есть у нее своя опора:
Простор Оби, тайги простор —
Предвестник вечного простора.

ГРИБНОЕ МЕСТО

Отыскала грибное место
И стою и глазам не верю.
Отыскала грибное место
Я — испытанная тетеря.

Как слепая, бродила в о з л е,
Р я д о м, о к о л о — вот так отдых!
Понимала, как мало пользы
В одиноких моих походах.
Верст пятнадцать-то находила,
Ноги в ссадинах и поныне,
По грибочку-то находила,
Дно покрыла в пустой корзине.
Но чтоб сыпались, как монеты,
Чтобы множество шляпок сразу,
Чтоб одни — одному заметны,
А другие — другому глазу,
Чтобы шеи не разгибая,
Не вздыхая о перерыве,
Чтоб опушка вся сплошь грибная, —
Это чудо со мной впервые..
Без приятелей, без семейства
Я по лесу шла наудачу,
Набрела на грибное место —
И от радости чуть не плачу.

НОВОСЕЛЬЕ

Переехала в новый район..
Эка невидаль! Есть чем гордиться!
Раньше видела Кремль из окон,
А теперь овощные теплицы.

Раньше соли назначенный пуд
С дорогими соседями ела.
А теперь где стучат, где орут,
Где танцуют — какое мне дело!

Идеальной не жду тишины.
Лист фанеры — бетонные плиты.
Общежитием закалены
Мои нервы, а может, убиты.

Обнаженный, распахнутый вид,
Нестесняемый ветер весенний.
Сколько в жизни еще предстоит
Новоселий, везений, веселий?

Слева высится башенный кран,
Справа тянется лужа за лужей.
Новоселье... Не самообман?
Не одна из привычных иллюзий?

Колеи своей не одолеть,
Колеи или узкоколейки,
Мир — долготно-широтная сеть,
Я все в той же прозрачной ячейке.

Все равно ощущение рывка.
В новом качестве я существую.
Жизнь сурова, сложна, коротка.
Но спасибо и за такую.

ПРАВ

Как в Текстильщиках у нас
По субботам перепляс.

Активистки из фабкома,
Из теплиц овощеводки
Мужиков бросают дома,
Пригрозив потравой водке.

Сыты под завязку
Вашими чекушками!
На асфальте вязком
Будет пляс.
С частушками:

Платформы мои,
Я на вас как на мели.
Я надела б лодочки,
Поплыла б к залочке.

Ты глазами-то не хлопай.
Я с работой справилась,
А с тобою, недотепой,
В первый раз упарилась.

Тучи небо обложили.
После ливня радуга.
Хороши мужья чужие,
Да и те ненадолго.

Человек с умом непыртким
Как-то мне сказал:

«Так вот,
Все дано тебе с избытком,
Нрава лишь недостает».

Позаимствую же нрав
У совхозниц, у текстильщиц
И, тоской тоску поправ,
Сделаюсь одной из тысяч.

Шторы новые раздвину.
Слез никто не выдавит.
Чем жалеть меня, разиню,
Лучше пусть завидуют.

*** **

В октябре запотели веранды,
Пожелтел изнутри березняк.
У меня еще есть варианты,
Значит, дело мое — не табак.

И за мною последнее слово.
Подожду, погляжу и решусь..
Что ж свободой выбора, словно
Принудилкой, я тягочусь?

Почему в эту райскую осень
Глас мерещится мне в тишине:
«А с тебя мы, голубушка, спросим
За отступничество — вдвойне»?

Пощадите! Я мигом довольна,
А по вечным счетам заплачу.
Принудите! Бескрайняя воля
Мне, невольнице, не по плечу.

У меня еще есть варианты.
Жизнь и смерть под рукою держу.
Примеряю я их как наряды:
Полюбуюсь — и прочь отложу.

С ПОЛУСЛОВА

Поймите меня с полуслова,
В несвязном нащупайте связь.
Неужто рассказывать снова,
Когда я и где родилась?
Он общий, наш рай коммунальный:
И лестница с розой витков,
И общий звонок inferнальный,
И кнопки личных звонков.
Какая школярская наглость,

Какой очевидный конфуз —
Рифмуя стихи сикось-накось,
Ломиться в святилище муз.
А музы-то, женщины сами,
Заводят тебя, засмеют:
«Далеко ль с такими стишками?»
Но кончила Литинститут.
На шпильках, в малиновом платье,
Взлетаю без лифта туда,
Где стены в дешевом накате,
В мелу и пыли провода.
Бог с ними! Условно постукав,
Из двери — в заветную дверь,
И воздух арбатских проулков
Сгущается, как суховей.
...Гул классов и аудиторий
Сменяет вселенская тишь.
А этот... тот самый... который...
Над ранней могилой стоишь.
Так что же: все махом, все прахом?
В премудрость ученых страниц
Вникаю с надеждой и страхом,
И мне объясняют они,
Что наши мечты и химеры
Идут не на лом, не на слом,
А входят в состав ноосферы,
Под сенью которой живем.
Мы многое делали плохо,
Но верит Вернадский В.И.
Грядет золотая эпоха
Свершений, добра и любви.
Рожденной на склоне тридцатых,
Мне, может, удастся, как знать,
Свой самый последний десяток
На гребне веков разменять.

НОЧНАЯ БАБОЧКА

Мысль ехать к Пастернаку сначала посетила гениальную голову моей однокурсницы, будущей детской писательницы. Ну посетила и посетила. Мы скрупулезно высчитываем количество посещений, скажем, кинотеатров и библиотек. Но кто интересуется, сколько высоких мыслей посещает наш мозг и многие ли из них становятся явью?

Между нами состоялся такой примерно разговор:

— Томк, давай навестим Бориса Леонидовича!

— Чего это вдруг?

— Подарим ему цветы.

— Неудобно. Он нас не знает. Кто мы такие, чтобы навещать Пастернака?

— Мы будущие... Ты — поэтесса, я — прозаик...

Подруга произнесла это тихо-тихо, как будто боялась спугнуть грядущее. Неизвестно, с чем оно грядет — с золотой рыбкой или рваным башмаком на конце удочки (была такая детская игра).

— А деньги на цветы?..

— Наскребем...

Это теперь собирают средства со всех, известных и неизвестных, называется: добровольные пожертвования. Мы же собирали их только промеж себя и не называли никак. Или: для Бэ Пэ. Для кого, нам ясно, а другим знать не полагается, потому что секрет. Хоть и небольшие деньги требовались на подарок, но ведь и стипендия не крезовская: 220 на первом курсе, то есть по-нынешнему 22*. Просить дотацию у родителей неохота. У меня отец — пенсионер, у подруги и вовсе нет отца. К тому же, обращаясь за помощью к старшим, мы разрушали что-то та-

* В масштабах цен до 1992 г.

кое хрупкое, но чрезвычайно важное, преступали такую воздушными знаками, но непреложно означенную заповедь целомудрия, что сделать так — значило испоганить всю идею. Денежки стали откладывать. И набрали рублей сорок (читай 4!)*, строго разграничив: эти — на цветы, эти на дорогу. Через будущую переводчицу, причастную к пастернаковскому окружению, узнали: Борис Леонидович болен и находится у себя на даче в Переделкине.

Стоял конец марта. Ни сирени («намокшая воробушкой сиреневая ветвь...»), ни ландышей («сырой овраг сухим дождем росистых ландышей унизан...») в продаже еще не было. Мы купили веточку мимозы, хотя не могли припомнить стихов Пастернака об этом жеманном растении. Нам понравилось, что наша мимоза была не инкубаторски-желтой, а коричневой, словно подпаленной на жаровне страсти. Это подходило для поэта, написавшего строки, которые мы узнали недавно, но полюбили сразу, запомнили с ходу наизусть:

*Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.*

«Объяснение» с пачкой других, тоже неопубликованных пастернаковских стихов кто-то принес в Литинститут, едва ли догадываясь, какую бурную цепную реакцию вызовет оно в некоторых душах.

В тот день мы маялись у начала реакции, обдумывая, что еще купить на оставшиеся грошики. И тут я углядела гиацинты.

Раньше таких цветов я не знала, в нашем скромном доме они не водились. Услыхав название от гордой редким товаром продавщицы, я сперва вспомнила известную актрису Гиацинтову, стройным лиловым нарядом освежавшую одну скучную классическую пьесу, и подумала вскользь, как подходит ей ее фамилия. И только потом соотнесла чудесный цветок с его родичами из растительного царства. Он, казалось, собрал все лучшее, что есть в ландышах и сирени, тюльпанах и лилиях.

— Берем? — ткнула меня в бок подруга.

Я перешла на согласное мычание.

— А денег хватит?

Что за вопрос! Я вытряхнула на ее ладонь все, даже медяшки. Тридцати копеек все равно не хватало, но тетка простила нам.

Моя спутница кое-что смыслила в ботанике. Перед длительным путешествием цветы были запеленуты в бумагу, удлинненный по размеру

миמוзы сверток болтался на веревочке, веревочка — на пальце. Внутри мы вложили записку: «Дорогой Борис Леонидович! Очень любим Вас. Скорей поправляйтесь. Студенты». Какого вуза, указывать не стали. Отрицательное отношение Пастернака к «выращиванию» будущих писателей было известно.

Не успела электричка отойти от Киевского вокзала, как двое из нашего купе, с кем мы, как дуры, даже общались по-соседски, встали и, сразу сделавшись значительней и суровой, чем наши профессора перед экзаменом, потребовали билеты. «Заячьи» трюки известны: лицо, плавающее, как блин, якобы в столбняке рассеянности, зондирование — напоказ — кошелек, выворачивание — напоказ — карманов. Мы не унизилась до такого. Нет билетов, и нет, делайте, что хотите. Наша наглость, которую сегодня, пожалуй, сочли бы внутренней независимостью, развязала контролерам языки. Заработала легкая артиллерия предвестником тяжелой. А что за ней? Невыплаченный штраф, громогласный срам, требование паспортов — их нет, прогулка под конвоем до конца вагона и дальше, в милицию. И вот тогда... Сколько раз убеждалась я в том, что доброе дело, свершаемое даже втайне, влечет к себе добрые сердца, а дело злое — соответственно другие, опять же по сходству.

— Я заплачу за этих девочек! — вскричала одна из вагонных незнакомок, по добродушно-одуловатому виду не скопидомка, однако и не транжирка. А так как тертое Подмосковье не верит платоническим порывам, поднялась с места, разметав полы демисезона, пошла в нашу сторону и, похоже, собиралась приклепнуть две дореформенные десятки к физиономиям удивленных контролеров.

Штраф был принят неодобрительно.

— Потакаете зайцам! — пробормотал наш недавний сосед.

Зато дальше мы ехали спокойно, став если не героями дня, то героями ближайшего получаса.

Переделкино порадовало нас жижей под ногами и жижей под носом — в ответ на раздражительно живой, обогащенный «О-два» весенний воздух. К Пастернаку мы шли кружным путем, потому что встречающиеся переделкинцы путались в местных писателях, лауреатах и не лауреатах — слишком велика была плотность гениев на небольшом клочке земли. У дачи копошились два ремонтника. На мое почтительное: «Здравствуйте, товарищи! Дома ли хозяин?» последовало угрюмое: «Расхворался. Увезли в Москву». Народ не терпел литературщины.

Возвращение в переполненном вагоне электрички (опять зайцами), поездка не в том троллейбусе на мелочь, извлеченную из подкладки

пальто (да здравствуют дыры в карманах!), продолжительный путь пешком до Лаврушинского переулка заняли около двух часов. Смеркалось, когда мы с подругой вошли во внутренний двор писательского дома. Городские жители были лучше осведомлены о Поэте, чем сельские.

Робость и совесть имеют немало общего. Но если совесть — зверь когтистый, как величали ее классики, то робость — зверь, замыкающий уста, парализующий конечности. Аккуратная старушка выглянула на наш звонок. Ах, к Борису Леонидовичу? Сейчас, сейчас. Что сказать, как нас представить?

Ска-азать? Предста-авить? Подруга подняла наш торпедоподобный цветочный сверток на ладонях и буквально втокнула его в руки Арины Родионовны:

— Там все написано!

— Так вы не зайдете? — то ли обрадовалась, то ли огорчилась старушечья, и на ее открытом лице поэтовой няни заиграл отсвет хорошего воспитания, данного хозяевами. — Скажите хотя бы, как вас зовут...

— Там все написано! — тупо повторила я за подругой, и мы, не попрощавшись, отступили вниз по лестнице.

Через минуту — накаленный волнением воздух стал отличным звукопроводником — мы услышали бодрые восходящие старушечьи шаги, щелкнул замок, очевидно, пастернаковской двери, раздался трубный мужской глас на низкой вопросительной ноте и выше на октаву нянин ответ. Затем все смолкло.

...Я вернулась с похорон Бориса Леонидовича Пастернака в свою келью и разрыдалась. Как же так? Три года назад я стояла под самой его дверью. Можно было пойти к нему, поговорить с ним. Он жил, дышал, работал. А теперь — точка. Теперь его нет нигде.

И каким он ушел, каким ему дали уйти — униженным, оплеванным. Между тем мартом и этим июнем — обвал, черное судилище. Те гиацинты горели, как рождественские свечи. Потом над ним зачали факелы инквизиции. Это над ним-то, написавшим «Сними ладонь с моей груди»...

Месяца два назад я впервые в жизни попросила путевку в Дом творчества «Переделкино». Жила я тесно: в коммуналке, в одной комнате с родителями. Муза если и посещала наше общежитие, то по ночам, крадучись. Мне выделили место в святилище из какого-то особенного фонда — «для начинающих», что ли. Срок заезда: 2 июня 1960 года. Я мчалась сюда, чтобы вдоволь испить свободы, а угодила прямо на похороны.

Когда мое внимание привлекла эта бабочка? По-моему, два дня спустя, вечером, после ужина. По радио передавали Третий концерт Прокофьева в исполнении Вэна Клайберна (по привычке все называли его Ваном Клиберном), я было уселась в почтенном писательском кругу слушать музыку, но меня разобрала такая тоска, что я быстро ушла в свою каморку.

Вот тут я увидела ночную бабочку. Она не билась под матовым плафоном, ввинченным высоко над головой. Не заползала, как в цветок, в раструб настольной лампы. Она безмятежно сидела на белом потолке, как будто нарочно для того, чтобы ее не могли не заметить. Уже потом, когда, стараясь не повредить пепельной пыльцы, я переселила ее к себе на ладонь и книжечка ее крыльев вдруг раскрылась, меня как прожгло тем самым пастернаковским током:

*Я удивилась: серо, вяло
глядело верхнее крыло.
Но нижнее под ним пылало
и красным празднично пекло.
На нем играло изобилье
оттенков, нежных и густых.
Зачем ей огненные крылья —
ведь по ночам не видно их.
Что в этих крылышках сетчатых,
занявшихся так горячо?
Быть может, алый отпечаток
зари, невидимой еще?*

Написанные в тот же вечер стихи я мысленно адресовала Пастернаку. Напечатать их тогда с посвящением не представлялось возможным. А сейчас не представляется приличным. Нет ничего никчемней запоздалой отваги.

Много лет спустя на глаза мне попало стихотворение американской поэтессы Денизы Левертов. В переводе Владимира Корнилова. Я читала, и кончики моих пальцев подирало морозцем:

*За день до его смерти бабочка,
что приехала в город, возможно,
на грузовике,
сбила меня на полчасца с пути
или с того,
что я приняла за путь.*

*Она, я знала, всегда жила на русской
земле, —
но во мне откликнулось что-то,
когда она, темная, тонко-
крылая, в алых пятнах,
явилась мне у входа в подземку...*

Словно в укор мне американка назвала стихотворение «Памяти Бориса Пастернака».

У древних душа-психея летала. Воплощалась в мелких крылатых созданий: птиц, бабочек. Время — понятие относительное. То, что для меня еще даже не миновало, для молодых, может быть, древность.

Однажды, в год 1960-й, двум женщинам на противоположных точках земного шара явилось одно и то же и вызвало одинаковую ассоциацию: с душой поэта. Неужели это и впрямь была его душа? Возможно ли такое? Не знаю. Мир невидимый, мир духовный, сказал современный мудрец, так же неисчерпаем, как зримый.

ГАДАНИЕ ПО ХАФИЗУ

Мне было 24 года.

Я была одинока и неприкаянна. Два родственных слова не обязательно ходят рука об руку. Одиночество — растяжимое понятие. Можно расположиться в нем уютно, как в отдельной квартирке, извлечь из него одни плюсы. Я же плутала по одиночеству, как по темному лесу, и, словно косые дождевые струи, сыпались на меня одни минусы...

Как многие одинокие девушки, я верила в гадания, в хиромантию — во все «такое этакое».

Однажды летом я приехала в писательский Дом творчества, расположенный в старинной усадьбе. Маститые литераторы, иные опираясь на палку, гуляли перед балюстрадой террасы; кто-то углубленно читал на скамейке книгу, кто-то, воткнувшись носом в блокнот, не замечая окружающих, сточил нетленку...

— Эй, девушка! — высунулся из зелено-голубого «Москвича» симпатичный мужичок. — Вы кого ищете? Хотите научу водить авто? За один урок. Идите сюда!

Я подошла. Мужичок был кино-фотогеничный с широким диапазоном ролей — от целинника до резидента: ковбойка, кепи с оттянутым вниз козырьком, голубой подмигивающий глаз, веселые веснушки.

— А вы кто? — с опаской спросила я.

— Шофер... привез одного классика... — он поднял растопыренные руки, показывая внушительные — физические и литературные — габариты своего шефа.

Не прошло и пяти минут, как я уже сидела в кабине рядом с бойким водителем, а он знай себе переключал скорости, давая мне подержаться за регулятор и при этом экзаменуя, как школьницу: первая... вторая... молодец... тре... да нет, четвертая, не считай ворон... третья — вот она...

Я быстро усвоила водительские азы и мысленно уже вела чужой автомобиль. Куда? Разумеется, к счастью. К счастью, которое мне никак не давалось.

Только что кончился (я думала: в очередной раз прервался) мой военно-полевой роман. Почему военно-полевой — ведь война давно прошла. Да потому, что я и он (мой избранник) пребывали в состоянии вечной изнурительной борьбы: ссорились, мирились, сходились, расходились. У нас не было общего дома, и условия смахивали именно на походно-полевые, хотя оба мы были горожанами и имели московскую прописку.

Желая отблагодарить нечаянного автоинструктора, я заглянула в его ладони. Великолепно проложенные линии — головы, сердца, солнца, т.е. таланта, мощные бугры, переходящие в широкие равнины, где ведет свои игрища интеллект, множество ответвлений и пересечений, что свидетельствует о богатой внутренней жизни. Тройное кольцо Венеры — дар красивой любви.

— Вы — не шофер! — догадалась я. — С такими линиями шоферов не бывает!

И надо же такому случиться, что именно в тот день, но ближе к вечеру, не молодая уже поэтесса, из одной, тогда еще не рвавшейся к независимости южной республики, затеяла гадать... по Хафизу.

В комнату южанки набились женщины, в основном писательские жены (за глаза именуемые жеписы), но и писательницы — тоже. Она долго тасовала колоду каких-то особых карт, загадочно поглядывая на нас.

— Хафиз все знает! — с вкусным акцентом говорила она. — Вэс мир гадает по Хафизу. Американский президент гадает по Хафизу.

Гадание оказалось несложным. Вы произносили про себя вопрос, сосредоточивались на нем и тащили из колоды карту. Снаружи она была, как полагается, в рубашке, но с внутренней стороны вместо играль-ных фигур стояли стихи Хафиза. Не зная вашего вопроса, поэтесса переводила с фарси его ответ. Ответы поражали точностью попадания.

Так норовистой супруге одного именитого старца выпало: «Много цветов вокруг тебя, все манят и благоухают, но ты держись за свой прежний цветок».

Писательницы, все как одна, рассмеялись. А «жеписы» смутились.

— И всегда ответ соответствует вопросу? — усомнилась одна переводчица.

— Всегда. Нэ самневайся!

— А вот я о таком спрошу, что Хафизу и не снилось.

— Спрашивай!

Переводчица собрала лоб в складку плиссе и из середины колоды выковырнула карту.

— Хафиз тебе говорит: милая, моя, успокойся, на старости лет будешь иметь дэрэво, под которым сможешь сидеть.

Все, естественно, заинтересовались, что же такое она загадала.

— Получу ли я, наконец, квартиру? — как-то растерянно призналась Фома в юбке.

И вот тут решила узнать я. Судьбу своего военно-полевого романа. Для меня, повторяю, брезжила надежда, что все еще вернется, что мы будем вместе и уже навсегда.

Женщины посторонились.

— Пусть молодая спросит: Нам-то в наши годы что нового может сообщить даже великий Хафиз?

Выбранная мной из колоды карта расстроила гадалку. Явно смягчая, не желая убивать юное дарование, в каких я тогда ходила, вздохом предваряя неприятный прогноз, она сказала, что Хафиз не советует возобновлять наши встречи. Слишком много я себе намечтала! Сбыться моим фантазиям не суждено.

Все были шокированы. Мне захотелось убежать в никуда.

И тут я вспомнила о «Москвиче» цвета морской волны, о моем новом знакомом, оказавшемся известным писателем, королем фельетона.

«Будет ли продолжение у этой истории?» — мысленно спросила я и потянулась еще за одной картой.

На сей раз гадалка выразила восторг.

— Какими стихами отвечает тебе Хафиз! Ты сделала замечательный выбор! Огненная страсть ждет тебя с этим человеком. Нэ пугайся препятствий, нэ бойся злых людей. Любя друг друга, вы все преодолете и еще при жизни попадете в рай...

Ошеломленная, я выскочила в сад — искать того, с кем мне было обещано счастье по первому разряду. И довольно скоро нашла его...

Райская любовь не настигла нас на земле. Каждый встретил другого — и настоящего! — спутника жизни. Неужели Хафиз ошибся? Или ошиблась я? Я ждала от человека-кометы упорядоченного движения по идеально округлой сфере своей судьбы. Я ждала искусственной гармонии, соответствующей моему девическому идио... идеализму. Разве гуляка, пьяница и мудрец Хафиз говорил о браке? Он обещал мне огненную страсть. А я побоялась опалить крылышки.

МЫ — СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

*Казакову Юрию Павловичу,
писателю, на тот свет.*

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогой Юра! Мои письма к тебе пропали. Ты ничего не умел хранить: ни писем, ни фотографий, ни магнитных пленок, ни рукописей. Оговорила — машинописей, потому что сочинял прямо на машинку. Главное, конечно, самое хрупкое и самое вечное, что есть на свете, бумажные листки с буквами — словами — фразами, ставшими художественной литературой. Даже они, не все, славу Богу, унесены Летой твоей безалаберности.

Когда вы с матерью переехали в новую квартиру на улице Чайковского (бывший знаменитый Новинский бульвар), часть вещей и бумаг по слабосилию твоему осталась в родимой коммуналке на Арбате. Старый дом, ровесник века, с безмятежным числом 1904 на каменном челе, ставили на капитальный ремонт. Надо было срочно выгрести из вашей комнаты все мало-мальски стоящее. Твоя жена, тоже Тамара, и твоя приятельница Люда Г., по твоей просьбе, пошли на пепелище. Я не была, ты не просил, и я радовалась, что не просишь, — потому передаю с чужих слов. Обе рассказывали, что ходить приходилось, по щиколотку утопая в твоих бумагах. Что-то удалось выхватить, спасти от небытия, что-то погребено там навеки. О степени сохранности могу судить по своему фото. Помнишь, ты щелкал меня «фэдом» осенью 58-го на пляже в Пицунде? Сам потом проявил, сам напечатал (тщательно, как делал все, когда делал) на прекрасной немецкой фотобумаге «Мимоза»... Так вот: мне принесли огрызок одного фото, испещренный проколами то ли шляпной булавки безумной ревнивицы, что как будто исключается, то ли крысиных зубов, что куда более вероятно, — мятый, уродливый, втоптаный в грязь огрызок. Я положила часть рядом с целым: карточкой из надежно припрятанного конверта. И заплакала. Без слез.

Да что фото! Не уцелел даже конец, а может, и добрая последняя треть рассказа «Пропасть». А с какой страстью ты писал его, как внут-

ренне дрожал: это угаданное мной, — ты раз небрежно, но радостно кивнул на мою сообразительность, — состояние, когда зуб души на зуб не попадает, когда внутри одна сплошная пляска святого Витта, было единственным, в котором ты мог творить. Оттого так и ненавидел внешние помехи: сперва институтские, потом союз-писательские настырные ЦУ, хищную дружбу коллег, капризы влюбленной девочки, недовольные вздохи родственников и свойственников.

Выгадать на клеенке обеденного стола квадрат величиной с салфетку для своей мелкобуквенной «Колибри» ты еще мог. Главным образом, по ночам, так как жил в одной комнате с матерью, неродной сестрой, эпизодическим отцом, недавно вернувшимся после ссылки. Но развязать душу до вольной художественной вибрации имел возможность далеко не всегда. Если же твое божественное «я» вырывалось на свободу, озноб души, настроенной на одну волну с колебаниями мирового эфира, независимо от твоей воли перетекал в полновесную и окончательную словесную музыку. Это и есть талант. Может быть, гений. А нас учили, что талант — это какой-то флюгер на искусственно поднятых ветрах школьной истории.

Написал ты мало. Но так хорошо, что лучше тебя никто, по-моему, и не писал русскую прозу после корифеев. Бунина. Набокова.

Вернись к рассказу «Пропасть». Уже после твоей смерти его напечатал журнал «Смена». Потом он вошел в книгу заметок и набросков «Две ночи». Не рассказ, увы. Обрубок рассказа. Голова и торс. Финал утерян. Если бы тогда, в 57-м, когда ты трепетал над этим рассказом, тебе сказали, что он приползет к читателю без обеих ног, как бы ты отреагировал? Заикание не мешало тебе перемежать краткую по необходимости речь не всегда лаконичными сильными выражениями.

«Пропасть» была твоим задушевым созданием. Ты мог присутствовать, отсутствуя, на лекциях в Литинституте, мог что-то «хрюкнуть» (твое слово) на семинаре по марксизму. Но подспудно в тебе все время совершалось таинство прорастания и цветения литературных замыслов. Как в женщине, что решилась стать матерью. И «Пропастью» ты был беременен давно.

До чего он твой, этот рассказ! Восемь страниц о погибели любви, роковом несовпадении душ и судеб, нежданной смерти... Твой герой ленинградец. Санкт-петербуржец, сказали бы теперь. Но до этого гордого имени, Юра, нам, как до звезд. Ты-то никогда не заблуждался насчет природы человека вообще и нашего в особенности. В человеке тьма восстает на свет, и пожирает его вместе с потрохами и побегими высшего,

и торжествует победу. А потом еще и хвастливо именуется светом — вот что самое обидное. Ты это знал, ты об этом писал, когда всякими моральными кодексами старались прикрыть бездны и пропасти человеческой натуры. А тебя называли очернителем, декадентом, смакователем физиологического начала...

Ты меня прости, но в твоём Агееве (Агеев и Агеев, без имени) прощупает нечто очень мне знакомое, а именно та разрушительная стихия, какую ты нес в себе... Но это — потом. Поначалу все идет как по маслу. Итак, Агеев возвращается домой в Ленинград из двухмесячной поездки с геодезической партией. Геологи, геодезисты — это было модно тогда, и это, пожалуй, единственная твоя дань тому времени. Ты — коренной москвич, но в ту пору бредил Ленинградом. Его разводные мосты, его белые ночи, его пустынные светлые площади и всегда темные каналы сводили тебя с ума. Представляю, как сладко тебе было вообразить, что ты ленинградец отродясь. Что у тебя там любовь. Как у Агеева. Юное создание. Леночка. Ты, то есть он спешит к ней...

«Наконец он совсем оделся, в последний раз причесал и распустил волосы, последний раз тщательно осмотрел себя в зеркале и вышел. В прекрасном пиджаке с покатыми плечами и разрезом сзади, в узких, почти обтягивающих икры брюках, в ослепительной рубашке с твердым холодным воротничком, с туго, узко затянутым галстуком, он медленно пошел по улице, отвернув полу пиджака, сунув левую руку в карман брюк, и на него тотчас стали оглядываться, так он был свеж, так молод, такая решительная влюбленность читалась на его загорелом побледневшем лице.»

Это — не автопортрет. Возможно, тайно ото всех ты и мечтал быть таким — свежим и нарядным. Известно, что в творениях своих творец возмещает то, чего ему не додало Небо... А вот «причесал и распустил волосы» — это твое, пережитое. «Распустил», разумеется, для того, чтобы при раннем облысении казаться поволосатей. А «причесал» из любви и склонности к порядку. Да, в тебе фантастически уживались беспечный хранитель и ревностный аккуратист.

Два месяца назад Агеев и Леночка встретились в незакатном свете у Дворцового моста. Перед самым его разъемом.

«Уже огороженный, уже готовый застыл этот мост, и бежали, прорывались под тревожные свистки опоздавшие с той и этой стороны. И, закинув голову, перелетела мост и остановилась, задыхаясь от испуга усталости, та, ради которой через полчаса забыл уже все на свете Агеев.

А мост в ту же минуту дрогнул и стал беззвучно разыматься, приподниматься, вздыбливая рельсы, вздымая шелковистые, темно-серые ленты асфальта, запрокидывая фонари, столбы с провисающими проводами, открывая под ногами столпившихся черный страшный провал. И вот уже он вздыбился, застыл, как актер, воздевший руки в немом трагическом жесте.

— Как страшно! — прошептала она и тут только перевела дух».

Никакой любви, насколько я знаю, в Ленинграде у тебя не было. Была тоска по ней. Может быть, предчувствие ее. И если предчувствие, то любви ненадежной, несчастливой, фатальной. Разве расхождение мостов — не символ разъединения жизнью? Агеев сам провоцирует реакцию распада, начинает и успешно ведет подрывную работу по уничтожению счастья:

«Уже собравшись, перед тем как ехать на вокзал, он имел время зайти к ней, предупредить, узнать адрес, но не пошел... Не пошел нарочно из-за какого-то мгновенного упрямства, с едкой радостью думая о том, как она огорчится, отчается, когда он не придет в субботу, когда пропадет, исчезнет для нее на много дней, и каким зато счастливым будет их свидание, когда, вернувшись, он придет к ней».

А вернувшись и войдя в квартиру через «двустворчатую старинную дубовую дверь», он видит крышку гроба, прислоненную к стене в коридоре... Рассказ обрывается на слове «еще». И ему ясно, что это не конец. Та желтая лихорадка вдохновения, что трепала тебя немилосердно, не могла отступить на служебном слове, не взяв свое, не выжав тебя, как тряпку.

Удивительное дело! Не будь в работе «Пропасти», возможно, и не началась бы наша переписка, жизнь моя оказалась бы беднее на драгоценную пачку твоих писем и телеграмм.

Впрочем, мы обменивались записками и раньше. На скучных лекциях. И на увлекательных — тоже. У меня сохранилась куча твоих записок по разному поводу. Тут много любопытного. Вот ты делишься со мной так называемыми «секретами литературного мастерства»: «... всегда пиши, прислушиваясь к стуку своего сердца. Если, когда ты складываешь строку, сердце твое замрет от сладости, то точно так же оно замрет и у читателя твоего». Вот зовешь на концерт итальянского тенора, который выступает в Октябрьском зале Дома Союзов. Присылаешь шуточный заговор на жениха: «Пусть раб божий (имя) тоскует по рабе божьей (Тамаре) божий день и ночь. Вином не заливает, хлебом не заедает, чаем не запивает, табаком не закуривает, сном не засыпает, а идет к рабе

и несет все домой». Может, и не стоило бы упоминать об этом, если бы года через два в рассказе «Манька» уже не придуманный, а настоящий любовный заговор не зазвучал во всю языковую мощь: «Стану я, раба божия Манька, благословясь, пойду перекрестясь... Из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чисто поле... Так бы и он скрипел, и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!»

Читал ты много. В записках есть и это: «Только сейчас доходит до меня «Жан Кристоф». Великая вещь! Очень бодрая»; «читал Лемке о цензуре»; «Бунин — божество, недоступное совершенно и с непонятной гениальностью»... По твоему совету я прочла «Пан» и «Викторию» Гамсуна, «Фацелию» Пришвина, «Творчество» Золя, «Хромого барина» А.Толстого. Было о чем потолковать. Устно и письменно...

Почему писали друг другу? Как заика ты предпочитал эпистолярный жанр? Не уверена. Видимо, разговоры стерлись из памяти, а написанное осталось. Из сказанного осело во мне то, что проливало свет на твою личность. Загадочную, как мне казалось, потому что я любила загадки. Помню, ты уверял меня, что по характеру своему близок к художнику Клоду и хромому барину. Я верила, замирала от страха и восхищения.

Однажды... Это было уже на пятом курсе... Ты передал мне через чью-то спину стихи:

*Дорога с погоста пустая,
Осенние дали чисты.
Святая Россия! Святая!
Всю ночь будешь снится мне ты.
Кого хоронил я сегодня?
Судьбу ли свою иль мечту?
Но радостно смертная сводня
Глядит на мою нищету.
Вверху — только галочья стая,
Назад оглянись — кресты...
Святая Россия! Святая!
Всю ночь будешь снится мне ты.*

22 дек. 57 г.

К стихам — твоим острым, чувственно-интеллектуальным (я интелесовалась графологией) почерком приписка: «Тамара! Вот стихи. Мои.

Восчувствуй, вернее, восчювствуй и напиши: хороши или нет (...) Нико-
му не показывай. Sic transit gloria mundi*».

То, что ты пишешь стихи, — для меня новость. Я знаю рассказы, они мне очень нравятся: «Странник», «Некрасивая», «Никишкины тайны», «Поморка», «Арктур, гончий пес», «Голубое и зеленое»... В масштабах института (на пяти курсах — сто пятьдесят «очников») ты — известный прозаик. Но в стихах ты, похоже, сам не уверен, иначе не упомянул бы о «проходящей земной славе». Я же в поэзии кое-что смыслю, недаром пятый год посещаю творческие семинары. В толстых журналах печатаюсь! И с максимализмом двадцатилетней я разбиваю дилетанта: стихи несовременны, точнее, вневременны. Искреннее чувство губит литература. Из каждой строки выглядывает Блок или поэты его круга.

Ответ следует незамедлительно: «... ты ничего не понимаешь, т.к., читая стихи, ты думаешь не о том, что хотел сказать автор, и не о том, что заставило его их написать, и не об авторе (в данном случае обо мне), — а скорее пускаешься бежать по коридорам памяти, чтобы найти поэта в прошлом, к которому можно было бы отнести эти стихи. А найдя радуешься: Блок, Блок! Как будто победу одержала»...

Повернув голову и скосив глаза вправо, я вижу, как ты яростно шуришься. Это не твой обычный близорукий прищур (очков ты тогда не носил) — ты, действительно, разгневан, оскорблен в лучших чувствах. Вот ненормальный! И я тоже хороша: за столько лет не поняла, с кем имею дело...

Только сейчас, сию минуту, до меня дошло: твои стихи — комментарий к «Пропasti». Любимая девушка (судьба, мечта) и святая Россия сливались для тебя в одно. Как и для некоторых твоих предшественников. Кто-то из наших преподавателей — не Шкловский ли? — рассказывал: на один из восточных языков переводились стихи Блока:

*О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь...*

Возникло затруднение. Жена на Востоке отнюдь не равновелика Родине. Чтобы не принизить Отечество, переводчик заменил «жену» на «мать». В твоих же стихах девушка не названа. Она только угадывается.

* Так проходит земная слава (лат.).

Но важно другое: похоронил душу своей души, а кажется, вся Россия в крестах...

Память может подвести даже памятливого человека. У меня отложилось: сначала были твои стихи, а уж потом первое письмо от тебя, за которым последовала вереница других. Нет, не так! Упрямая вещь даты. А ты всегда их ставил. Под рассказами. Под письмами. Под книжными автографами. Зачем? Так дорожил настоящим мигом, что хотел зарубить его, как Робинзон, — на бумажном листе, за неимением лучшего? Или, начитанный в мемуарах, давал нам Ариаднину нить, чтоб не блуждали потом в лабиринтах своего беспамятства? Или все из той же любви к точности, окончательности, что отличают тебя и как писателя?

Последовательность событий я подзабыла. Но обстоятельства получения первого письма помню очень хорошо. Открываю общий почтовый ящик на нашей тяжелой, двустворчатой, старинной, дубовой двери (случайно или не случайно совпала она с петербургской?) Из ящика — бац письмо. От тебя. Чудеса в решетке! На одном курсе учимся. Каждый день видимся. Несу конверт, как чашку с кипятком, в свою комнату. Отдираю правый край. Нетерпеливо. Неровно. Признание? Да, но не в любви. В несомненном превосходстве. В легком презрении. Тон — снисходительно-назидательный. Между нами — восемь с половиной лет, чем ты и пользуешься. Привет от мэтра пригостишке. Наше вам с кисточкой...

«Как нехорошо! Ай-ай-яй (...)

Разве можно такие вещи делать? А если бы я поверил тому, что ты написала — какой ужас! Человек я нервный, фаталист, мне работать надо, я сейчас пишу рассказ, там любовь и смерть, внезапные, как взгляд вора, такое напряжение, такая мука, я рад страшно, что спокоен, а тут ты такое пишешь.

И вообще, если я хороший человек, как ты говоришь, меня разыгрывать не надо, о боли своей так говорить не следует. Я знаю, что тебе больно, знаю, почему больно, т.е. думаю, уверен, что знаю. Черт вас всех возьми! Мог бы я — всем вам счастье и радость на веки веков преподнес бы на блюдечке, столько на свете развелось страждущих душ, хоть богадельню для них открывай. А что я могу. Гляжу только, понимаю... Единственная радость моя, могу как-то выразить, зацепить то с одного, то с другого края, да и то слабо, и одно теперь желание: лучше, лучше! А лучше-то, знаешь, кусается, тяжело, мозги выворачиваются, хорошо здоров я от природы, так уж рассыпался наполовину только, еще держусь, был бы послабее (вроде С.), давно бы кровью плевал, так тужусь и томлюсь

А с другой стороны — на кой мне все это? Чужие страдания и т.п. Наплевать мне на них! Так вот и валишься то на один бок, то на другой.

Впрочем, все это мура, а вот скоро Н.Першин будет читать мое «Голубое и зеленое». Читать будет и романсы петь по ходу действия, трио будет играть Чайковского, Рахманинова, чудно, я уж сам себе не верю. Пришел ко мне хаюст какой-то, начал очаровывать, то, сё — говорит, вы да мы... Оказалось — какой-то Гришин. Набрал рассказов у меня, дает теперь своим ученикам, те на память зубрят, и скоро по Москве пойдут литературно-ганцевальные вечера из моих вещей. Каково? Небось, завидно? То-то! А вот жалко мне одного: разучился играть, так вообще могу, но техники прежней нету, а то бы сыграл в трио. У Чайковского изумительное трио есть: «На смерть великого артиста»*, знаешь? Мне часто во сне снится, что я играю. Проснусь, так жалко. Я, может, если б занимался, каким музыкантом был бы!

Мне в институте скучно что-то. Скоро в Ленинград уеду, на две недели, уж я там поброжу! Слушайте себе тут Зарбабова, а я в Ленинграде буду пьянствовать от восторга, какой город! Какие стихи я написал о нем, ого-го!

*И вот уж вздыблен мост,
Застыл, воздевши руки,
В трагическом актерском жесте,
Как царь толпы и будней жизни раб...*

Это кусочек моего большого стиха — «Грядущее возмездие». Поедем в Ленинград? На лен[инградск]их поэтов с презрением бы посмотрели...

В понедельник можешь в последний раз полюбоваться мной, во вторник уеду. А Коринец-то! В Ялте кейфует, подлец! Я знаю теперь, только что подумал: ты его любишь! Недаром летом такое письмо ему написала. Мне, небось, не написала. Но я прощаю тебя и все равно люблю!

Ю. Казаков».

Это несерьезное «люблю» пропускаю мимо глаз. Как и вздорное предположение, что я люблю малютку Коринца. Никого я не люблю, понятно? Твое письмо — позолоченная пилюля! Ты меня стыдишь, от-

* Вернее, «Памяти вел[икого] артиста» — примечание Ю.К.

такиваешь, объединяешь с некими «вас». И за компанию посылаешь к черту... Едешь в Ленинград? Ну и едь. Больно нужен!

Однако под ложечкой ныло... Совершенно не помню, что я тебе перед тем нацарапала. Изливала ли как хорошему человеку свою мировую скорбь? Или выражала запоздалую болезненную реакцию на злодеяния эпохи культа личности («Закрытое письмо» читали нам 1,5 года назад). Или кручинилась по поводу своего девического одиночества? Возможно, было понемногу и того, и другого, и третьего. Главное же, что меня тяготило, это неизвестность впереди, грозящая после института безработица. Горьковский институт никогда не давал своим выпускникам «распределений», направлений на работу в редакции. Швырял литературных младенцев в открытое море, где всегда штормит. Плывите! Или пускайте пузыри, идя ко дну.

Перед выпуском и ты, Юра, отнюдь не «младенец», а куда зреее иных наших наставников, чувствовал себя не в своей тарелке. Даром что создал и даже частично напечатал свои хрестоматийные рассказы. Кто же знал, что они хрестоматийные? Паустовский, рыцарски поддержавший тебя в то время? Несколько однокашников, чьи восторги были тебе, верно, приятны, но ничего не меняли по существу?..

В курсовой стенгазете мелькнула эпиграмма на тебя:

*Когда идешь на лекции,
Не думай о протекции.*

Видно было, как ты, словно тяжелая лодка, полная добычи, бьешься у берега в пенных волнах полупризнания, ищешь точку опоры, чтобы было от чего оттолкнуться... Семинар молодых прозаиков мог тебе помочь, и ты, уже взявший от института все, чем он был богат и рад, устремился в Питер. С планами на будущее, с надеждой и верой.

Любимый твой город подарил тебе новых товарищей — братьев по перу: В.Конецкого, Г.Горышина, Э.Шима. И нового покровителя, а точнее, покровительницу: Веру Федоровну Панову. О ней ты отзывался с повышенным интересом. Впрочем, не упуская возможности подтрунить над дамой-патронессой, еще очень и очень ничего из себя, что тоже проскальзывало в твоих отзывах.

«Панову я видел в Доме кино на просмотре американской картины. Она сказала: Юрий Павлович, вас еще не приняли в Союз? — Нет, отвечал я проникновенным голосом. — Ну, до свидания, Юрий Павлович, рада была вас повидать... — До свидания, отвечал я.

Она была рыжая, эта Панова, лицо ее было смугло насурьмлено, руки ее были в черных прозрачных перчатках.

Я был высок и бледен от сознания значительности слов, сказанных ею. Долго после этого, шагая уже по Невскому, вздыхал я и задумывался...»

Это уже из письма лета 58-го. Сколько всего случилось за полгода с хвостиком! Ты уехал в Ленинград, а я увидела в ночь на 5 декабря 1957 года сон. О тебе и обо мне. И так он меня потряс, что наперекор своей природе (никогда не делала первого шага), я немедленно отправила письмо. Тебе вдогонку. С адресом «на деревню дедушке». Кажется так: «Ленинград, Союз писателей, семинар молодых прозаиков, Казакову Ю.П.».

Тем не менее ты его получил. И в Москву вернулся иной, чем уехал. Не решительно влюбленный, а ... как же выразиться в страдательном залоге? Решивший, что в тебя влюблены.

«... я пережил несколько робко-восторженных минут: в меня влюбились одна особа. Я не очень верю в это по своему застарелому скептицизму и фатализму, однако ж — приятно. Тем более, что и я неравнодушен к оной особе. Даже сердце в себе почувствовал вдруг...» (письмо В. Конечному от 27.12.57).

Юра, Юра, когда читатель уже заглянул в конец и увидел, что свадьбы не будет, и даже наоборот, один из героев, как душка Клайв из обожаемой в те годы нашими соотечественниками «Американской трагедии», попадет на электрический стул, будет ли он следить за интригой? Что за дело ему до всего этого калейдоскопа эпизодов — в преисподней ткацкой фабрики, в богатом доме дяди, на озере в парке и т.п., раз он и она все равно расплоются?

Премудрый «вед» объяснит, что в данном случае результат не важен — важен процесс, особенно если он описан высоко художественно.

Я робею описывать что-либо, потому что ты сделал бы это лучше... Из моего сна, положившего начало нашей 25-летней дружбе, получился нерв твоего рассказа «Манька». Там все другое и она другая, но сон — мой. Я перечитываю рассказ с двойным удовольствием: и как благодарный ценитель русской классической прозы, и как невольная подсказчица сюжета.

Разбуди меня посреди ночи, спроси: а что такое сюжет? И я промучу пересохшим ртом:

— Сюжет — это развитие характеров!

(Не так уж плохо учили в Литинституте, как принято думать.)

Так вот: диковатая почтальонка Манька, связанная далеко отстоящих друг от друга северных рыбацких топей, осознает себя и свою любовь к шальному рыбаку Перфилию через... мой сон. Я даже могу заявить, что добрая треть слов — мои, из того письма в Ленинград, и никто меня не опровергнет. Ведь письмо утеряно.

«Она спала в Золотице, в душевной, натопленной избе, где ночевали еще человек восемь — бригада плотников, — когда под утро ей приснился вдруг Перфилий. Яркий, необычен и стыден был этот предрасветный сон, и Манька сразу проснулась, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, вскинулась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме колотящегося сердца.

Вскрапывали спящие на полу и на лавках плотники, тлела за потными окошками белая ночь, и неслышно давилась, всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, детскому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли, что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рассвете, смиренная, измученная, заснула она с мокрым от слез лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха, вздрагивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос, сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди».

Вообще перечитывать твои рассказы можно бесконечно. Я слышала это от многих. Прости, что выговариваю себе, может быть, не по праву особое место среди этого множества.

Мы никогда не катались с тобой на лыжах в Подмоскowie, как «Двое в декабре» — есть у тебя такой лучезарный рассказ. Но в электричках вместе ездили, весело теснясь в переполненных проходах, среди таких же и более молодых, и ты выходил в тамбур покурить, и ты казался почти счастливым.

«Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамьи на другую, испытывая ко всем едущим чувство некоторого сожаления, потому что, как он думал, никому из них не будет так хорошо в эти два дня, как ему».

«И как вообще все прекрасно: какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить, что та, которую он любит, сидит в вагоне и на нее можно посмотреть и встретить ответный взгляд!»

«Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава богу,

это все прошло, и теперь другое — покойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!»

У меня есть стихи: «Праздники жизни». Ты не знал их. Они написаны после твоей смерти.

*...Это — не праздник. Нет, праздник. Но, Боже,
даже не он, просто чем-то похожий.
Может, походкой, а может, очками,
сердце о том извещает толчками...
За руки — за город. Все мне желанно:
тамбур вагона и шлягер «Сюзанна».
Как нас друг к другу прижали, замкнули
в душном пространстве, в блаженном шоле.
Если не завтра, не нынче и даже
не сей же миг, то когда же, когда же?*

*Эх, Сюзанна,
любимая моя,
как на свете
прожить мне без тебя?*

Как-то раз — это было в 62 году — мы шли по вечернему Арбату, и я обратила внимание на «кляквинки» задних фар скользящих мимо машин. Ты пришел в неописуемое волнение. Забыв заикаться, ты произнес целую речь о слепых и зрячих людях, в том числе и женщинах, о том, как скучно с первыми и как интересно со вторыми, потому что сдирают с предмета шелуху обыденности, видят все по-своему, остро и ярко.

«Смотри, какие стволы у осин! — говорила она и останавливалась. — Цвета кошачьих глаз.

Он тоже останавливался, смотрел — и верно, осины были желто-зелены наверху, совсем как цвет кошачьих глаз» («Двое в декабре»).

Что же в твоих рассказах мое, только мое, что я в них узнала и никому не уступлю? Пудреница с молнией из «Адама и Евы»! У меня была именно такая. Вспоминаю, как ты пристально ее рассматривал, втягивал запах кожи, едва не брал на кончик языка. Или это создавалось такое впечатление, потому что ты приближал предмет к своим близоруким, но зорким-презорким глазам, мобилизуя им в помощь собачий нюх, выплячивая навстречу губы, вдруг превращаясь из Нерона в гоголевское «кувшинное рыло».

У тебя нет плохих рассказов. Нет средних. Только отличные и блестящие.

В чем тут дело? В отборе материала? Отбор у тебя, и вправду, был строжайший. В ход шли лишь те золотиносные песчинки, что сладостно и больно кололи твое сердце, пронзали током все твое существо. Сладостность и боль — эта, не побоюсь сказать, эротическая основа всегда присутствует в твоей прозе, составляет одну из ее тайн.

Другая твоя тайна — разлитое по всему творчеству религиозное чувство — чувство сопричастности и ответственности. Это сейчас стало общим местом, а когда-то, Господи, после полувековой зажатости и немоты как набатно прозвучало:

«Когда он (писатель — Т.Ж.) вдруг вспоминает, написав особенно сильную страницу, что сначала было слово и слово было бог!» Это бывает редко даже у гениев, но это бывает всегда только у мужественных, награда за все труды и дни, за неудовлетворенность, за отчаянье — эта внезапная божественность слова. И, написав эту страницу, писатель знает, что потом это останется. Другое не останется, а эта страница останется» («О мужестве писателя»).

О твоих сложных отношениях с религией я еще скажу, а сейчас — о другом. Я призналась, что не жажду занимать эти страницы описаниями наших встреч, ссор, примирений и пр. Это — иной жанр. Но совсем без мяса не обойтись. Вдруг будут разочарованы твои биографы?..

После моего сна и твоего Ленинграда была краткая пора наших частых свиданий и лучшего узнавания друг друга. Сначала ты хорохорился, произносил монологи.

— Как ты можешь... — вещал ты где-то между памятником Герцена во дворе нашего института и конструктивистским монументом Тимирязеву в конце Тверского бульвара, — равнять себя со мной? Со мной, чья душа покрылась тиной и высохла?! — Ты делал театральную паузу и молча шел дальше, подняв каракулевый воротник и наполовину скрыв от меня свой античный профиль. Но, так как я ничего не отвечала, как бы вынужденно продолжал: — Да каждый зеленый побег в моей душе — это, знаешь, как много! И любовь моя, если она распухнет, — это, знаешь, как здорово! А у тебя в душе что было? Да ничего — голое место. А потому одна моя слеза стоит всех твоих слез.

Скоро ты сбавил тон на несколько оборотов. В какой-то день мы вышли из института втроем: ты, я и Коринец. Было скользко и безобразно

* Цитирую по книге «Осень в дубовых лесах». «Современник». 1983 год. Не осовременивая написание.

ветренно. Ты взял меня под руку... Вот тут-то ты и сказал впервые то, что потом повторял неоднократно: жизнь писателя-мужчины без женщины невозможна, писать надо для кого-то, жить — тоже. А так можно сойти с ума и сочинять рассказы с похоронными концовками.

Коринец изящно поклонился:

— Вот именно!

Вы, ненастойчиво пригласив меня, пошли в ресторан ЦДА, а я побежала по гололеду в «Пионерскую зорьку», где сотрудничала и куда, надеялась, меня возьмут после института на работу...

Была еще курсовой вечер, на который я опоздала, потому что носилась с ведром по магазинам в поисках дешевого салата. Закусывали. Читали стихи. Танцевали. Ты был, но ушел, и впервые я остро почувствовала твое отсутствие. Никто мне был не нужен. Интереснейшие — не интересны.

Вышла в коридор, случайно отворила дверь какой-то аудитории. Ты, Миша Рошин, его жена Наташа Лаврентьева, самая пленительная женщина на нашем курсе Майя А. и твой старинный приятель слепой баянист Рэм устроили себе филиал вечеринки. Даже с угощением. Вы слушали музыку, пели полублатные песни. Ты обрадовался мне, усадил. Попросил Рэма сыграть «Свадебный марш» Мендельсона...

Потом мы все ездили вдвоем по редакциям, по твоим заветным маршрутам. Привычный к отказам, ты нес свои ненапечатанные вещи сразу в несколько журналов. Время от времени получал их назад. Окончательно или на правку. Впрочем, не припомню, чтобы ты что-то при мне правил. Был в тебе твердый металл — панцирь, защищавший душу от необходимости хамелеонства. Все бывает с нашим братом-писателем. Приспособленчество может быть единственной формой выживания души.

Объяснение произошло на Тверском бульваре, на мгlistом рассвете, после встречи нового, 1958 года. Много времени спустя из твоих бумаг, разбросанных по столу, словно выскочили мне навстречу машинописные листы: прочти нас! прочти! Ты писал о каком-то гении. Который обречен, но еще способен творить. Работа — условие его выживания. Официальная хула — условие работы. Кончат его ниспровергать — он сопьется. Так поняла я тогда твой замысел. И испугалась... за тебя. По ходу действия твой герой вспоминал мать, ее любовь к нему, всю жизнь ее ради него. Вспоминал и свою жену. Я не поленилась, выписала то, что казалось мне, имеет отношение к тому поворотному ночному утру.

«И тут же вспоминал он жену свою и всю жизнь с ней — с тех первых дней, когда он с ней познакомился и узнал в новогоднюю ночь,

на бульваре в снегу, что она его любит и будет любить всегда, всю жизнь и все радости и горести разделит с ним. И опять упрекал себя, что недостаточно любил ее, недостаточно был снисходителен к ее слабостям, а наоборот, так часто был раздражителен или холодно-насмешлив, и что если взглядеться, как другие живут, и вообще в человека с его недостатками, пороками, то она-то как раз была одной из тех редких женщин, которые действительно делают всю жизнь с мужем и всю жизнь любят его».

Кусочек про мать вошел потом в рассказ «Адам и Ева». Про жену — остался мне на память.

В десятом семестре мы не учились, готовили дипломные работы: ты — рассказы, я — стихи. В принципе все было уже готово, от нас требовалось только одно: собрать лучшее из написанного за пять лет, согласовать это с руководителем творческого семинара, перепечатать и сдать на кафедру творчества. Так что свободного времени было навалом.

В Архангельском издательстве у тебя вышла первая книга «Тэди» — история циркового бурого медведя, который вырывается на волю. Ты сделал на книге грустную надпись, я даже удивилась, а теперь, перечитывая, думаю: напророчил.

«Когда у тебя будут детки, читай им раз в год на Пасху эту книжку. Но, читая, не плачь очень, а то она размокнет и покоробится. А это издание уникальное — первая моя книжка! Береги ее...»

В январе ты простудился и слег. Я поспешила тебя навестить. Жили вы очень скромно. В одной небольшой комнате, перегородженной старой мебелью на «столовую» и «спальню». Твоя мать, с певучим говором замоскворецкой свахи, желая мне понравиться, рассказывала твою, а заодно и свою, трудовую биографию. Запомнилось, что во время войны вы возили кряжи для топки бани, разгружали баржи с капустой и картошкой для осажденной Москвы, чистили киркой лед с левой стороны Крымского моста.

— А музыка? — недоумевала я.

Оказалось, музыка была для души, работа — для денег.

— Что Юрочка — музыкальный, — растекалась Устинья Андреевна, — определили еще в детсаду. Приведу его домой — в руки балалайку, а сама в институт, вечерний. Он радио слушает и мотивы подбирает. Залихватски «цыганочку» играл... Скрипку перерос из-за войны. Приняли на контрабас.

Хотя шел уже 58-й год, о судьбе мужа она осторожно умалчивала. Потом, уже от тебя, я узнала, что твой отец, Павел Гаврилович, сослан был в Архангельскую область, кажется, в поселок Лузу. Там густой лес,

неогребимо грибов и ягод. Вы с матерью навещали его еще в 40-е годы. В 56-м ты и двинул на Север, уже один, в командировку по знакомому маршруту... За что сломали человеку жизнь (а сыну надломили), я так и не узнала. Не писатель, не артист, не офицер, не промпартиец. Сантехник...

И тогда, и позже Устинья Андреевна повторяла, что литература — жестокое дело, что, знай она это раньше, нипочем бы не пустила тебя на это поприще. Она так и выразилась по старинке: «поприще».

Ты был сконфужен, выглядывал из-под одеяла, как нашкодивший мальчик.

Проследив мой взгляд, хозяйка заволновалась:

— Не смотрите, что одеяло в дырках. У нас новое есть, атласное, на антресолях.

А я и не заметила, какое на тебе одеяло...

Однажды в сильный мороз, когда милицейские будочки кажутся созданными специально для бездомных ваюбленных, да их туда не пускают, мы забрели отогреться к твоему дяде Федору Андреевичу Каменкову. Он жил неподалеку. Все твои близкие обитали в центре города, — Арбат, Плющиха и примыкающие к ним переулки, — ведь вы москвичи с дореволюционным стажем.

Твой родной дядя работал цензором. Это меня озадачило. Во-первых, я впервые видела живого цензора. Не из учебника, а из действительности. Во-вторых, странный получался расклад: ты страдаешь от цензоров всякого рода, от тебя требуют переделок рассказов, за принципиальность не публикуют, а твой дядя как раз и есть один из сатрапов печати.

Держался он, впрочем, мило. Угощал вкусным. На твое недовольное бурчание по поводу засилья в книжном деле болванов-чиновников высказался в том смысле, что это пройдет. Нужно иметь терпение. И чиновники будут умнее, образованнее, и непризнанных гениев признают. А что гонят их, так им же выгоднее. Славу создают, тиражи повышаются.

— А вот потом... — со вкусом намазал он булочку джемом...

— Когда потом? — насторожился ты.

— Ну, лет через тридцать... Как бы не случилось чего похуже.

И ведь как в воду смотрел.

Идиллия длилась недолго. Ты исчез. Обидевшись на какую-то мою фразу. Нет, вру. Обидеться ты обиделся, но не сразу исчез. А прислал мне прощальное письмо. Его у меня нет. Разорвала и выбросила, хотя и в нем ощущался твой неповторимый почерк. Пребывая в слезах и соплях. В письме ты называл меня милашкой (на полном серьезе), заявлял, что

ко мне ты больше не ходок, что наконец-то ты увидел во мне существо, которое я умело скрывала от тебя раньше... Далее ты запрещал. Писать тебе. Искать тебя. Справляться у кого-либо, куда ты подевался.

Жалко, что я не знала тогда твоей «Пропасти». Ты как по нотам разыграл то, что написал о своем Агееве. Или кусок о том, как он безжалостно бросил Леночку, возник уже после твоего отъезда в Дубулты? Разгневанный, как Лермонтов (скоро ты о нем напишешь), удалился ты в дом творчества. И работа у тебя пошла. Как никогда. Сколько ты сделал за неполных два месяца! Но лучше скажи об этом сам. Мне могут и не поверить.

«Дубулты 22 марта 58 год.

Здравствуй, Цапля! Сегодня день весеннего солнцестояния. Поэтому настроение у меня прекрасное и я даже побрился. Еще я постригся, и голова моя теперь — как бильярдный шар — отражает солнце и празднует весну света. Еще сегодня твой день рождения, и это тоже немножко влияет на мое настроение. Но только чуть-чуть. А главное, конечно, то, что я сегодня закончил новый (пятый по счету!) рассказ. Ты даже сообразить не можешь, о чем я в нем пишу. Я и сам не знал ничуть. А было так. Есть тут один парень, не лишенный элементарного чувства красивого. Однажды, когда мы с ним гуляли, он сказал: «Здорово здесь! Домики чудные, так и ждешь, что из окошка покажется тролль и заиграет на серебряной флейте». Так эти тролли и запали мне в душу. А дня три назад я пошел к морю и забрел в прелестный уголок — огромные пустые участки и заколоченные дачи. На одной из них к стене прибиты оленьи рога (снаружи). Домой я пришел уже обалдевшим, с мыслью писать рассказ о девочке и троллях. И в два дня накатал его. Называется «Девочка и тролли»*, но это пока условно, м.б., придумается лучше. Я его перепишу еще раза два и pošлю в Москву на радио. И если там не будут идиотами и хлюстами — недели через две я буду лежать на диване, дрыгать ногами и слушать свой рассказ... Музыка будет Грига!

Кроме этого я еще навалал 4 рассказа, один из которых, правда, по-смертный (о Ленинграде, пьянице, дикой любви, белых ночах, подъемах мостов и смерти в конце — как вопль рока в симфониях Чайковского — внезапный и страшный).

* Окончательное название «Оленьи рога».

(...) Итак, тебе пошел 23-й год? Ах, ах! Старуха ты! А мне пошел с этой весны 29-й — я теперь буду расти назад к 18 годам. Ты выйдешь замуж, состаришься и страшно располнеешь, а я все буду холостой, все буду праздновать весну и свободу и писать мистерию (...)

Если творчество — вампиризм, если оно меньше от Бога, а больше от дьявола (есть и такая точка зрения), готова благословлять ту донорскую кровь, что отдала тебе тогда против своего желания. Но неужели это возможно? Неужели прародитель тьмы может участвовать в высших созданиях света, доступных человекам? Дай знать из твоего потустороннего далека!

Это я сейчас такая смиренномудрая. А весной 58-го страдала и металась.

Когда ты оттаял, отмяк и, блаженно опустошенный (большая часть замыслов осуществлена, остальное — на мази), вызвал меня на междугородную объясниться, я пошла. И старалась говорить с тобой обычно, будто ничего и не случилось. Но дома... Боже, как мне стало больно! Ты живешь как в раю, работаешь, гуляешь, наслаждаешься прибалтийскими роскошествами. А я тут ночей не сплю, все забросила, никуда не хожу, ничего не зарабатываю, с горячо любящим меня отцом в перманентной ссоре.

И тогда я написала тебе. Всю правду. Сколько мучений я перенесла. Сколько нервов истрепала. Я просила тебя об одном: чтобы это никогда больше не повторилось.

Письмо было отправлено. Я спокойно уснула. А ночью вскочила с ощущением ужаса. Что я наделала! Опять все испортила! Тебе, наконец-то, работается, ты нуждаешься в абсолютном покое. Зачем я написала всю эту галиматью? Для чего тебе нужна моя идиотская правда?

Утром бросилась на телеграф. Как вернуть свое письмо, не заказное, простое? С таким вопросом сунулась я в справочное окошко к пожилой, весьма пожилой почтовой даме, скупавшей без дела.

Она очень внимательно оглядела меня.

— Знаете, девушка... — как ни взбудоражена я была, литгинститутская закалка давала себя знать: я заметила, что на ее лице «со следами» как бы меняются кадры — выражения насмешки, понимания, женской солидарности, печали... Да, да, глубокой печали. Она сделала как бы рогадку из ладони и оперлась на нее подбородком. — Я тридцать лет работаю на телеграфе, но не вспомню, чтобы кто-нибудь возвращал свои письма...

Совет, тем не менее, дала. Я послала телеграмму в почтовое отделе-

ние Майори, и педантичные латыши мое письмо мне вернули. Ты никогда не узнал, что в нем.

Виновницей всего происшедшего, как ты потом утверждал, все равно оказалась я. Не сдержалась. Не то брякнула. Не так взглянула. Чуть не погубила с таким трудом выращенный тобой росток ответного чувства. Ссылки на мою относительную молодость и твою относительную зрелость тебя только раздражали:

— Девочка в 15 лет должна быть умнее мужика в сорок!..

Я опускаю множество эпизодов, сцен и мизансцен с участием, увы, бесполезным, если не вредным, наших друзей, знакомых, родных, и, в первую очередь, моего отца и твоей матери. Узнав тщету попыток такого рода, никогда не вмешиваюсь в чужие любовные аферы. Эти качели строго рассчитаны на двоих. Перевес — и все летит в тартарары.

Контур пережитого пунктиром остались в моих стихах. Большая их часть напечатана. Название первой книги «Район моей любви» — строка из посвященного тебе стихотворения. Кое-что осталось на полке секретера, а потом перекочевало в папку остатков, брака. Извлекаю из нее три строфы от начала марта 59-го:

*Я прохожу знакомые места,
где тени гибки, хлопья снега липки.
Как празднично, какая суета,
Какие перекрестные улыбки!
Но мне-то, что за дело мне до всех,
до мартовских, до радостных и разных?
Я вижу снег — соображаю: снег.
Я слышу смех — соображаю: праздник.
Что ждет меня? Надежда, не перечь,
не насылай примет, добро сулящих!
Вот мой подъезд — свидетель наших встреч.
Холодный ключ. Пустой почтовый ящик.*

Ты, само собой, знал посвященные тебе стихи, был в меру польщен и защищался... юмором.

«Наслаждайся тем, что ты на мне спекульнула и ходишь в талантах. Слушай, когда ты прославишься и твои эти стихи будут читать по радио, я после каждого чтения буду макать перо и судорожно писать туда — это я, я, я!» (письмо от 26 марта 59 года).

И снова о «Пропасти». Почему в письме ты назвал рассказ «по-

смертным»? Потому, что не надеялся его опубликовать? Печатайте и обвиняйте, мол, когда меня уже не будет! Плевал я тогда на ваши критики с высокой колокольни!

Напечатали его, точно, — посмертно. Но никто не изгалялся над тобой. Напротив, в моду вошло тебя превозносить. В середине 80-х, еще до перестройки, наблюдался некий «казаковский бум».

А что это за «пьяница», о котором ты упоминаешь? Никого, даже близкого к пьянице, в известной мне редакции нет. Может быть, существовал второй вариант? Тогда тем более обидно: пропал уже не конец — пропал целый рассказ.

В дипломной твоей работе «Пропать» не фигурировала. И не только потому, что ты не дописал или потерял финал. Рассказ «мрачный», как тогда выражались. А тебя и били за «мрачность», за якобы болезненное пристрастие к таким досадным несоответствиям нахимиченному в колбе «социально-совершенному бытию», как вечная разлука двух любящих, расстройство нормальной человеческой жизни, разор, упадок, одиночество, старость, смерть.

За твои чудесные рассказы экзаменационно-творческая комиссия (или как она у нас называлась?) влепила тебе тройку! Стыд и позор писательскому институту! В сущности после такого прокола творческой кафедре следовало бы уйти в отставку! Ничего похожего не произошло. Как был наш институт фабрикой-кухней усредненного советского литератора, так и остается. А коли попался талант из ряда вон, то ему либо каталажка (Коржавин, Белинков), либо Сталинская премия (Трифонов), либо «удовлетворительная» сквозь зубы оценка (ты).

В то время мы были уже «парой», хотя и не новобрачной. Я стыдилась своей никчемной пятерки, не знала, какими словами утешать тебя. Ты же держался как скала. Утешала не я тебя, а ты меня. Почти в тех же выражениях, что впоследствии я встретила в рассказе «Адам и Ева»:

«Он думал, что все равно будет делать то, что должен делать. И что его никто не остановит. И что ему это потом зачтется».

Я сказала, что мы были «парой», но так чувствовала, пожалуй, только я. Ты, прирожденный коренник, ни за что не соглашался иметь пристяжную. Твои всхлипы на тему «А я все не женился, не задается мне как-то личная жизнь, просто беда» (в письме к Паустовскому) — чистой воды литература.

Недавно один общий приятель в беседе со мной настаивал на том, что лучшие твои рассказы о любви посвящены одной женщине. Спорить с ним было бесполезно. Да и неохота. Кое-что о ранних любовных

рассказах ты мне поведал сам. Например, что героиню «Голубого и зеленого», так похожую на серовскую «Девочку с персиками», звали «тонким» именем: Инна. А Лиля (тоже тонкое имя) — это приемная дочь Устиньи Андреевны. Что внешность Густы из щемящего рассказа «На острове» («Она была маленькая, с тоненькими ножками, коротко пострижена и от этого с особенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуглым личиком и большими, мохнатыми от ресниц глазами») списана с нашей однокурсницы Маргариты Ш. Рита жила рядом с нами своей сложной женской жизнью и, наверное, даже не подозревала, что ее девический облик запечатлен тобой навсегда... Помню, когда ты был мне уже глубоко безразличен, я поймала твой вспыхнувший очарованный взгляд на моей подруге, прошуршавшей мимо нас черной юбкой из тафты. А потом прочла как бы твое запоздалое «объяснение», такое чистое и такое грустное, что оно для меня — камертон всей твоей интимной новеллистики.

«Он рассматривал также и девушек, их оживленные лица, думал о них и волновался слабо и горько, как всегда, когда видел юную прелесть, проходящую мимо с кем-то, а не с ним» («Двое в декабре»).

Целомудрие пишущего, как правило, не принимается в расчет при разборе его произведений. И зря! Такой рассказ, как «Ни стуку, ни грюку» — о деревенском цинике, походя растлившим невинную девушку, не был бы написан с таким сокрушением сердца, если бы ты рассуждал как все: подумаешь, делов-то! яблоко поспело — должно упасть. Пограние чистоты или покушение на чистоту («На полустанке», «Некрасивая», «Странник», «Манька») не ошеломяло бы, не ранило тебя так больно, если б сам подгнил на корню, как большинство сверстников. И в этом, полагаю, скрыта еще одна тайна могучего воздействия твоей прозы.

Твоя мать говорила мне, что ты долго был девственником. Верю ей. Многим это покажется невероятным, но в здоровой русской среде прошлого века юноши блюли себя так же, как девушки. До брака. Не всегда раннего. Опираюсь на жизнеописание философа и поэта славянофила Хомякова. Ты происходил из патриархальной среды: смоленских крестьян, по одному перебирававшихся в Москву, «в люди». Твой прадед, доживший до 120 лет, в середине своей необозримой жизни ходил паломником в Иерусалим поклониться святым местам. Органическую тягу к целомудрию ты должен был всосать с молоком матери.

И в девушках ты ценил нетронутость, «нецелованность». Это странно, что «в наше время» таких днем с огнем не сыщешь. Как бы ни ка-

тилось общество в безнравственность, погромыхая по ступенькам адскими звуками Вальпургиевой ночи, всегда сатана запнется на «не таких, как все». Причем обоего пола...

Женщины и девушки в твоих рассказах, за редким исключением, тонкие, добрые, жертвенные. Или ты нас сильно идеализировал, или, как приемник, был настроен на определенную волну. Истинный художник, ты не копировал, а преображал. Твои Лили, Вики, Густы — портреты той, другой, третьей. И ни одной. Так что делить нечего...

Признаться ли? Когда четким стилем вошедшего в зенит прозаика ты написал Аленку из «Трали-вали», любящую запойного пьяницу Егора за талант, за душу и просто так, не рассуждающую, не мучающую его и себя колебаниями, сомнениями, оглячивостью, я восприняла это как урок мне. Быть такой! Стать такой! Чтобы ты был мной доволен, спокоен отныне и навсегда и не искал никого другого... Но стать Аленкой я не могла — кишка тонка. И мы расстались...

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Пишу тебе из Переделкина, из писательского дома творчества. Сегодня — твой день. Не потому, что ты нынче родился или еще что... Сегодня — весна, и вчера была весна, уже много дней — весна, а ты ее так любил... Все, было, подтаяло, захлюпало, растеклось вширь, опять стянулось стеклярусинами льда, снова поползло квасным тестом из-под крышки; солнце выело и выпило весь переделкинский снег, я вышла в старых сапогах-вездеходах грязь месить, а грязи-то и нет, можно было пофорсить на каблучках.

Переделкино не слишком изменилось с тех пор, как мы с тобой гуляли тут в последний раз. Да и вообще за минувшие 30 лет.

Напряги память: от электрички, минуя служебный домик и конечную остановку единственного автобуса (в наши студенческие годы его не было), надо идти вперед, по движению московского поезда. Потом — по гребню тропинки вдоль путей до первого поворота. Слева, в глубине, речушка, или, скорее, заводь. И зимой и летом на карманном зеркальце воды крутится парочка: селезень в театральном доспехе и серая утя... Дальше — знаменитое переделкинское кладбище... Наши студенты-гу-

ляки, жившие тут в общежитии, возвращаясь по ночам, видели, как в темноте оно фосфоресцирует, слышали стоны и скрипы.

— Птицы? — предполагал здравый ум.

— Какие еще птицы! Ночью? Среди покойников?.

Осенило меня вдруг: в «Кабисах» ты страхи наших ребят описал. Не только их, конечно. Сам ты указываешь другой источник. Дело происходило на родине твоей матери, в окрестностях Сычевки, в 1954 году. «Однажды, — вспоминал ты, — я возвращался очень поздно по едва белеющей тропе, и меня вдруг охватил неизъяснимый страх. Да еще вдруг по распаханному полю мне наперерез в звездном свете стало двигаться темное пятно — не то человек, не то животное. Это ощущение запомнилось».

Но и рассказы однокурсников должны были запомниться тебе. О, у тебя была потрясающая память... Как бы там ни было, появился рассказ о самоуверенном юнце. Кто много на себя берет, в ограниченности своей предполагая, что «атеистической пропагандой» можно справиться с грозно непознаваемым в безмерном мире. Кто, хочешь, не хочешь, но однажды «услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час».

«Ну, — подумал он, — пропал!» — и ударился по дороге. Воздух задул у него в ушах, а в кустах по сторонам что-то ломилось, сопело, дышало ему в спину холодом. «Перекреститься надо! — думал Жуков, чувствуя, как пытаются схватить его сзади холодными пальцами. — Господи, в руки твои...»

Рассказ написан не без иронии, благодаря чему и проскочил в печать. Но вот я перечитала его в Переделкине и увидела второй, третий план, скрытые от меня при первом чтении.

Пойдем дальше... Только миновали кладбище — мост. Через ту самую утиную заводь. Тут вздохнуть бы полной грудью: весна! Но, заглушая робкое благоухание бензинной вонью (чем бензин дороже, тем зловонней), усиливая кладбищенский настрой по поводу бренности всего земного, несутся по шоссе писательские (редко) и не писательские машины. Ты меня, возможно, не поймешь, ты сам — автомобилист, за рулем сидел как впаянный, и, нелюбительница авто-мотоспорта, порядочная трусиха, с тобой я ездить не боялась.

Но Бог с ними, с машинами! Скорей, скорей, — левым глазом кося на безобразные разномастные бараки (были они и при тебе), правым — удивляясь все еще привольному пространству так называемой Неясной Поляны, — в убежище, в резервацию литфондовского дома творчества.

Ты не забыл: двухэтажный барский особняк с колоннами, надвор-

ные постройки, аллеи и беседки. Мне всегда чудилось: хозяин-помещик куда-то уехал, а мы, дожидаясь его, работаем во всяких гостевых, уголковых и прочих известных по классической литературе комнатах... Представь: в дополнение к известным тебе деревянным коттеджам построили (успели построить!) кирпичный корпус с удобствами на европейский манер. Раньше-то все было простенько, по-коммунальному, не жаловались — понимали: не богат наш помещик, зато гостеприимен. И вот, Юра, все эти ячейки, кельи, называй, как хочешь, забиты нашими братьями. Спасаются от нагрянувших перемен. Как княжна Тараканова на картине Флавицкого (ах, наши лекции по истории живописи в залах Третьяковки!) от наводнения. Но подступает к ногам стихия, кишащая серостью...

Забегал тут ко мне Коля Тряпкин. Ты с ним знаком: поэт божьей милостью. Когда мы на студенческой скамье сидели, он на ВЛК учился (Высших литературных курсах). И был звон от него, как от хрустально-го графина.

Жить ему негде. Дома что-то не так, а квартиры писателям теперь не дают. Книги не выходят. Пенсия — пшик. Бормотал с убитым видом: — Пора мне убраться! Я все видел. Мне — неинтересно.

Говорил еще, что ждет народной катастрофы, что она уже началась.

Помнишь Марка Лисянского? Душа-человек. Автор бессмертной песни «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». В Переделкине — с женой Тоней. Фронтовая подруга, справили уже золотую свадьбу. Приехал после больницы. И поделился: удаление желчного пузыря стоило ему 5 тысяч.* Для поэта — большие деньги! Он — ветеран войны, с заслугами перед литературой. Обратился в Литфонд с просьбой о помощи. Отказали: денег нет!

У тебя тоже была такая операция. Помню твои слова, сказанные в больнице: «Лежал на столе, распятый, как Христос». Что же было бы теперь? Помер бы несколькими годами раньше? Требуемой суммы у тебя, мой дорогой, не было.

Литература летит под откос. Авторские договоры с издательствами аннулируются даже на стадии верстки.

Между тем книжный рынок забит. Не только детективами. Список бестселлеров открывает солженицынский «Архипелаг Гулаг». В метро можно увидеть шестиклассников, торгующих этой запрещеннейшей из

* В масштабах цен 1992 г.

запрещенных при тебе книг. За «Архипелагом» следуют... романы Дюма. На книжных развалах, — а их в Москве сотни, — можно увидеть Пруста и Гессе (последние, кого ты читал), фотоальбомы, словари, философские и мистические сочинения. Но современный писатель, не эмигрант и не диссидент (поэт — особенно), обречен на вымирание.

Наблюдая нашу агонию, книжные посредники (новая железная порода молодых, в основном, людей), наверное, посмеиваются: а чего вы ждали, голубчики? Зачем, не зная броду, полезли в воду? Айтматов, небось, не подголаживает? Окуджава не варит по выходным суп с кильками?

Может, они правы, Юра? Увлекаешься искусным плетением словес — считай, что это твоё хобби. Не вздумай возвести его в ранг профессии. Наглогаешься унижений. Останешься, ох, останешься у разбитого корыта!

В том, что случилось — не с литературой только, а со страной — не знаю даже, чья вина. Два ответа наворачиваются на язык. Ничья и всехная.

Ну, «ничья» напоминает выкладки безбожников: какие-то атомы или того меньше, якобы всегда существовавшие, где-то, когда-то, почему-то столкнулись и образовали не вихрь, не смерч, чего естественно было бы ожидать от слепых частиц, а этот дивный часовой механизм, внутри которого мы обитаем, с, увы, подключенным к нему взрывным устройством. Пустить на воздух оно способно и все сразу. И мир — по частям... Мы с тобой — сами авторы и поверить в машину, вообще в деяние без авторского участия не можем.

«Всехная вина» — это мне понятнее. Начнем с себя.

Когда мы поступали в Литинститут, какое, говоря словами твоей матери, попроще открывалось перед нами? Свободное? Никак нет! Строго регламентированное — и мы это знали.

Сценка из жизни. Я, школьница, и мой отец (не академик, как думают некоторые, а его двоюродный брат, успевший до революции окончить и гимназию, и Ярославский юридический лицей, то есть интеллигент старого образца) сидим вечером в нашей большой, хорошо известной тебе комнате и слушаем левитановское чтение Указа. О присуждении Сталинской премии в области литературы. Ажаев... Ауэзов... Бабаевский... Мальцев... Панова... Первенцев... Симонов... Твардовский... Я намеренно из разных лет беру — премии присуждались ежегодно... Список звучит как симфония. У нас была небольшая, но весомая домашняя библиотека; современная литература пополнялась отцом именно за счет этого списка. На день рождения подруге я несла премии-

рованную книгу. Внеклассное чтение было ориентировано в ту же сторону. За нас уже решили — думать и гадать не надо. Это — экстра-класс. Высший уровень культуры. На него-то и следует равняться.

А с чем ты поступал в институт? С рассказами из американской жизни, о неграх (ты никогда не был в Америке). С пьесами «Большое дело», «Новый станок» — красноречивые названия!

Ошибутся те, кто всех, таких, как мы, зачислят в подхалимы, в приспособленцы. Другими мы и быть не могли, как не мог скорбно сложить губы приспособленный для циркового увеселения компрачикосами «Человек, который смеется».

Мы-то с тобой москвичи, жили у себя дома, а студентам нашим каково приходилось — как раз тут, в Переделкине! Казарменные спальни, полудохлые электроплитки с ядовитыми змейками спирали. Неведомые миру шедевры сырели под койками, на дне обшарпанных чемоданов. Контролеры Киевского вокзала уже без всякого энтузиазма вылавливали наших нищих безбилетников. Если по чьей-то выдумке собиралась в одном зале творческая молодежь столицы, наша гольтмба выделялась своей «одежей» — беспризорными пиджачками и лыжными костюмами. Однако была некая отрада и утешение в такой убогой жизни: мечта о будущем. Скрижаль о повинностях и воздаянии советского писателя не вывешивалась на институтской доске объявлений, но все знали, что на ней выбито. Повинность, строго говоря, одна: участвуй своим пером в созидании справедливейшего в истории человеческого общества! Разве это постыдная цель? Беллетристический дар, особенно средний, — вещь пластичная: можно вылепить из нее вазу, а можно — и плевательницу. Зато воздаяние... При одной мысли о нем у затравленного литинститутовца захватывало дух.

Что было венцом желаний литературного солдата, метившего в генералы, то есть нормального одаренного студента? Указ о присуждении ему той самой премии. Волшебный указ, царский указ. Вчера он был никто, довольствовался могильными метрами в общежитии и булкой с маргарином. Машинистка, печатая его пухлое сочинение, выправила кучу орфографических ошибок. А завтра он — лауреат! Забегают, заулыбаются секретарши с восковыми кудельками; машинистка отстучает ему письмо на адрес института («горжусь» и пр.); дальше — диплом с отличием, книга — в трех издательствах, в одном — массовым тиражом; московская прописка и предложение престижной работы; ввод в редколлегию и возможность самому решать, что польза для великой русской словесности, а что — опиум...

Все это и носило гордое название социалистического реализма. Так что он — не белая горячка наших критиков. Был мальчик, был!

Когда, окончив институт, мы влились (ты) или надеялись влиться (я) в не слишком еще плотные писательские ряды, большая часть литературной братии пребывала в нетерпеливом ожидании новых чудес. В раздражении от того, что они медлят свершиться именно когда пробил мой час. И в тебе это было, и во мне, ибо дышали мы теми же микробами зависти и тщеславия, что и наши коллеги. Не сразу и не вдруг недоюжинный талант, совесть, стыд перед людьми повернули таких, как ты, в сторону служения не себе, а литературе.

Ты знал изначально или быстро догадался, что строим не Царство Божие на земле, а совсем иное, с обратным знаком. При неминуемой вспышке прозрения что случится? А то же, что с мешками золота в гоголевском «Вечере накануне Ивана Купала»: «одни битые черепки лежали вместо червонцев». И в миф о новом советском человеке ты не верил, ибо нутром своим чувствовал: человек — субстанция неизменная. Можно вздрючивать его на собраниях, придавать ему искусственное ускорение, перевоспитывать по беломор-канальскому методу (твой кумир Пришвин делал вид, что верит в эту ахинею), но позволь ему вернуться в состояние покоя — и он прежний, непредсказуемый в своих алчных аппетитах, вечный ветхий Адам.

Но и тебя, личность нестигаемую, не то чтобы сбили с толку, но обременили мукой несоответствия. Реальности и бредово-кабинетных мечтаний об этой реальности.

В сентябре 58-го ты писал мне из Архангельска:

«Поездка моя оказалась совсем не тем, что я воображал себе. Т.е. к ужасу своему я понял, что или я прав, а весь мир не прав, или я не прав, или совсем не туда забрался. Если все писать, как я чувствовал здесь, то это гроб, а по-другому писать, т.е. не то, а как надо, — тоже гроб.

Я, м.б., покажу тебе дневник, я тут от скуки плел чего-то, ты увидишь, что я совсем зарыпался и того, что мне нужно бы, я не увидел, проглядел, что ли, а всякие ощущения — это все эфемерно и, м.б., неверно. С чем я приду к Панферову! Наверное, мне надо бы съездить на Кубань или еще куда, где люди получают ордена за урожай и живут, вероятно, по-иному, чем здесь. Здесь же умирание, хуже, чем было, если верить, скажем, Пришвину и пр.»

Выходит, и ты, Юра, талант первостатейный, первенец из деревенщиков, первенец из авторов лирической прозы, — рыцарь не без упре-

ка. Твое покаяние — это твоё устремленное к истине неуываемое творчество. А мы, не такие достойные, чем оправдаемся?..

Прошел слух, что дом творчества «Переделкино» на ладан дышит. Закрылось твоё любимое «Голицыно», полузакрылась Малеевка. Из «Дубуат» выселили нескольких идеалистов (придумали, куда поехать!) чуть ли не с полицией. И, хотя переделкинский контингент разъедает все та же вражда между «демократами» и «патриотами» и уже не стенка на стенку, а стол на стол идет грудью, покидать эту последнюю пригодную для работы обитель мне очень грустно.

Прогулки мои превратились в растянутую муку прощания. Выходя из дома, спиной читаю на фронтоне с раскрытой каменной книгой год постройки здания: 1955. На пышном крыльце между двух дорических и четырех ионических колонн сиживали, бывало, Валентин Асмус, Сергей Бонди, Арсений Тарковский.

Вчера отправилась навестить родник. Прошла мимо дачи Пастернака, спустилась земляным скатом к металлической лесенке — и по ступенькам, как по наклонным цимбалам, — вниз. Бульдожий обрубок трубы извергает струю. Это и есть «святой колодец», но старожилы уверяют, что настоящий, катаевский «святой колодец» — по другую сторону железной дороги.

Не возненавидь я с детства зеленку, сказала бы, что все кругом было напитано взвесью брильянтовой зелени. Зеленели безлистые деревья. Зеленели мхи. Зеленела вода в бочаге. Далеко впереди, за Неясной Поляной, уже слегка обезображенной со стороны дома творчества каким-то долгостроем, золотились купола великолепной церкви.

...каждая малость

Росла и, не ставя меня ни во что,

В прощальном значении своем поднималась.

Меня не мучила жажда. Не было с собой ни ведра, ни чайника для родниковой воды. Я пристроилась поодаль, на поваленной осинке, и вспоминала...

В последнюю нашу переделкинскую встречу мы с тобой пошли к патриаршему собору. Уже минула весна света, весна воды. Начиналась весна травы.

Не впервые уже влекло нас в эту сторону... В сущности, как только завязалось между нами нечто большее, чем курсовое общение, ноги са-

ми несли под сень куполов (вовсе не безопасную, с точки зрения царившей тогда идеологии), слух ловил отголоски благовеста, более всего известного нам по финалу оперы «Иван Сусанин»; «Жизнь за царя» — можно было прочесть только в энциклопедиях. Да не очень-то мы внимали этому зову, за что, может быть, и поплатились.

Еще в январе 58-го собирались в Загорск (прошлый и нынешний Сергиев Посад), но помешала твоя болезнь. Зато, когда ты вернулся из Дубуат и предстояло наше полное и, казалось, окончательное примирение, в теплый предпасхальный вечер 12 апреля зашел ты за мной, чтобы ехать нам в Ново-Девичий монастырь, где мы и встретили Светлое воскресенье. Ты звал разговляться к Устинье Андреевне, но я постеснялась почему-то.

А через год, снова из Дубуат, с трудом преодолев все чаще одолевавший тебя соблазн ничегонеделания, ты радостно сообщал:

«Вчера придумал, а сегодня начал писать новый рассказ. Рассказ о Пасхе, о пасхальной ночи, о благовесте, о любви, о весне, о добре и вечной жизни — и да поможет мне господь бог! Я так рад теперь — главное, чтоб не растерялось то, что вчера подкатило и так ясно встало и вообразилось, что у меня аж мурашки по коже пошли.

Какая удача: и мой старый дом с его запахом пыли аравийских пустынь от черепицы — все пойдет в рассказ и так естественно: девочка ночью выпрашивает ключ и ведет моего Павлика в этот дом. Ах! А свечи, а крестный ход, а пение, а крик: Христос воскрес! А Ока внизу, а запах дыма от листьев, которые жгут в парке возле дома и... бог знает, что еще. Кончается же все березовым соком, который брызжет, капает в темноте — всюду.»

В книге «Две ночи» среди набросков есть и «Вечерний звон» — история подростка Пашки. Как получил он, токарь по четвертому разряду, билет на бал в Георгиевском зале Кремля, где и мы с тобой были (удивительно было в конце 50-х попасть в Кремль, доселе закрытую для обыкновенных смертных правительственную цитадель!) Как увидел рядом с собой девочку: «Она была ослепительна и прелестна. Щеки ее были румяны, глаза сияли, волосы дымились от света, и в волосах был прозрачный бант...»

Судя по названию, имени героя и «девочке», это — вариант того самого рассказа. Внизу страницы, как эпитафия: «Рукопись обрывается; конец рассказа не сохранился». Так пусть хотя предначало будет. Нет, нет, это — не про нас с тобой. Но та наша Пасха в Ново-Девичьем, должно быть, аукнулась в «Вечернем звоне».

Не выбравшись в Загорск зимой, нагрянули мы туда летом. Ничего не помню из увиденного! Провал, полный провал — до, середине и после. Испарилась, иссохла в июньский зной вся рибонуклеиновая кислота — носитель памяти... Вижу только тебя, уходящего и возвращающегося, на фоне вечной Лавры. Переживаю заново наши очередные, — так уж повелось с самого первого твоего «прощального» письма, — ссору и примирение... Я ведь тоже увлекалась фотографией. Знаю, что, когда слишком открыта диафрагма, резко выступает только объект наводки, остальное теряется в тумане.

В октябре 81-го (твоя жизнь уже клонилась к закату), по моей просьбе, ты доставил мать к Сретенской церкви Новой Деревни. Я представила тебя отцу Александру Меню. А ты представил ему Устинью Андреевну. После моего крещения мы сделали как бы братом и сестрой: мать кровная и мать крестная — все равно мать. А кем еще мы могли быть друг другу? Ты был женат, растил сына Алешу. Я — замужем, у меня — дочь Саша. И разве плохо быть братом и сестрой в мире-холодильнике, накануне вполне реальной атомной зимы, среди — не скажу, чужих, но все-таки отчужденных людей. Даже своей среды, даже своего избранного круга?

Обнявшись душами, шагали мы твоей последней весной к патриаршей церкви в Переделкине. Она была закрыта. Какая обида! Тебя подтачивала тяжелая болезнь, и жить тебе оставалось немногим более полугода.

Был ли ты верующим? Несомненно! Чтобы лишний раз убедиться в этом, достаточно перечитать твою прозу, твои письма. Хвала мне свое Абрамцево, говорил:

— Там легче сосредоточиться на себе и на Боге.

«Себя» не случайно ставил на первое место. Не потому, что тонул в самодостаточности, в самолюбовании. Ничуть нет! Мне думается, ты считал, что Бог — в душе. А душа-то в человеке. Смерклось в душе — потускнел и Бог. Все за то, что есть запредельный Владыка Земли и Небес, но нам Такого прозреть не дано. По пословице: всяк сверчок знай свой шесток... Посещать церковные службы, исповедоваться, поститься ты препоручал матери, сам только жертвовал деньги, если они были...

Знаком того посещения Переделкина осталась твоя книга «Арктур — гончий пес», в ярком детском издании, с поразительной надписью. Оглашать ее не буду. Нам с тобой она известна, а другим — без надобности.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

«Я послал тебе из Архангельска смурное письмо. Теперь уж я успокоился и взыграл духом: прочь, прочь все!» — писал ты мне когда-то.

Вот и я разразилась в Переделкине подобным же письмом, и это свинство с моей стороны. Ты не любил моего заунывного тона, и когда был здесь. А уж посылать такие сопли-вопли туда — последнее дело.

И судьба подала мне сигнал: расслабление души и тела — чревато... Заболело брюхо, да как! Словно внутри костер разложили, полыхает, как нефтяное месторождение в Кувейте. Температура под сорок, ну и т.д. «Живот» — это же жизнь по-старославянски. Переделкинская медсестричка примчалась ночью: «Вызываю “Скорую!”». Я — ни в какую. Представляешь: в полубреду обнаружить себя в солнцевской, битком набитой больнице, на каталке, в сквозняковом отсеке перед операционной с диагнозом «острый живот»!

А я, говорю тебе как на духу, посмеиваясь над условностью избранного жанра, — письма на тот свет, — ловила себя на мысли: с какой же такой оказией передать тебе мои эпистолы? Может, с каким умирающим издательством или журналом — их количество растет прямо пропорционально инфляции. И вдруг запахло оказией, так сказать, непосредственной...

Дав дежурной медсестре «подписку о невыезде», я носом уткнулась в казенную наволочку с черным жирным клеймом на самом видном месте (чтоб не стащили!) и задумалась о жизни и смерти.

И прожгло меня воспоминание. Как, полный писательских замыслов, помирал ты от мозжечкового инсульта вдобавок к диабету в Красногорском военном госпитале. Как рвался и метался. Матерился страшно (рассказывал твой врач). А потом стал медленно затихать... Видно, спасительное земное не смогло удержать тебя тут. И, сбрасывая балласт за балластом, ангел смерти (он же «ангел небесный» — название твоего недописанного рассказа) облегчил твою душу настолько, что отнял у нас и взял себе почти без твоего сопротивления.

А какие силы были задействованы (ненавижу это слово!), чтоб только поместить тебя в госпиталь. Какие петиции выстукивались на мелованных бланках и под шапкой Союза писателей. Сам Георгий Мокеевич Марков принял в тебе горячее участие. Протаранили ведомственную стену. Положили. Условия, врачи — ах и ах! Лечитесь, Юрий Павлович,

гордость наша, возвращайтесь в строй и радуйте советского читателя новыми достижениями.

Такой тошнотворно правильный образ действий всегда раздражал тебя. Потому что ты знал таинственную глубину жизни. Ее непостижимость. Предчувствовал: больно пекутся о твоем здравии на земле — значит, уже отворены ворота предвечные. Так оно и получилось.

Я приехала к тебе в одно из ноябрьских воскресений 82-го. Строгая проходная, как в «почтовый ящик». Огромней испытательного полигона двор. Трава под снегом. Я назвала ее «тургеневской». Ты, усмехнувшись, «устиновской», по имени тогдашнего военного министра.

Ты был ухоженной, чем в предыдущих больницах: коричневая пижамы с белым воротничком и отворотами, чистое и целое постельное белье. На мой телефонный вопрос, что привезти из еды, впервые ответил: «Ничего, я — сыт».

Ты пытался писать. Выполняя твою просьбу, жена подобрала наброски, записи. Библия и папка с нее толщиной лежали на столике рядом с кроватью. Ты был один в палате на манер дома творчества. Тебя навещали, и каждому из нас ты рассказывал, что будешь писать. Видоизменяя детали, но сохраняя костяк. Три или четыре сюжета. Вот собрать бы пересказы и слепить воедино. Поздно! Десять лет прошло. Свои-то замыслы забываются. Тем более чужие.

В пятницу и субботу, 26 и 27 ноября, ты обзвонил нас всех — не даром просил подкидывать тебе душки для автомата. Мать, жену, родных, друзей. Часов в пять вечера говорил и со мной. Твой голос казался спокойным, но внутри все клокотало, я заметила. Дословно помню твою фразу о шапке. Перед тем я выяснила для тебя в ателье Литфонда, сколько стоит пошив зимней мужской шапки. Из выдры. Ондатры. Кролика. Ты просил заказать самую дешевую:

— Начиная писать в кроличьей шапке и закончу в ней...

Герой Владимира Войновича, тоже писатель, умер из-за того, что его обошли престижным мехом. Ты умирал, как Блок, как русский гений, оттого что нечем стало дышать.

Не загнула ли я насчет «гения»? Нет, Юра! Ты не чурался этого слова. Талант и гений — не вопрос количества, а вопрос качества. У таланта, как бы он ни был значителен, всегда видно, как что сделано. Таланту можно подражать. Талант, то есть человек, наделенный талантом, отбросит суету, уединится, соберет свои силы в кулак — и выполнит, что ему назначено.

Твой случай — другой. Много раз слыхала твои сетования: когда не-

что уходит от тебя, ты остаешься на совершенно голом месте. Не склеиваются слова, не осеняют мысли, остается предаваться «умственной вакханалии», как выразился ты однажды в письме. Зато, когда оно возвращается, ты — кум королю! Строчишь себе на машинке, почти без помарок, душа — в огне, голова — во льду, все-то тебе удастся, все шарики попадают в свои лунки. Рассказ возникает как чудо, и эта чудесность передается читателю. Вроде бы ничего в нем особенного, а шедевр, «кусочек мастера», как переводится дословно с английского. Мастера земного или небесного? Об этом лингвистика умалчивает.

Твой истинный друг Виктор Конецкий.. А в том, что он истинный, я убедилась недавно, когда, не сумев приехать в Москву из-за болезни ног на вечер твоей памяти в музей Герцена, он прислал и письмо, и телеграмму, дышащие любовью к тебе, в то время, как другие приглашенные, блиставшие своим отсутствием, вообще не проявились.. Виктор Конецкий дает свое объяснение твоего раннего заката, физического и творческого:

«Да, заскоружла в нас уверенность в том, что наступление на собственное горло, умолчание — необходимы народу. А это преступление перед народом и историей, это хилость мысли и страх души, а не величие самоотречения, как считалось когда-то.

Да, борьба за собственную песнь — тяжелая штука. И увы, из самой глубины веков мрачной, ухмыляющейся тенью сопровождает ее водка — из всего самый легкий выход» («Опять название не придумывается. Повествование в письмах»).

Понимаю: В.К. писал это тогда, когда гласность только-только открывала свой ротик бантиком. Но не могу с ним согласиться. Ты написал меньше, чем нам хотелось бы, по причине не логической, а метафизической, что ли. Попробую объяснить.. Имея столько дара, сколько вмещала твоя природа, и даже больше, ты вырабатывал его очень интенсивно, не думая о будущем, как месторождение ценного ископаемого, скажем, платиновой руды. Сильно поубавилось ее в недрах — стала пустеть округа, отхлынула и совсем ушла жизнь. Я же говорю: гений.

А таланты, куда более осмотрительные, сняв урожай, взрывают и засеивают землю в расчете на следующий, и практически неиссякаемы, только вот не бессмертны.

Мало написал? Пусть так! А нужно ли писать много? Когда «макулатура» стала чуть ли не синонимом литературы, когда книжные полки ломаются, а в руки не просится почти ничего?!

Сейчас — затишье, но издатели, по крайней мере в России, обрече-

ны тебя издавать, читатели обречены восхищаться тобой. Всегда! Это ли не завидный удел?

Десять лет тебя нету, а мы, куда менее одаренные, живы. Не отдала я концы в Переделкине, Юра, оклемалась. Муж и дочка вытащили меня из пограничной области, от которой рукой подать до сумеречного города Лима, куда Данте поместил души всех поэтов и где есть надежда нам с тобой встретиться.

После малого опыта умирания наша родная помойка предстала мне, можно сказать, в преображенном виде. Я стала удесятиренной чувствовать красоту природы, во много раз больше ценить каждое мгновение.

И вот.. Усмехнись, как ты один усмехался, уводя в сторону глаза, и так задымленные стеклами очков, и выдвинув, словно для обороны, нижнюю губу.. Когда подкатило к горлу неукротимое желание вырваться из городьбы, погулять, отдышаться, не нашлось у меня знакомого с дачей ближе, чем твоя жена.

Я только заикнулась, она уже пригласила:

— Приезжайте, Тамара!

— Спасибо, Тамара!

Абрамцево.. А ведь мы были, были здесь с тобой. Поднимались и опускались, как на американских горках: по деревянным лесенкам, по мосткам, по тропкам; коленями раздвигая луговые цветы, — шагали прямо по травостоям. Вон тот кустарник вдоль опушки, у маслянистого омута, называемого шоколадкой, он мне издавна знаком! И сиреневое марево дальних лесов, оно то же, что и 30 лет назад, только стало еще сиреневей.

Держали-то путь к музею, — поклониться Сергею Аксакову, но исследовали и окрестности, в одежде загорали, потом прятались от дождя под августовскими кронами. А до поселка академиков не дошли. Никто не подсказал, что за мнимыми дебрями, в получасе ходу, такой вот опередивший города-спутники островок цивилизации. С коттеджами на немецкий лад, с цветущими десятинами земли, с асфальтовыми лентами..

Дом ты купил в конце 60-х. Сам уже степенно-оседлый по виду, приобрел после законной бюрократической волокиты (не академик!) солидное двухэтажное жилье. А мечтал ты о собственном гнезде со студенчества, чем очень удивлял наших перекатипольных однокурсников. Знакомство с Фёдей Поленовым, внуком художника, распалило тебя еще пуще. У него был под Тарусой родовой чудо-дом, и тебе захотелось такой же. Не для себя, так хоть для потомков..

Значит, Сергей Тимофеевич Аксаков, хозяин абрамцевских красот, не обиделся на тебя за маленький смешной казус, допустил к своим сокровищам? Ты — писатель самостоятельный, но школа у тебя, конечно, была. И, прослеживая твое художественное родословное древо, нетрудно обнаружить у истоков Сергея Аксакова. Так что тут ты был свой — от своих. А обидеться он мог вот на что. В статье для журнала «Крестьянка» ты почему-то назвал его Степаном. И, как ни серьезен был тогда проверочный аппарат, ошибка проскочила в печать, доползла до миллионного подписчика. У, как ты волновался! Читательницы журнала — женщины, а женщины безжалостны, сотрут в порошок, выйдет неприятность и редакции, и тебе. Я, рекомендованная тобой, сотрудничала в «Крестьянке», занималась почтой и держала ухо востро. Если заметят Степана... К счастью, никто ничего не узнал. Пришло два или три недозуменных письма — из ежедневного мешка почты. Одна я, наверное, и помню эту забавную историю.

В те немногие разы, когда я приезжала в Абрамцево при тебе, ты водил меня через заднюю калитку Алешиним путем. Там такие ориентиры: слабый ручеек Яснушки, круглый железобетонный колодез с хрустальнейшей водой, над обрывом — нелепая ротонда как памятник стабильной, но душной эпохе.

Ты спасался от нее на радонежской земле, к скоропалительным планам «спасения России» относился плохо, думал хозяйствовать на своем большом участке, чтобы можно было продержаться в голодуху. Предупреждал меня:

— Мы хоть сосисок ели вдоволь, а наши дети и этого не увидят...

Абрамцеву посвящены два лучших твоих рассказа: «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал».

В настоящей прозе всегда вычитываешь то одно, то другое. Я знаю, разумеется, что последний рассказ — о твоём крошечном сыне Алеше и нашем общем товарище Мите Голубкове. Об одной жизни — восходящей и другой, прерванной дико и своевольно, из охотничьего ружья, способом Хемингуэя, твоим патроном.

Сейчас Алеша похож на нестеровского отрока, занят на реставрационных работах, из зарплаты покупает себе модные молодежные вещи. А Митя... Его давно не переиздавали, ныне этим никого не удивишь. Будут ли вообще переиздавать — вот вопрос. Даже памятник с его могилы на Ваганьковском украли, я подписывала бумагу в милицию, пока — глухо...

Перечитывая недавно «Во сне ты горько плакал», я, угадай, на чем похолодела? На абзаце, скользившем раньше мимо внимания:

«Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишасящих паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках подобно диким зверям. Лились и теперь детские слезы, лились, но совсем, совсем по другому поводу. Это ли не блаженство, это ли не счастье?»

Как страшно! Ты будто смотришь из прекрасного далека наши телевизионные «Новости» осени 92-го. Ты всегда все знал наперед, многое предчувствовал. Но если тебе открыто спрятанное от нас, подсказки, как нам дальше жить, Юра!

Я поселилась в моем летнем кабинете, в мансарде на втором этаже. Из окна видна осень, самое ее начало. «Осень в дубовых лесах». В отличие от Тарусы тут нет чистых дубрав, но резного, отлакированного солнцем и дождями дубового листа очень много. Вознесенский, всегда на свой страх и риск венчавший не розу и жабу по-есенински, а бузину и дядьку, на сей раз превзошел себя: «Дубовый лист виолончели». Волшебная тройчатка: и вид, и звук, и запах. А вот, назвав виолончель вместо контрабаса твоим профессиональным инструментом, он ошибся величиной, спутал похожие формы.

Я давно не видела по-настоящему осени: какая красота! С высоты птичьего полета, с твоей высоты, не видно, небось, всех этих очаровательных мелочей, которые ты ценил не меньше своего полуторагодового сына, а он, как ты пишешь в рассказе, без конца «мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку...»

У меня не столь микроскопическое зрение, но, смотря немного и твоими глазами, я благоговейно созерцаю все неброское, подмосковно-родимое. Три настурции, выросшие там, куда обычно грязную воду выплескивают. Тугие шарики помидоров, вроде свистульки нашего детства «уйди-уйди». Несколько маслят, чьи пятячки поднялись с земли у меня на глазах и просятся на сковороду, невзирая на устрашения прессы относительно грибов-мутантов.

В летнем кабинете мне очень нравится. Вдоль стен, обшитых фанеровкой, на расстоянии вытянутой руки — полка. По всему периметру комнаты. На полке, где заботами твоей жены ни пылинки, твои книги. На всех языках. Далеко не будучи полиглотом, но прилично зная творчество Юрия Казакова, я стараюсь угадать, что за рассказ скрывается

под тем или иным названием. Ну, «Адам и Ева» — везде «Адам и Ева». То же с «Тэдди», с «Арктуром». А вот «Трали-вали» на всех языках звучит лихо, но по-разному: «Трали-лали» на французском, «Транка-фланка» на румынском, «Тандара-мандара» на хорватском. Твоя книга вышла в Сараево в 65 году. Ныне там убивают, измываются над людьми. Не до жемчужин мировой прозы...

Я и забыла, что историю бакенщика Егора по требованию Панферова ты переименовал в «Отщепенца». И сам возмущался: ну, какой он отщепенец! Напомнили мне об этом дотошные немцы. К «Der Gestrandete» они еще дали и русскую транскрипцию «Otschtschepenez»...

«Дорогому Юрию Павловичу с благодарностью, что могла Вашу книгу — прекрасную — переводить. Витольда Юрьевич. Варшава. 14/XI 60».

«Дорогому Юрию Казакову, моему любимому русскому писателю и одному из самых любимых людей с нежностью, поклонением и завистью к его таланту» — Евгений Евтушенко на книге «Нежность».

Это лишь два из многих автографов. А ты мне писал: «Так проходит земная слава». Не проходит, Юра, а лишь отдыхает, очухивается...

Была сегодня в абрамцевском музее и испытала мистическое чувство. Давным-давно ты был влюблен в типаж «Девочки с персиками» — и вот серовское полотно с тремя всегда свежими плодами и вечным неразраченным сиянием девичества. Я заметила мимоходом, что лицо твоего сына — в нестеровском духе, и тут же узрела самое картину «Видение отроку Варфоломею». А возросший отрок Варфоломей стал Сергием Радонежским и, хочется верить, освещает и освящает радонежскую землю.

Гоголь, Аксаков, Поленов, в той или иной связи упомянутые мной, постоянные обитатели или гости этих мест. Выходит, все отсюда начинается или сюда впадает. Выходит, что Абрамцево — пуп земли, средоточие всего, особенно любимого нами. Может, это и есть твой ответ на мой вопрос, а, Юра?

Когда-то ты меня подбадривал в письме: «Как посмотришь, так мы с тобой счастливые люди!» А что? Нам выпал случай — может, один из тысячи — родиться. Мы жили. Думали. Любили. Страдали. Творили. Докапывались до истины... Неужто не счастливые?..

Весна-осень 1992 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

P.S. Твоих писем и телеграмм за четверть века набралось у меня более полусотни. Позволь привести тут несколько, хотя бы в отрывках. Не всегда в твою или мою пользу. Но всегда в пользу чего-то высшего. Красоты. Правды. Творчества. Истины, как бы горька порой ни была последняя.

Т.Ж.

О, истомленная Тома!

Эту фразу я написал, чтобы ты спокойно и радостно читала дальше и не думала, что это письмо мое — последнее.

Но оно будет последнее, если ты не приедешь. Даже смерть не должна тебя остановить — пусть придет твой дух (который, я уверен, будет темный по цвету).

Сегодня была у меня красавица, а я — о, дурище! — играл перед ней роль спокойного человека, слишком увлеченного лите [рату] рои, чтобы обращать внимание на ее губы, ресницы и проч. Я ее угостил вином и легким разговором, я наговорил на пленку 200 слов, но я не поцеловал ее ни разу — червонную даму, а не пленку — вот святой Христос! — и она ушла разочарованной. Пойми, из-за тебя я опозорил русскую лит [ерату] ру, ибо передо мной все время торчало твое лицо, а оно мне надоело, замечу в скобках. Тамархен! Мамаша! Что мне за это будет? Нет, не дожидаться мне от тебя милости, ибо нет ничего хуже женщины, окончившей лит.институт, да еще с отлгцием.

Слушай, несчастная, ты хочешь, чтобы я тебя бросил? Ты хочешь, чтобы я, бросив тебя, один поднимался к вершинам зажиточной жизни? Ну что ж! Я буду жить один, писать и печататься. Я буду получать много денег, уеду в Латвию, куплю себе виллу в Яундубултах, женюсь на латышке и буду принимать гостей — англичан и прочих шведов. У меня будет камин, бочка рому и тролли на чердаке. А когда ты, старая, некрасивая, обуянная горем, приедешь ко мне, я приму тебя, грустно улыбнусь, угощу ромом и уйду работать в кабинет. А ты пойдешь и утопишься в море. И рыбаки выловят твой старый некрасивый труп и похоронят ради бога.

Если ты всего этого хочешь, — можешь не приезжать в воскресенье в Семхоз.

Если же ты хочешь другой жизни, то приезжай, я тебя буду ждать на сосновой платформе, на той самой, где я когда-то целовался с Лилей в первый раз (...)

4/VII-58 г.

Милая, добрая Тamarхен,

Я в Питере, со мной машинка, наброски «Старого дома», материалы по Лермонтову (знаешь ли, что я хочу писать о Лермонтове?), я живу в отдельной комнате окном на канал, и мне не пишется что-то. «Мне не спится, не ложится...» Зачем же я уехал, будто кто-то вдруг погнал меня из Москвы? Я хожу по Питеру (здесь так называют Л-д), и опять восторга, но не те, что были в прошлом году — более глухие, пережитые... Все было, было уже... И потом эти частые радиопередачи о положении в Ливане: все это мало располагает к спокойствию духа.

Здесь еще белые ночи, но уж нет блистания, а полумрак, очень слабый ночной свет.

Думаешь ли ты обо мне? Я скоро уеду отсюда, не знаю только куда — в Псковскую обл. сначала или прямо на север, на пароходе. Мне хочется почему-то смутиться духом, попечалиться в одиночестве. Я делаюсь в эти минуты лучше, знаешь, такой маленький Юрочка, неизвестно когда родившийся, едет по белу свету, смотрит и поражается его счастьем и грусти, и многим жизням, и вечному, и мгновенному...

Я сейчас подумал, что как, в сущности, люблю я людей и как не могу без них и что если даже не люблю, ненавижу, то все равно из-за любви к ним. Значит, как же несправедливы ругающие меня и как, верно, долго мне терпеть все это (...)

Пойду сейчас опускать тебе это письмо и бродить по городу. Все меня смущает, чего мне надо — не знаю, знаю только, что где-то есть ты, и, если у нас все будет хорошо, когда-нибудь вернусь к тебе, как бумеранг (Хотел написать: как свет возвращается к звезде — неверно; хотел написать: как сын — к матери — слишком возвышенно; и остановился на бумеранге. Пусть я буду бумерангом. Пусть я буду пчелой, приносящей тебе мед мира и любви. И пусть никогда я не ужалою твою благотворящую руку).

(...) Если захочешь написать мне, пиши не откладывая. А то я могу уехать и не получить твоего письма. Я перечел сейчас свое письмо,

вижу, что оно получилось грустным, но не буду переписывать. Ты же не особенно думай над тем, что оно грустно, а что я скучаю по тебе. Грусть же тяжка и требует сочувствия тогда только, когда она вызвана внешними тяжелыми причинами. Если же она внутренна, то это не страшно, пройдет, как — помнишь? — прошли Азорские острова.

Ну будь здорова, не скучай и пиши сказки. Пришли, если хочешь, хоть одно свое стихотворение. Я буду ходить и бормотать его.

18/? / июля 58 г. (Не уверен, что сегодня 18-е)

Архангельск 2/IX-58 г

Ах, ах! — я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и сижу теперь, как великий и мудрый Пришвин, у росстаня, в гостинице «Интурист» и думаю о тебе. Ты уверена, конечно, что я сразу открыл коробку — и зашуришал... Так нет же, у меня, оказывается, есть сила воли, и я терпел до Архангельска. И ты думаешь, я страшно обрадовался тому, что было в коробке? Нет — но только сперва нет, а потом... когда я увидел, что каждая конфета — тонкая ручная работа, когда я вообразил тебя с высунутым языком, рисующую и клеющую, я вздрожнул и заплакал. Я подумал о том, как ты любишь конфеты сама и, следовательно, какие муки ты испытывала, занимаясь приготовлением мне этой коробки. Впрочем, замечу в скобках, я вовсе не уверен в том, что ты не съела половину конфет, предназначавшихся мне, пока клеила. Признавайся! Потом коробка... Дивная коробка, я ее тщательно обнюхал и убедился, что она имеет парфюмерную природу, но внешность! внешность! — где ты достала все эти ярлыки и фантики, неужели ходила и собирала по улицам или это все бранные останки конфет и шоколада, предназначавшихся мне, так сказать, отходы производства?

И ты думаешь, наконец, что я выбрасываю фантики? Ничего подобного, я их буду хранить всю жизнь. Серьезно.

(...) первый день прошел вяло, я отсыпался в гостинице, потом был в изд[ательст]ве, у знакомого писателя и т.д. Завтра я думаю выйти на разведку, на предмет моего маршрута, т.е. куда я поеду отсюда. Пока я держу в голове Зимнюю Золотицу — деревню на Б[елом] море, отсюда родом Марфа Крюкова.

Слышны изредка низкие гудки морских пароходов, и меня покалывает иголочками. Боже мой, как я счастлив был здесь в первый раз, осенью 56 года, ужасно, что сейчас я сплю как-то, только колбаса выручает. Да, колбаса — ты знаешь, когда я поехал сюда в 56 г., я взял колбасы с собой копченой, у нее был странный вкус, я потом такой не ел больше, и вот у тепереишной колбасы тоже такой же вкус, и я, когда ем ее, начинаю волноваться.

Только что прогудел пароход: один длинный гудок и два коротких, скоро, значит, отойдет — куда?

Самое плохое, что ты не со мной. И я ужасно расстраиваюсь. Смотри, осенью у меня будет с тобой на юге решительное объяснение.

Пока не заканчиваю письмо, продолжу его завтра, когда узнаю что-нибудь о своем маршруте (...)

3/IX Итак, решено, я уезжаю завтра в Зимнюю Золотицу — это на северном побережье Белого моря. Пароход туда отходит в 13 часов (...)

Говорят, Золотица — хорошее место и народ там хороший, но это все смутно, никто ничего не знает, я сегодня ходил и спрашивал — никто, никто не знает. Жалко, я стихов не пишу и жалко твоих не взял, тех, которые ты мне читала.

А надоел же я сам себе, читал сегодня гранки с головной болью, с ненавистью. Ладно, на юге увидимся, а уж что будет, что бог даст, никому я сейчас не верю и тебе не верю — никому. Матери только, мать одна не предаст, ты не обижайся, ты тоже наверное во мне не уверена, и тоже, может, мучаешься, ну и я тоже.

Не знаю, буду ли я еще тебе писать, я воображаю, как ты сейчас живешь, о чем думаешь, и все неясно, все в тумане.

Милая, милая, хотел бы я Блоком быть или еще каким-нибудь гением, понимаешь, гением, ужасным и загадочным, и ради тебя только, мне не надо, мне на что — слава дым, это так, т.е. когда ты один, так один, хотя бы тебя миллиарды любили и ставили свечи, но, когда туга, страшно, все равно один, уж Христос на что, а взмолился же отцу: пронеси, мол, мимо чашу сию, а знал же наверное, что будет любим в веках (или не знал?), знал наверное, а вот взмолился, и потому, когда один, то слава — мура и вообще ничего не надо, но я хотел бы стать первым, великим, чудом природы, то есть когда уж людям не понять, как это? как? — это ой-ей как ужасно трудно, этого у нас на Руси немногие достигали, а я хочу и стану, вот те крест святой, из-за тебя, да может, из-за матери (...)

Мамочка моя, куда меня занесло! Что-нибудь одно: или я дурак со-
вершенный, или самый мудрый и хитрый человек — или я уеду отсю-
да, проклиная север и себя, или привезу в Москву полный мешок поэзии
и счастья (...)

Начать с парохода. Ну, пароход черный, погребальный, мрачный; 3
класс, в котором я ехал, — грязный и жесткий, под потолком вечером
тлели четыре лампочки, было сумрачно и нехорошо. Ехали на нем все
местные и солдаты, шел он в Мезень. Солдаты и гражданские как на-
чали пить в Архангельске, так не перестают, наверное, и сейчас (...)

Но на пароходе ехала девушка одна, я заметил ее еще в Архангель-
ске и, грешным делом, крикнул тогда же — такие глаза, как у нее, —
редкость великая, даже трудно подыскать определение: ленивые,
странные, сумрачные, загадочные... все не то! Они такого, знаешь, ли-
ловатого цвета, с темными длинными ресницами, м.б., тут ресницы
играют роль, черт ее знает. Словом, я ошалел. По цвету они похожи
на твои, но слегка выпуклые, помнишь Наташу Тарасенкову? — так
вот примерно такие. Но у тебя в глазах что? — у тебя ум и внима-
ние, дух, душа, у тебя глаза переменчивые, но интеллект в них виден
всегда, и сострадание, и нежность, бог знает что еще, много, а у этой
не то, у этой — сумрачная загадочность, как, м.б., у Маньки моей, я
примерно такими воображал глаза Маньки, только зелеными,
а у этой — фиолетовые.

Так вот, оказалась она моей соседкой; ну, я был мрачен, скучен и не
помышлял, конечно, чтобы ухаживать за ней, к тому же ехали с ней ее
знакомые ребята и в ухаживателях недостатка не было. Но я все хо-
тел еще и еще окунуться в ее глаза — тра-ля-ля... Почему бы не насла-
диться, не воспарить душой? Только сперва ничего не получалось — ни
разу не взглянула она на меня, хотя бы мельком. А потом как-то раз-
говорились, уединились, на меня нашел стих — плотина лопнула, я
стал оживлен, поэтичен и даже почти не заикался — представь! — го-
лос мой играл и переливался, вздрагивал в нужных местах и пр., и пр.
И все я чувствовал на себе ее взгляд, все боялся взглянуть, но потом
внутренне подбирался, взглядывал — и прощай все! — готов был, если
б так глядеть, плыть с ней хоть на Чукотку (она плыла далеко —
в Мезень). Ну вот, это, так сказать, первый глоток — ты не ревнуй,
глоток чисто писательский, наблюдательный.

Приехали в Золотицу ночью, ах, я забыл еще сказать: вечером я

торчал на палубе и думал, вспомнил, вернее, как фосфорисцирует Черное море, и только подумал, как гляжу — в струе у борта зажглось ярко-зеленое пятно и медленно стало отходить назад и гаснуть, потом еще и еще... Так я и не понял, что это светилось, м.б., медузы, сталкиваясь с корпусом парохода, вспыхивали. Но бледный их мертвый свет вспыхивал все время то ярче, то глуше, верно, от того, на какой глубине вспыхивал. Было холодно, и я думал еще, что если прыгнуть в воду, то больше двух-трех минут не продержишься, заколениешь и утопишься, и долго будешь идти ко дну, глубина наверное была метров 400—500 (...)

Телеграмма из Н-Золотицы 16/IX

Пиши теперь Архангельск иду туда пешком морем нельзя штурм — Юрий

26 сент 18 ч Архангельск.

Сегодня прикатил в Арх [ангельск] и получил сразу целую кучу писем! Они жгли мне карман, но я терпел: пришел в гостиницу, спустился в ресторан, заказал шикарный обед (первый обед за месяц!) и, выпив рюмку коньяку, принялся за письма (...)

Я перся пешком по берегу, и бывали моменты, когда я напоминал сам себе джеклендонского героя. У меня был рюкзак 25 кг, ружье, патроны, удочки и спиннинг, сапоги, джемпер, куртка и плащ и шапка зимняя: со всем этим и во всем этом я топал берегом моря, увязая в песке, или спотыкался на камнях в скалах. Бывали моменты, когда я валился отдыхать через каждые полчаса; ноги я разбил в кровь, несколько раз блудил, но все кончилось благополучно.

Дошел я до Куи (есть такая деревня), и тут как раз пришел пароход, я глянул на него, не выдержал, схватил рюкзак — и вот сегодня я уж в Архангельске (...)

Я не хочу тебе писать всего, что я тут увидел и подумал и пр., — я тебе говорил уже, прочитай «Колобок» Пришивина, делай поправку на сегодня, т.е. преобразуй деревни в колхозы и т.п., и вот тебе точная картина жизни тепереших поморов, а мысли и ощущения Пришивина — мои мысли и ощущения (...)

А я-то! В атеисты попал! Господи, прости меня, дурака грешного, и помилуй и не оставь своими милостями! Вот не думал, не гадал. А главная божья милость мне — это ты (...)

Адрес получателя:
Гудаута, д/о «Золотой берег».

Тамарка!

Я получил твою телеграмму, полную материнской нежности и подписанную так: мама (доехала благополучно лучше катером целую спасибо — мама). После того, как ты уехала, я получил еще два письма от Баруздина — одно сюда, а другое мне переслали из дому, получил также твою прошлую записку от третьего октября. Бедная, бедная ты, а я жестокий зверь.

Баруздин пишет, что меня приняли в СП, но еще не утвердили Президиумом. Президиум должен был состояться 27 окт.

Но это не главная литературная новость. Главная, что Пастернаку за роман «Доктор Живаго» и за лирику дали Нобелевскую премию. Скандал страшный. Не знаю, чем кончится, наверное его вышлют из СССР. Из СП во всяком случае исключат. Сегодня или завтра получится след[ующий] номер Литературки, я тебе потом привезу.

Погода стоит ужасная, и я захандрил, причем жестоко. В комнате холодно. А позапрошлую ночь была луна, и снег в горах сиял. Сегодня пробовал писать и вчера тоже, но ничего не выходит, хоть волком вой.

Я все подумываю, не смыться ли мне в Москву и тут же вопрос: а в Москве что?

Словом, паскудство. Единственный мой собеседник (инвалид) уехал, и я теперь совсем один. Мама сегодня ушла к знакомой, оставила меня, чтобы я работал.

Тамарка, ей-богу, я ничтожество.

До свидания, моя детка. М.б., до Москвы, т.к. я не знаю уже, приеду ли к тебе, как хотел, уж очень нехорошо со мной. Вдруг я сорвусь еще раньше тебя.

Читаю Блока.

29/Х-58 г. Пицунда.

Ради бога, хоть ты-то пиши! Нам надо работать. Мысль, что ты пишешь, м.б., и меня подтолкнет и пристыдит. А то нельзя же, надо писать, причем сценарии и проч. не в счет — чисто денежные работы, надо писать для будущего.

Очень хочу, чтобы ты не зря провела эти последние дни здесь, хочу гордиться тобой. А на меня не обращай внимания, это со мной теперь почему-то почти постоянно. М.б., это болезнь, но она не должна превращаться в заразную.

А я должен ее преодолеть. И преодолю — вот тебе слово!

М.б., мне не приезжать, если ты работаешь? Телеграфируй мне. А то выйдет как со мной. Я было вздохнул, уперся, задрожал, хотел что-то написать, но ты приехала и все нарушила. Хоть и сладкое нарушение, но я не хочу быть тебе помехой (...)

Адрес получателя:

Гудаута, д/о «Золотой берег».

2/ХI-58 г. Пицунда

Душа моя!

Если бы ты знала, как захотел я есть! Я приехал домой и выл, лежа на кровати, все время пока мама варила борщ.

Теперь я дома, узнал новости насчет Пастернака, мама слушала радио. Но ты приедешь, обязательно узнай подробности (у кого-нибудь из наших ребят, зайди, что ли, в институт, там, верно, знают), а когда я приеду, ты мне все расскажешь (...)

А ты читаешь ли мою книжку? Как тебе показались «Тихое утро» и «Ночь»? Особенно «Тихое утро» — напиши, пожалуйста, очень прошу, это для меня важно.

Тамарка, какая была лунная ночь, а! А ты знаешь, я ехал по ужасной вертячей дороге, и что-то придумалось вроде рассказа, в котором он и она будут стоять в горах вечером, в темноте на дороге и ждать автобуса, а автобус идет, но дорога с виражами, и вдруг он срывается в пропасть и (издали) медленно катится вниз, а фары его горят и световые лучи описывают круги, восьмерки и т.д. шаря по горам. Тогда... Тогда она прижимается к нему и т.д. (...)

Спасибо, Тамарка, я очень тронут твоей заботой, очень рад, что побывал у тебя, словом, счастлив бесконечно.

Как ты дошла? Без приключений, надеюсь? И тоже, наверное, проголодалась, да? Ну конечно же — и ужин был у тебя неполный, и завтрак тоже, и на обед, наверное, опоздала (...)

Пришли мне телеграмму из Москвы обязательно.

Ну, до свиданья, очень рад, что у тебя все хорошо. Будь умницей, не волнуйся, не принимай близко к сердцу дел, которые тебя касаются отдаленно. Понимаешь? Давай станем оптимистами, им ведь, чертям, веселей жить на этом свете. Станем? (...)

Хелло, моя крошка! Я уже раздраженно фыркнул на твое молчание и думал самодовольно: «О, женщины!» — когда получил твое письмо. Ты — молоток, чувствуется школа «Труда», дай бог, чтобы ты не стала лаконичной и чтобы всегда я получал такие длинные письма. Я засыпал, читая его, просыпался и снова читал и потом опять засыпал. Мне казалось, что я иду по железной дороге, которая сужается и пропадает на горизонте. До конца я так и не дочитал, ну да неважно, все равно чувствуется, что молоток (...)

Что ж ты не написала, слушала ли ты мои рассказы? Я не мог послушать — тут по-латышски все итарят. Наверное, не слушала, была! Так я и знал.

Зато я получил из Чехословакии журнал! Ага! Три рассказа на первом месте, мой портрет (ах, какой я красивый!) и разные слова про меня. Ты можешь его купить в Москве в магазине периодики стран нар. демократии. Кажется, где-то есть такой. Купи и упивайся моей карточкой и чешской речью. «Архтур, ловески пес» начинается так: «Никдо неведел, як зе стало, же зе обьевил ве месте. Присел однекуд на яре и зачал ту зит. Никого необтезовал, никому зе невнуковал и никого над себою неузнавал — бил звим панем» и т.д.

А журнал — прелесть! Я его весь обнюхал. Тут много интересного и кроме меня, всякие снимки и рисунки на современный манер. Журнал назыв., если вздумаешь в самом деле купить, — «Светова литература» №1 за 59 г.

Слушай-ка, давай махнем куда-нибудь летом с тобой? А? Ты это дело обмозгуй — хочешь, ко мне на родину, хочешь, еще куда-нито... Знаешь, как по-чешски «любовь»? «Ласка!» То-то! (...)

26/III-59

Ух ты моя крошка! Милашка! Ах ты молоток! Как это ты меня ругаешь за эти слова, когда я тебя ими называю любовно? Как это вообще ты едешь куда-то в Калинин, когда я сижу в Дубултах, причем окончательно одубултенный?

Ты знаешь, меня-таки раздолбали уже в Архангельске. Статья называется «Тени прошлого» — а? Тон и содержание этой поносной статьи я тебе не стану цитировать, только конец, а он вот какой: «На наш взгляд, выход в свет книги рассказов Ю.Казакова, грубо искажающей нашу действительность, облик наших современников — строителей коммунизма, — ошибка Архангельского издательства».

А сама статья такова, что пусть меня повесят, если архангельские аборигены уже не расхватали мою книжку, чтобы постараться узнать, что же за собака этот Казаков.

Как видишь, я добр и спокоен. Жалко только Одинцову, ей, бедной, наверно, достанется.

Разноса же в Москве, по-видимому, тоже не избежать, хоть московская книжка по составу своему несколько мягче архангельской.

Но это не суть, а суть, что я получил договор на новую книгу в «Совтисе» — объем 15 листов. И получил уже аванс. Как тебе это нравится? Причем, если ты помнишь, я пальцем не пошевелил в пользу этого договора — не ходил, не кланчил, не переживал — заявку только написал.

Я пишу тебе и слушаю радио — изумительная программа: Шуберт, Корелли, Витали — а за окошком серенький денек, мотаются на ветру ветки и они как-то в ритме музыки мотаются, и мне очень от этого хорошо и уютно. Все-таки я напишу скоро нечто такое, чем буду страшно доволен. Хотя я тебе, кажется, зря в последнем письме похвалялся: рассказ о Пасхе что-то захряс, покрылся пленкой и я его нацупываю.

От Коринца получил грустное-грустное письмо. Как посмотришь, так мы с тобой счастливые люди!

Все будет хорошо, моя крошка, мой молоточек!

Любишь ли ты меня? А я тебя прямо ужасно и чем далее, тем более — хорошо, что мы с тобой тогда не расстались, а то было бы очень паскудно мне сейчас.

У меня в кремле купола горят,
У меня в кремле колокола звонят...

Это из Цветаевой. Но у меня тоже есть кремль, так вот в нем то же самое (...)

Петрозаводск 15/IX-59

Тамара!

Я получил тогда твое письмо, но нарочно не стал отвечать. Теперь уже прошло много времени, и я хочу тебе сказать: хорошо, что ты тогда ушла на бульваре.

Наши с тобой отношения зашли в тупик, и их следовало, конечно, давно прекратить.

Все, в чем ты меня обвиняешь в письме (и еще больше в душе, наверное) — все это происходило не от моего к тебе равнодушия — ты это должна знать — а из той душевной апатии, которая появилась у меня давно.

Предпринимать что-либо, бороться за что-либо я давно уже не могу. Давно, выражаясь высоким штилем, ладья моя скитается по воле волн (...)

Общение с женщиной в моем теперешнем положении должно доставлять мне радость, ну, если не радость, то легкость во всяком случае. И я не могу, не хочу видеть твоих опущенных губ.

Мне и без тебя слишком паршиво приходится в этой жизни, я и без тебя каждый день снова решаю свои проклятые вопросы — кто я есть на земле. К ним можно относиться по-разному, в зависимости от настроения, от событий и проч., но от них не уйти мне, как бы я порой ни смеялся жестоко над собой и надо всем, связанным со своей деятельностью в лит-ре.

Мне очень тяжело порой, что наши с тобой отношения кончились ничем. Виною этому не я. Ты застала меня уже в трансе, уже таким, каков я сейчас, и в самом начале тебе надо было думать о себе и обо мне. Я тебя не обманывал. Твое все увеличивающееся недовольство мной, моим поведением мне всегда было тяжело, наверное, я все-таки не то, что нужно обыкновенной земной женщине. Согласись, что та-

кие слова, как Мессия, страдалец, отщепенец, поэт и т.д. хороши только издали и мало кому нужны вблизи.

Так вот, не хочется, чтобы ты верила, надеялась на мое «исправление». Я не исправим. Наверное, я буду становиться все хуже и хуже. Я стал пить, чего раньше не было. Я отбился почти от дому, и путь мой, дорога моя становится для меня крестом, а писательство — голгофой. Я мрачен, ленив, скучен, неинтересен и брюзглив. А скучать и томиться лучше в одиночку(...)

Койда 26/VII-60

Милая моя!

Я опять на Севере, добрался на этот раз почти до полярного круга и можешь представить мое удовольствие, когда, перелистывая в северной избе «Смену», я наткнулся на тебя.

Господи, какая ты интересенькая! Чай, тебе теперь письма шлют солдаты и матросы.

Стихи приятные, особенно про сына и мать. Только куры не «верещат». Не то слово. Ты, что, кур не слыжала?

А в общем, очень это славно, только постарайся не пропадать со страниц журналов.

Большой тебе привет от Коринца, он со мной.

На Севере все время жарко, только дня 3—4 было холодно. Мы в Архангельске купались днем и ночью. В полпервого ночи — представляешь?

Ну будь здорова, привет твоим. Проболтаюсь тут, верно, до конца августа.

Твой Юрий.

Письмо-телеграмма из Тарусы 23/III — 62

Поздравляю днем рождения ты теперь совсем большая и хорошая даже удивительно расти еще и будь здорова — Юрий

Милая Тамара!

Получил я твое письмо дня два назад (жена привезла) и, к сожалению, ничего не слышал, конечно. Я ведь обитаю в Тарусе.

Но все равно рад за тебя и поздравляю!

Как твои дела вообще? Как дочка?

Я летом работал, да мало — соблазнов было много: байдарка, мотоцикл, грибы, земляника, купания, рыбалка... Никогда не буду больше работать летом, все равно плохо получается.

Встретил я как-то летом Федю С., жалок он был, как и всегда. И Ска видел...

Почему это наш курс весь такой бездарный? Из 30 с лишком человек только трое-четверо болтаются в лит-ре, печатаются, остальные же канули в Лету в тот самый момент, когда потной от счастья и надежд рукой получали диплом об окончании Литинститута (...)

21 сент. 1966.

Книжку, если не достала, подарю, так и быть. Да ведь тебе не интересно, там все старое. Не нравится она мне (т.е. рассказы), чего ее так хватили в Москве? Фик их знает.

Дорогая Тамара!

Ну как, насладились ли ты белыми ночами и встречами с Юшковым? Обязалась ли ты отобразить в своих стихах величие Сыктывкара, в котором герой Голявкина, пятилетний мальчик, подметал пристани? Он их подметал так быстро, что скоро ему стало нечего подметать. Тогда для него принялись строить новые пристани, но он успевал подмести их прежде, чем их построят. Он подметал еще пристани, которые были в проекте, а также те, которых в проекте не было. И его дядя, узнав об успехах племянника, воскликнул с гордостью: «Молодец! Пробился в люди!»

Нагляделась ли ты на строительство? Так же там строят, как в твоих Текстильщиках, или лучше?

Был у меня в Казахстане принципиальный разговор с В.Кожевниковым. Он ехал в Караганду любоваться разными промкомбинатами и хотел, чтобы и я, дабы не остаться от НТР, тоже поехал бы в Караганду. А я ему сказал: уж ежели мне так припрет, то я за пяточок поеду на завод Лихачева и наслажусь там НТР, а здесь, сказал я, желаю

смотреть на овечек и пастишь вместе с ними на джайляу. (Что я и делал с удовольствием!)

Тамара! Не покупай дачу — даже если твой муж, Павел, напишет сценарий, за который огревет большие тысячи! Все лето я ремонтирую свои дома, и конца этому не предвидится. И не поехал я из-за этого никуда, как предполагал, и все накрылось, уж августу крышка и температура по ночам — 7 гр. (не минус семь, а плюс, а минус в строке — это просто тире, ясно?) И все лето ничего не пишу, все мои гениальные произведения валяются незаконченными, бумага выцветает, строчки пылятся (...)

Слушай, приехала бы ты ко мне! Хоть в следующую субботу. Я по субботам топлю баню и не работаю. Созвонись с Цыбиным и с кем там еще? И валяйте. Ехать надо до станции 55 км. Со станции налево. Ну, а адрес ты мой знаешь: Академ. поселок, 43. Найдешь! Или одна приезжай, а то, черт побери, редко мы видимся. А это чревато. Это может кончиться тем, что видать друг друга мы будем только в гробу. Ясно? (...)

22 авг. 74

Дорогая Тамара!

Как жизнь? Что-то тебя редко стало видно на страницах нашей славной печати. В чем дело?

Я наконец-то стал раскачиваться. Давай соревноваться — кто больше напишет, а?

Сижу в Абрамцеве, мать в Москве, и я последнее время вовсе один. И даже не скучаю, представь себе! День и ночь переборачиваю так и сяк свои рассказы.

Был в Новгороде — полный восторг, я бы там подольше пожил да к 1 сент. надо было Алешку в 1 класс провожать.

Речи были, и духовой оркестр играл, и почему-то марш, похожий на марши, которыми провожали на фронт. Мы все даже прослезились (...)

19 дек. 75

11-я ул.Текстильчиков... Ах, ах! А хорош был адрес: ул. Горького! Дом забыл, а кв. № 24 — помню! Лифт помню, подъезд... Помнишь, ночью на бульваре таксист присел к нам на лавочку и сказал мне: «Пинжак будешь, если такую бросишь!» И телефон: Б9 — 50 — 14, не вру?

Милая, милая Тамара!

Поздравляю тебя с днем рождения и не вижу тебя теперешнюю, а вижу в панамке с пепельными косами, с удивительными синими глазами, какой я тебя запомнил на всю жизнь с лета 1954 г. Обнимаю. Целую ручку. Всегда твой Ю.Казаков.

22 марта 1978.

ДОМ И ХРАМ

*** **

Т. Великановой

Мир спасти или только Россию,
Но немедля, всем скопом, дружной...
Как стара эта песня, какие
Песнопевцы срывались на ней.

В царстве трусости праздновать труса
Очень стыдно. Но, совесть, прости:
Как известно с времен Иисуса,
Этот мир невозможно спасти.

И, выходит, напрасны старанья,
Бесполезен спасительный хор,
А Фемида бесстрашною дланью
Всех спасателей да на костер...

Но душа, что в безумном порыве
Разбросала любви семена,
О грядущей напомнила ниве,
Та душа, видит Бог, спасена.

1980

*** **

Согласна эту жизнь делить
С Малютой или чертом лысым,
Но, умерев, хочу побыть
Между Мариной и Борисом.

По праву младшей, но сестры,
По праву коренной землячки
Хочу, вкусив их чистоты,
Очнуться от житейской спячки.
Главу, как в храме, обнажив,
Сказать: Кремль и Тверской — все те же,
Трехпрудный переулок жив
И цело здание Манежа.
Не все поделено промеж
Радетелей на час и быдла,
Не все с диппочтой за рубеж
Доходно и бесстрастно сбыто.
Он жив еще, российский дух,
Подвергнутый миллиону пыток, —
В сырых каморках развалюх,
В квартирах малогабаритных.
И даже выдворенный прочь,
Утративший права гражданства,
Он не умеет превозмочь
Безумной жажды постоянства.
И мчится из последних сил
Туда, где краски так унылы,
Где над равнинностью могил
Встанут поэтовы могилы.
Скорее, выше облаков,
домой!
И для него едины
Погосты нищих и богов,
Бориса сон и стон Марины.

1976

*** **

Умирала... Ожила...
Дом родимый оглядела:
Тот, кто раньше делал дело,
Нынче делает дела.

Кто искал себя, тот благ
Нынче ищет материальных.
Чайник, он теперь начальник,
Рекордсменом стал слабак.

Что нести, куда, кому —
Всех превыше интересов.
Вот что я нашла, воскреснув,
В дó смерти родном дому.

Удивилась: что за дом?
Где хозяин? В чем причина?
Ведь еще я не почил
Вечным сном.

1978

*** **

Год смерти мамы — новоселья год.
Семь лет квартиры ждали — срок немалый.
Все наконец-то есть. Недостает
Лишь мамы.

Зачем мне три окна, глядящие черно,
Когда домой иду устало?
Ведь было у меня всего одно окно,
Но в нем она стояла.

Зачем мне телефон?
«Так быстро? Повезло!» —
Твердит коммуникабельный товарищ.
Никто не скажет в трубку мне:
«Алло!»

Где, дочка, пропадаешь?
Зачем мне телевизор?
Тридцать пять
На пятьдесят — что проку в том экране?

Никто за ним не будет коротать
Минуты ожидания.

Пуста квартира, все в ней на «авось».
Нет ничего живого, как в пустыне.
И сколько бы людей в ней ни толклось,
Она необитаема отныне.

*** **

От пятьдесят второй больницы
Ведет дорога прямо в лес,
Где можно отойти, забыться,
Присесть на влажный рыжий срез.

После бессонного дежурства
Хотя б на несколько минут
Придет обманчивое чувство,
Что т а м все ладно, как и тут.

Цветы ребята собирают
Без провожатого, одни,
А что в больницах умирают,
О том не ведают они.

И подорожник с хилой свечкой,
И пышноцветный иван-чай —
Все говорит о жизни вечной,
О жизни, бьющей через край.

*** **

Когда умирают отцы,
Меняются матери наши.
Вдовицы (как редки вдовцы!)
И ходят и смотрят иначе.
Неважно, вся грудь в орденах
За выигранные сраженья

Иль бедный отличия знак —
Латунный «Отличник движенья», —
Он значился как генерал
На тайном семейном совете,
От жизненных бурь заслонял
И даже, и даже от смерти.
Дорога идет под уклон
И мать все прозрачней, все меньше.
Мужской опрокинут кордон,
И смерть дотянулась до женщин...
Лишь в снах безоружных своих
Мы видим родимые тени.
Как много хотели от них,
Как мало от них мы хотели!
Чтоб в стирку таскали белье,
Пекли пироги и печенье.
Они ж выполняли свое
Высокое предназначенье:
Детей оведали теплом,
Цепляли своими корнями.
Сломались — и рухнул заслон
Меж смертью и глупыми нами.

*** **

Знаешь, я все время слышу
Колокольчик расставанья.
То он громче, то он тише,
Но звенит, как в наказанье...

В нашем новеньком районе,
Где кино близ ресторана,
Где о колокольном звоне
И подумать было б странно,
Где открытые пространства,
Запах аэровокзала,
Где, старайся не старайся,
Все равно уюта мало, —
Как три выигранных карты,

Три квадратика под крышей,
Три летательных снаряда
На пути к Луне и выше...
Мы теперь не помним сами,
Как умели мы с тобою,
Застеклив наш дом слезами,
Вдруг согреть его любовью.
Ни один из мудрых зодчих
Не слепил такого зданья.
Но трезвонит колокольчик,
Колокольчик расставанья.

*** **

Отпустить тебя, что ли,
Не потом, а теперь?
Хорошо, брат, на воле
Без оков, без цепей.

Отступиться просила,
Но просила любя,
Но сама, как трясина,
Засосала тебя.

Тесно связаны оба,
Хотим, не хотим.
Неужели до гроба?
До березки над ним?..

Сама присмотрела
Человека в толпе,
Слегка присмирела,
Приникая к тебе.

Слилась, растворилась,
Потеряла лицо.
Сама спохватилась:
Не поздно еще?

О муки Тантала,
Вы мне по плечу:
Раз не удержала —
Сама отпущу.

ПРОСЬБА

Не смерти боюсь, а недуга,
Хирурга, чей скальпель остер,
В глазах осторожного друга
Боюсь прочитать приговор.
Не смерти боюсь, а больницы,
Процеженной, скудной еды,
Технички, что глухо бранится,
Линолеум драя до дыр.
Не смерти боюсь, а палаты
С унылыми койками в ряд,
С мышинным халатом —
халаты,
Как вражки штандарты висят...
Я сызмала знаю, что смертна.
На мне, как на каждом, печать
Невечности.
Смерть милосердна.
Что просьбами ей докучать!
Не гибели одномоментной,
Удела немногих людей,
Палату прошу поуютней
И няньку прошу помягшей.

Случайный встречный,
 спутник мой земной,
 Еще не уходи, побудь со мной.
 Взгляни, как быстро, по-январски смерклось.
 Снег потерял первоначальный блеск,
 Придвинулся и стал массивней лес,
 Насупилась и одичала местность.

Из всех миров, закинутых во тьму,
 Лишь этот близок сердцу моему,
 Из всех пространств лишь это глазу мило,
 Из всех холмов лишь эти семь холмов
 Мне дали обрести свой круг и кров,
 Но без тебя все это мне постыло.

Единственная ценность на земле —
 И почему она досталась мне —
 «Любовь, любовь» (как пел один виновник
 Постыдной драки; от избытка сил
 Кого-то он избил или убил,
 И ныне — не певец, а уголовник).

Любовь, любовь, какие бы уста
 Тебя ни оскверняли, ты чиста.
 Любовь, любовь, зачем меня неволишь
 И выжимаешь тряпкой половой?
 Ты мне дана, ручаюсь головой,
 На краткий срок, на жизнь мою
 всего лишь.

Случайный встречный мне тебя открыл.
 Сложил мой дом и сам же разорил.
 Ведь говорят: есть бог, и это — случай.
 Любовь, оставь меня в моем мирке
 Или заставь взмыть в небо налегке
 И каторгою выбора не мучай.

1979

Тому, кто невзначай
Мой номер наберет,
Я шлю свое «прощай»
На много лет вперед.
Безумцу, что опять
Прислал собачий бред,
И хочет точно знать,
Поэт он или нет;
Тростинке травести,
Которой к сорока
Случилось обрести
Рвача и дурака;
Страдальцу средних лет
Из самых бедолаг —
Он заключен в корсет,
Как будто в саркофаг, —
И той, чье имя мать,
Чей сын позор и боль,
Готова яд принять.
«Ты что? Господь с тобой!»
Иным весь век звонят
Живущие в тепле.
Мне вечно бьют в набат
Которые в петле.
Ах, кто один, и семь,
И девять наберет,
Я шлю прощенье всем
На много лет вперед.
Я помню наизусть
Свой век, и круг, и дом.
Когда-нибудь вернусь
В обличии другом,
Сменю не душу — вид,
Опять начну с нуля
И буду жить навзрыд,
О русская земля!

В ГОЛИЦЫНЕ

*А. и Д. Сухаревым
Т. и С. Никитиным
В. и Д. Берковским*

Голицынские рощи так тихи:
Ни самолетов, ни людей, ни ветра.
И я пишу прощальные стихи,
Невольно подражая стилю ретро.
Рысцой тридцатилетней пробегу,
Мурлыкая Булатовы куплеты,
От ВТО до клуба МГУ,
Где правят музыканты и поэты.
По Орликову двинусь не спеша,
Сверну во двор и дом тот обнаружу,
Где новый лифт, как старая душа,
Строителями выведен наружу.
Кто строит нас? Кто роком отряжен
По некоему взеземному знаку
Рассечь грудную клетку как ножом
И вывернуть всю душу наизнанку?
Я верю: стопроцентной смерти нет,
Душа жива любовью, только ею.
О други, музыканты и поэт,
Как доказать вам это я сумею?
Под музыку Вивальди, та-та-та,
В переложенье Вити и Сережи,
Я прилечу к вам в средние лета,
На склоне дней и после смерти тоже.
Издалека, покада не угас
Мой пыл земной, вседневно и всечасно
Благословлять, о други, буду вас.
Живите долго. Вспоминайте часто.

1979

Из дальних странствий ворочусь,
Хоть никуда не уезжала,
И от наплыва нежных чувств
Набухнут лампочки вокзала.
Как тускло в городе родном!
А не прошло еще недели,
Как за мучительным окном
Огни Манхэттена горели.
Я испытала сей соблазн:
Встать, распахнуть — и рыбкой, чтобы
Еще одну чужую казнь
Пронаблюдали небоскребы,
Но стало страшно мне тогда,
Что вечность у меня в запасе..
Пошла считать я города
Так, как считают деньги в кассе.
Все испытала, до сумы,
Пока вас тут снедала косность.
Но я устала жить взаимы
И обивать пороги консульств.
И вот вернулась.
«Хороша!» —
Сказал доброжелатель странный,
Не зная, что моя душа
И есть мой край обетованный.

1980

ПЛАЧ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Укрепи меня, ангел с небес!
Чтоб отстал малодушия бес,
Чтоб беду развести мне руками,
Чтоб стоять на своем, как на камне.
Я давно запустила дела,
Отпустила с чужими дитя,

Мужа милого вдаль проводила
И жива только тем, что правдива.
Мой удел ни на чей не похож:
Побожусь — говорят: это ложь,
С робкой ласкою вспомню о муже —
Говорят, что изменницы хуже.
Как пекусь я о дочке родной,
Как она откровенна со мной —
Недрут, жало свое выпуская,
Говорит, что я мать никакая...
Успокой меня, ангел с небес,
Сил моих остается в обрез.
Не тверда, не смела, нерадива,
Не права, может быть, но правдива.
Жизнь по лжи — это жизнь не моя.
Если лгу, значит, это не я.
Есть в небесной конторе тетрадка,
Куда все внесены для порядка.
Ты достань потайную тетрадь,
Из нее мое имя изгладь,
Чтоб в ряду с именами живыми
Не стояло то, бывшее, имя.

А. В. МЕНЮ

Боясь себя, я приоткрыла дверь.
За нею оказалась анфилада
Террас? Сквозных пространств?
Поди проверь!
Быть может, смертным
имя знать не надо.

Встречавший торопить меня не стал,
Он впереди пошел —
и страх мой убыл.
И надо всем божественно сиял
Вселенской церкви
необъятный купол.

Жду дорогого гостя
На платформе дощатой,
В руке моей онемелой
Зажат букетик помятый.
Уже фонарь станционный
Свет неохотно цедит.
А кто обещал приехать,
Почему-то не едет.
Толчется над головою
Мотыльковая стая,
В полупрозрачный конус,
Как в сачок, залетая,
Взрагивают зарницы,
Небо черно и млечно.
Видно, моя планида —
Ждать и встречать вечно..
Кто преуспел, встречая,
Дома пьет чай с повидлом,
Кто проторчал напрасно,
Ушел с оскорбленным видом.
Только я и осталась
На платформе бессонной:
Дощатую лет уж десять,
Как сменили бетонной..
Поблескивают рельсы,
Пахнет липой и гарью.
«Ну, еще один поезд!» —
Сама с собою играю.
Уходит в вечность платформа
И электричка — за нею.
А я все стою с цветами,
Свой пост покинуть не смею.

Жизнь начиналась, как у всех,
Но были маленькие льготы:
Не молк мой полуночный смех,
Когда отец, придя с работы,
Меня колюче целовал
Под гимн «Интернационал».

Да, были льготы вне заслуг:
Семья дружной, чем у подруг,
Дом интересней, двор просторней,
Славнее всех земель земля,
Где спелись, полноту суля,
Мои — из разной почвы — корни.

Потом наметился надлом:
Потух и обезлюдел дом,
Мотивы детства отзвучали,
Зуд фанаберии исчез,
И жидок стал противовес
Тоске, безверью и печали.

Чем дальше в лес, тем больше дров...
В один из роковых годов
Со мной сдружилась невезуха,
И корни бедные мои
Сплелись, как будто две змеи,
Высасывая кровь друг друга.

Хотя врачебный приговор
Звучал невинно: «анемия»,
Никто не знает до сих пор,
Куда девались кровяные
Тельца, не съел ли, вот вопрос,
Их притаившийся лейкоз.

А что? Страдание — нарыв.
Болезнью вскрыется, изныв,
Твое немолодое сердце.

Лечить недуг? Лечите дух!
Покой, надежда, верный друг —
Вот патентованные средства.

Когда-то я прочла роман,
Что написал Ромен Роллан,
Тогда я упивалась книгой,
Теперь остыла к ней слегка.
«Ничто не кончено, пока
Ты жив», — сказал француз великий.

«Ничто не кончено», — твержу
Земле, по коей я хожу,
Тебе, любовь, тебе, природа.
«Ничто не кончено!» — шепну,
Когда в последний раз глотну
Из черной трубки кислорода.

*** *** ***

Сынок заезжен и замотан,
Уклончив друг.
Схватила чудом «Бурда моден»
Из третьих рук.

И счастлива. Как в том апреле,
Как жизнь назад.
Красавица! Вы присмотрели
Себе наряд?

«Держайте», — призывает немка,
Магистр иглы.
Блестит неюная коленка
Из-под полы.

Толкучка. Климакс. Перестройка.
Житье-вытье.
Но успокаивает кройка,
Бодрит шитье.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Рядом с «Галантереей»
«Овощи», где в гнильце
Роемся Гера с Геей
Во едином лице.
В заскорузлых митёнках
Мечет на чашу фрукт,
Может, только в аптеках
Бабы весы не врут.
Путь с работы: автобус,
Истинно рыба-кит,
Всех в кишечную полость
Засосать норовит.
В тесноте не до видов,
Смотрят два глаза врозь,
«Для детей, инвалидов»
Вдруг ей место нашлось.
Вышла. Сквозь лаз в заборе —
Ближе. Паюхнулась в грязь.
Вся семья, поди, в сборе,
Заждалась, заждалась.
Горкой — стеклопосуда.
Мужа и след простыл...
Никому не подсудна,
Окромя высших сил.

*** *** ***

Любовь сорокалетних женщин
Все своенравней с каждым днем.
Ровесника трудней зажечь им,
Чем юношу:
— Да что мне в нем? —
Так! Чтоб подруги подивились
На джинсы "мейд ин юэсэй",
На молодой, на хищный вырез
Не нюхавших пороху ноздрей...

Ровесник... Лестница карьеры
Ему, похоже, не далась:
Лифт отключен, ступени серы,
На них окурки, мусор, грязь,
И неодетые перила
уводят в никуда.
А та,
Что о любви в слезах твердила,
Реальна и не столь крута.
Но как ведет себя престранно,
Неосторожно, неумно,
Нашлась мне тоже Донна Анна,
Или кликуша в кимоно,
Или на всех подмостках мира
Под паровозные огни
Бросающаяся...
— Квартира
Подруги — ты уж извини...
То при дележке львиной доли
Желает все мое, все мне.
То о чужом печется доме
И гонит к детям и жене.
То заглушает страсть, как насморк,
То не в бреду и не шутя
Назло рассудку, курам на смех
Запросит у него дитя...
Любовь сорокалетних женщин
И счастье, и тяжелый крест.
Смертельно верной метой мечен
Их каждый взгляд и каждый жест.
И, в сумерках неразличимы,
Закутаны в пары и дым,
Сорокалетние мужчины
Не знают, чем ответить им.

То, что росло по всем участкам
И просто зелению казалось,
Однажды на рассвете майском
Черемухою оказалось.

Так невесомы кисти эти,
Что ствол не тяготят нимало.
Пар изо рта — ее соцветья:
Действительно, похолодало.

Дымки на горизонте дальнем,
Барашки в море-окияне
И приглашение к свиданьям,
Которым снятся расставанья.

Ручной, невозмутимой, тихой
Она прикинется при встрече,
Чтоб после царскою шутихой
Осыпать нам лицо и плечи.

Оповестив победно, пышно,
Что вот она — краса и чудо,
Черемуха уйдет неслышно
Опять туда, пришла откуда.

ВЗРОСЛОЙ ДОЧЕРИ

Твой отец называет тебя
Самым дорогим существом на свете,
Твой молодой муж говорит,
Что в мире нет существа
Прекраснее тебя...
Для меня же ты —
Прежде всего душа,
Выпорхнувшая из моего кокона.
Когда две его золотистые половинки

И бедняги взглянут,
как дракон на дракона,
Извергая огонь
и пугая друг дружку.

А у двух исполнителей
нету охоты
Что-то там сочинять
наподобье утопий,
Их семейная жизнь
зацветет, как болото,
Оба взвоют с тоски
в этой бархатной топи.

Есть в любви исполнитель,
но есть и заказчик.
До чего же несхожестью
сродны своею!
Кто-то первый сыграет
в поддавки или в ящик.
А второй? О втором
я и думать не смею.

ИЗ БРАЗИЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ

ИГРА В ГОЛЬФ

Да, старики. Но игроки,
Но остряки, но кавалеры,
А не скопцы, не мозгляки,
Не ортодоксы, не старперы.
Какой газон! Вот первый сорт
Семян — посеете, польете
И подождете лет пятьсот,
Как в знаменитом анекдоте.
С каким достоинством гольфист
По шару, не клонясь, не горбясь,

Бьет — и лишь вверх отводит кисть,
Лишь чуть перемещает корпус.
Сам свой наставник и судья,
Природы друг, свободы гений,
Играет, не производя
Искательных телодвижений.
На обихоженной земле
Шатром кудрявится мангейра,
И под колеса «шевроле»
Ложится Рио-де-Жанейро.
..Россия! Ты когда начнешь
Чтить гольф, отращивать газоны,
Не с молотка и не под нож
Пуская общие миллионы?

*** *** ***

На песке следы ступни,
Первый палец всех длиннее.
Тут купаются одни
Пусть плейбои, но плебеи.

А со мной живет сам-друг
Красота иного вида:
Микеланджеловский дух,
Воплощенный в статью Давида.

Как божественный хорал
Подымаясь к своду зданья,
Он стопою попирал
Всю систему воспитанья.

Рома.. Рио.. Вдруг песок
Брызнет мне навстречу кварцем?
Где он, этот полубог,
Со вторым предлинным пальцем?

*** *** ***

В гостиных Рио-де-Жанейро
О чем застольный разговор?
О том, что надо было б нейро-
Хирурга вызвать на ковер:
Напутал в черепной коробке,
Хоть и старался напоказ,
В мозгу перегорели пробки,
И светоч разума угас.
О чем еще?
Нет, не о небе,
Простертом, словно божья длань, —
Об участившемся киднепе.
«Закон? Попробуй их достань!
Растительность у нас богата,
Но всходит вовсе без числа
То, что Бодлер назвал когда-то
«Les fleurs du mal» — цветами зла...
И в двух шагах от океана,
Где во вневременность пролом,
В ходу все та же икебана:
Зло сочетается со злом.

*** *** ***

Если бы лебедь белый
Выкупался в метели,
Если бы розы дендрария
Душных духов захотели,
Если бы солнцу в небе
Потребовался сменщик,
Я бы и то, наверное,
Удивилась меньше,
Чем увидев на пляже,
Где дрема и нега,
Черного-пречерного негра,
Рожденного в городе
Жакукуара
И алчущего загара.

*** **

Ванька-мокрый, вон куда утек,
Залил все, от рытвин и до кочек,
А казалось, комнатный цветок,
Лопухий аленький цветочек.

Сводничал на ярмарке невест,
На окошках красовался вдовьих.

Переправился под Южный Крест
И растет на всяких неудобьях.

Воля с болью или сладкий плен?
Ливень с ветром или штамп с пропиской?
Полыхает, как ацетилен,
Дикий бальзамин, Иван Бразильский.

*** **

Прекрасно и увядание,
А не только расцвет.
Кроет седины ранние
Барбарисовый цвет,
Златоверхие зонтики
В небо уносят нас.
Краски полны экзотики:
Манго и ананас.
Повергает в задумчивость
Выбор жгучих мастей...
Осень чему-то учит нас —
Престарелых детей.

АБРАМЦЕВО

Юрию Казакову

Я не знала муки твоей,
А была она велика:
То, что было всего милей,
Рассыпáла твоя рука.

Не держались в ней ни добро,
Ни валюта, в чеках и без,
А держалось только перо,
И на то покушался бес.

Все рассыпалось. Но взошли
Цвет за цветом — лугов краса,
Древней Радонежской земли
Дальнoзоркие очеса.

*** **

Праздники жизни.. Глаза открываем —
Песня по кругу идет с караваем
Вот такой ширины,
Вот такой вышины.
Каравай, каравай,
Кого любишь, выбирай.

Всеми любима: молочницей Мотей,
Папой, и мамой, и дядей, и тетей,
Только не мальчиком с челочкой русой,
Сладко под елкой

быть грустной-прегрустной.

Вот она — в бусах, флажках, канители.
Лампочки, кажется, перегорели.
Свечи зажжем. Все подарки раздали?
Праздники жизни в самом разгаре..
Это не праздник! Нет, праздник. Но, боже,
Даже не он, просто чем-то похожий,

Может, походкой, а может, очками,
Сердце о том извещает толчками.
За руки — за́ город. Все мне желанно:
Тамбур вагона и шлягер «Сюзанна».
Как нас друг к другу прижали, замкнули
В душном пространстве,

в блаженном июле.

Если не завтра, не нынче и даже
Не сей же миг, то когда же, когда же?

Эх, Сюзанна
Любимая моя!
Как на свете

Прожить мне без тебя?

Ведь проживет.. Дай, спрошу у гадалки,
Что меня ждет, не судьба ли весталки?
Дамский набор: почтальон с новостями,
Слезы — горстями, застолье с гостями..
Праздники жизни все тише и глуше.
Что это? Лупа. А это? Беруши.
Что-то увидеть — большая удача,
А не услышать чего-то — тем паче.
Не претендуем на корпус в Кремлевке —
Лучше уж дома, в своей мышеловке.
Все забываем. Одно прозреваем:
Песня по кругу идет с караваем.

*** **

*Воскреснув рано в первый
день недели,
Иисус явился сперва
Мариш Магдалине.*

Евангелие от Марка

Я — Фамарь, я — жена-мироносица:
Три Марии и рядом Фамарь.
Надо мною столетья проносятся,
Мне же видится то, что и встарь.

«НАМ ДАНА КОРОТКАЯ ПРОБЕЖКА...»

Памяти А. В. Меня

Жизнь моя сошла с рельсов, и приятельница, со стороны наблюдавшая мой внутренний раскардаш, ненавязчиво предложила:

- Почему бы вам не съездить к Меню?
- А кто это?
- Православный священник. Служит под Москвой, в Пушкине.
- Я же некрещеная!
- Это не имеет значения. Необязательно входить в церковь. Он сделает с вами несколько кругов по саду, и вы все ему расскажете.
- Все? Незнакомому человеку?
- Он — священник! — напомнила она. — Я у него была, и мне помогло.

Я поехала.

1980-й недавно перевалил на вторую половину. В Тибетском, или Восточном, а также Зодиакальном календарях участвует целый зоопарк зверей: Тигр, Обезьяна, Змея, Лев, Телец. Год восьмидесятый, вопреки всем астрологическим традициям, можно назвать годом Медведя. В Москве только что прошла Всемирная олимпиада, и симпатичный Мишка, эмблема этого застойно-пышного действия, идиотически лепилась куда надо и не надо: на платки и майки, конверты и плакаты, кошельки и альбомы. Скоро он опротивеет всем донельзя, и лежалые товары с медвежьим клеймом будут продавать в комплекте с разного рода дефицитом; напрягая чисто нашенскую изобретательность, вручать покупателям в нагрузку.

Как мало я знала, куда и к кому еду, говорит уже то, что в типично подмосковный, с давно стертой старой и слабо выраженной новой физиономией, город Пушкино (кстати, к поэту название никакого отношения не имеет) я вступила, как правоверный мусульманин в Мекку. И, естественно, ощутила укол разочарования. Мрачный переходной тон-

недь с ползучим змеем воскресной толпы; благоухающая бензином автостанция впритык к железнодорожной; не раз схваченная объективом ленивых киношников старинная бело-коричневая водонапорная башня, будто бы передающая специфику русской провинции; привокзальный рынок со сторублевыми (еще!) шапками из водяной крысы — нутрии и ягодно-грибным безопасным сбором дочернобыльской эпохи. «Барабан был плох, барабанщик — бог» — разорвался динамик, выброшенный, как пиратский флаг, киоском звукозаписи, одним из жалких бастионов зажатого в ту пору сектора частной инициативы.

Это потом самый спуск в подземный переход и торопливый легкий подъем, треснутый асфальт в отпечатках автобусных шин и нехитрая рыночная снедь приобретут ни с чем не сравнимый привкус счастья. А барабанный шлягер покажется райской музыкой.

Сев, как мне было указано, на любой автобус, я заехала не туда, долго петляла и плутала по улицам и проулкам, пока язык не довел меня до Центральной улицы Новой Деревни. Шла по левой, с четными убывающими номерами, стороне мимо одноэтажных домиков с палисадниками и гадала, в котором из них живет необыкновенный священник. Почему-то думалось: живет где служит. Один дом показался мне подходящим. Оконечности стояков калитки — в виде резных фигур: с одной стороны — Сергия Радонежского, с другой — Димитрия Донского. И славянской вязью — по дереву — надписи. Опять пальцем в небо! Всемирного философа-богослова я вселила в обиталище местного художника-умельца.

Лучше бы я не знала о Мене ничего, чем те отрывочные и путаные сведения, которые насобирала по знакомым. Будто бы он — участник войны, с регалиями за храбрость, чудом выжил в огненном котле и, выжив, обратился к Богу. Будто бы Борис Слуцкий посвятил ему, выкрес-ту, стихи, где с комиссарских позиций осуждает его священство, а с национальных — измену вере предков. Услышав стихотворение, я ничего такого в нем не нашла, но образ «центрального героя», как говорили у нас в Литинституте, скорее взывал к сочувствию, чем к восхищению.

*Еврей-священник, видели такое?
Нет, не раввин, а православный поп,
Алабинский викарий под Москвою,
Одна из видных на селе особ.
Под бархатной скуфейкой, в черной рясе
Еврея можно видеть каждый день.
Апостольски он шествует по грази*

Всех четырех окрестных деревень.

.....
*Он кончил институт в пятидесятом,
Диплом отгрохал выше всех похвал.
Тогда нашлась работа всем ребятам,
А он один пороги обивал.
Он был еврей — мишень для шутки грубой,
Ходившей в те неважные года,
Считался инвалидом пятой группы,
Писал в графе «национальность» — Да.*

С горя (так выходило у автора стихотворения) «инвалид пятой группы» подается в семинарию, заканчивает ее, получает «самый лучший приход» и...

*Ну пил бы водку, жрал курей и уток,
Построил дачу и купил бы ЗИЛ.
Так нет, святой районный, кроме шуток,
Он пастырем себя вообразил.
И вот стоит он, тощ и бескорыстен,
И громом льется из худой груди
На прихожан поток забытых истин —
Таких, как «Не убий! Не укради!»*

Еврей-священник», как я выяснила потом, написан не Слуцким, а Е.Аграновичем (цитирую по оригиналу, находящемуся в архиве В.Шорора). С отцом Александром стихи имеют немного общего — вот подмосковное Алабино, действительно, видело и слышало молодого Меня.

Вся эта информация поступила ко мне значительно позже, а тогда, собираясь впервые в Пушкино, я была напитана одними сплетнями...

Посетителей Меня, предупреждали меня, тайно фотографируют из окошка стоящей особняком наискосок от храма хибары.

Говорили еще, будто бы неспроста КГБ глядит сквозь пальцы на его выходящие за рубежом книги: что-то скрывается за этим, кому-то это выгодно, кто-то пестует этот альянс. Нет, нет, ничего плохого о самом отце Александре мы сказать не хотим, но, знаете, настораживает... От лошадиной дозы ядовитой информации у меня подрагивали колени; меня даже слегка подташнивало — как всегда, перед серьезным испытанием.

Улица вдруг пресекалась другой, образовав идеальное распутье.

По левому, худосочному рукаву, как я впоследствии узнала, можно было живописной дорогой вернуться на станцию: с чем приехала, с тем и уехала... Плечевой шов правого, широкого рукава оказался церковной оградой. Рукав переходил в пустырь, пустырь разрастался, растворялся в бурой ван-гоговской желтизне, дотягиваясь до Старого Ярославского шоссе, до линии горизонта. Я вышла прямехонько к церковной ограде и стала как вкопанная. Деревянная, игрушечная церковка о двух синих куполах, с прибитым над входом веероподобным изображением Святого Духа архангельской работы, улыбнулась мне. Солнце, сбитое с яичным желтком, — таков был общий колер.

Я приехала поздно. Служба кончилась. Не скажу, чтобы тесное пространство двора было загромождено толпой, но все-таки ощущалось повышенное многолюдие. Все кого-то ждали. Его?.. Каждому, думаю, знакомая, необременительная зависть к другой, неведомой жизни, в которую нет и не будет доступа, на мгновение овладела мною. Я ее прогнала. Моя цель — не втираться в чужое общество, а поговорить с объективным человеком, священником, получить совет (слова «благословение» не было в моем лексиконе). Поговорю и уйду. А потом и уеду. Вероятно, насовсем. Так решила судьба...

И теперь для меня до некоторой степени загадка, почему в то августовское воскресенье я поехала в Новую Деревню. Ведь все уже вроде было на мази: более года назад муж, дочь и я подали документы «на выезд». Отказа не предвиделось. Никто из нас не изобретал водородную бомбу, не трудил мозги над бактериологическим оружием. Не раздражали мы верхи и диссидентской деятельностью, демонстрациями на Красной площади и т. п. Как раз в то лето шел суд над Татьяной Великановой. Муж попробовал, было, пройти в зал суда, где-то в районе Люблино, ссылаясь на то, что родственник. Не пустили. Потребовали паспорт и записали данные: ишь, выискался любознательный... Танина мать, Наталья Александровна, в самом деле, моя родственница, слегла с тяжелым инсультом. Я дежурила у нее в Первой Градской, переживала за Таню. Но все это не выходило за границы нормального человеческого сочувствия. Убеждения не те? Однако у нас (в ту пору, во всяком случае) государство контролировало не убеждения, а поступки, мы же с мужем оставались лояльными гражданами.

Настолько лояльными, что для многих знакомых и коллег, моих особенно, наше решение эмигрировать явилось полной неожиданностью. Посыпались письма, телефонные звонки. Одумайтесь, несчастные! Тут у вас есть свое место в жизни, а кому вы нужны там? Окажетесь в самом

низу социальной лестницы, будете писать в пустоту, обречете себя на вечное изгойство.

Даже самые близкие не догадывались о том, что тяготило меня больше всех этих вполне реальных страхов. Смутное, но сильное чувство, что поступаю я не по-божески. Предаю свое прошлое, единственное, неповторимое, именно мое, — другого прошлого у человека быть не может. Уезжая, расстаюсь с друзьями, что давно проросли в меня, я же проросла в них; рвану в сторону — порву все жизненные капилляры, истеку живым соком. Прощаюсь навсегда с Москвой, с Подмосковьем, хотя это — родная моя стихия. Может, я — человек-амфибия: взяли и вставили в душу при зачатии нежные бахромчатые пластинки; выброси меня на берег, пусть обетованный, начну задыхаться среди сухопутных красот, ибо привитые жабры обречены омываться водой.

Ну, и последнее: стыдно уезжать, когда другие не могут уехать, даже если захотят. Раньше я никогда не делила своих друзей по национальному признаку, теперь начала соображать: русская, русский, оба русские, полукровка, но считает себя русской, полька-украинка, перс-абхазец, русская-армянка, коми-русский — настоящий интернационал!

Утешала себя тем, что приношу жертву любимому мужу. Элемент жертвоприношения тут был: не я явилась двигателем отъезда. Муж — кинодраматург, документалист, с двумя высшими образованиями, но работы по специальности у него нет. Из десятка заявок на сценарии, что он ежегодно подавал в высокие киноинстанции, перелопатив перед тем уйму литературы, клаюнет, бывало, дай Бог, одна, самая неинтересная, какую никто другой и делать не станет. Например, ПТУ Казахстана. Деньги мизерные, а сколько перелетов, переездов, «синхрон», пререканий с начальством — в результате он стал «комком нервов». Умный, талантливый, начитанный, муж теряет веру в себя. Считает, что всему виной — его еврейское происхождение.

— Но сколько евреев преуспевают в кино, сам подумай!

— Они вошли или втерлись давно. Пробились, благодаря удаче или невысказанной энергии. А новых — не хотят.

Крыть, как говорится, было нечем. Однако, чем дольше мариновали нас «в подаче» (а война в Афганистане увеличила сроки оформления документов до полутора-двух лет!), тем больше донимали меня сомнения: то ли я делаю, принесет ли радость моей семье такая жертва? Торжествуй, ОВИР! Не все сатанеют от твоей кунктаторской тактики. Иные, как видишь, обращаются к Богу.

На табличке слева от входа в храм я прочитала: «Памятник деревян-

ного зодчества. Сретенская церковь XIX в. Перевезена в село Новая Деревня со станции Пушкино в 1922 г. Охраняется как всенародное достояние».

Несколько очень молодых людей вышли во двор, обогнули клумбу и уселись возле прицерковного домика. Невеста, вся как пирожное «безе», с букетом цветов и белой наколкой в волосах, ее подружки и дружки, самый смущенный из которых и был, очевидно, совинником торжества. Вслед за ними появился священник.

Для ветерана выглядел он весьма моложаво. Грубая прикидка сказала мне, что ему не менее пятидесяти пяти (возраст, в котором его убьют!), и для таких лет он неплохо сохранился. Белая ряса, из-под рясы — ботинки на толстом ходу и, кажется, джинсы. Поп в джинсах?!

Пока священник досказывал что-то важное молодым, не занудно-назидательно, а весело, даже лихо, я старалась получше его рассмотреть. Пожалуй, он был похож на индуса, в шлеме начавших сесть волнистых волос, с упрямым лбом впереди горячих глаз, с густым, оливкового оттенка (скоро узнаю: коктебельским) загаром.

Я пожалела, что опоздала на венчание. Немногие венчавшиеся знакомые делали это втихаря, меня не приглашали. Самой же красивейший церковный обряд был заказан...

Молодые отошли, и Мень сразу оказался в кольце ожидавших. Кольцо росло, раздувалось на глазах, все его знали, и он всех знал. Назначались встречи, звучали имена и числа. Он открывал блокнотик и записывал.

Мне удалось попасть в волну прибора:

— Мне бы хотелось с вами поговорить.

Он не удивился:

— Вы с кем?

— Сама по себе.

— Как мне вас записать?

Я сказала имя.

— У меня несколько Тамар, — объявил он, как мне показалось, не без кокетства.

Ответила в тон:

— Запишите: Тамара-поэтесса...

Он назначил мне вторник через неделю.

Уходить не хотелось. Есть игра с повтором довольно бестолкового четверостишия:

*Баба шла, шла, шла.
Пирожок нашла,*

*Села, поела,
Опять пошла.*

Я и была такой бабой с той только разницей, что пока еще ничего ошутимого не нашла, не могла, следовательно, и «съесть» то, чего не было. Просто мне тут дико нравилось. Я как будто вернулась к родным пенатам; из-за поворота дороги сейчас появится моя мать с вечерней электрички; старенький коверкотовый плащ, тяжелые сумки, но на лице не плаксивое выражение вечной мученицы, а просветление и радость: в перерыв удачно отоварились в магазине, успела после работы на поезд, после Мытищ сумела даже сесть, а пока шла от станции до дачи, усталость как рукой сняло, — вот что значит загородный воздух.

И, действительно, я очутилась в дорогих сердцу местах. В послевоенные годы мои родители снимали на лето дачу в нескольких верстах отсюда, в Мамонтовке. «Дачу» — это дань великой русской литературе. На самом деле, две клетушки с бревенчатыми проконопаченными стенами и полтеррасы. Но после раскаленной городской комнаты в коммуналке мы словно бы переселялись в рай.

Хозяева дачи, дядя Паша с голубым бельмом на глазу, вовсе не мешавшим зоркости, особенно по части малинника, и ахающая-охающая по любому поводу тетя Люба в ситцевых юбках, представляли из себя осколки вырождающегося крестьянства. Мой отец, тоже осколок, но интеллигенции, высоко ценил их трудолюбие и чистоплотность. Старики держали скотину, имели огород, фруктовый сад и цветник. Пуская в переднюю часть дома дачников — постоянных нас и еще одну сменную семью, хозяева оставляли за собой просторную кухню с русской печкой, ходиками и иконами в медных ризах. Висели они в углу, сами темные, а медь сияет. Мне было десять лет, и я начала истово молиться. О чем? Трудно сказать. Отчетливо помню лишь моление... о мячике. Недавно закончилась война, мы с мамой вернулись из эвакуации. Игрушки кое-какие после всех кочевков сохранились, а мяч пропал бесследно.

Родители в городе на работе, хозяева — в огороде или сарае, я одна, и я молюсь. Почему-то все молитвы совершались у окна. Росшая в полной безрелигиозности, я едва ли связывала молитву и икону. Моей иконой была таинственно-живоносный мир за окном. Имени Господа я не произносила. «Сделай так, — говорила я, обращаясь не к небу, не к солнцу, не к промьгой ночным дождем, словно перебранной по листочку зелени, а как бы сердцу всего этого, запредельной точке своей надежды, — сделай, пожалуйста, так, чтобы у меня был мяч!» При этом я безграмотно крестилась.

Однажды мне пришло в голову, что у Бога должно быть имя. Я назвала его Сашей. Александром звали моего отца. «Саша, Сашенька, помоги!» — это осталось во мне на долгие годы...

И вот тридцать лет спустя я сижу в церковном саду, а человек, ради которого я сюда приехала (между прочим, отец Александр), то появляется в поле моего зрения, то исчезает. Светлая ряса и темная голова возникают попеременно на пороге домика, на пороге храма, у церковной ограды, в одной, в другой — противоположной точке сада. Это кто-то нагрянул в Новую Деревню впервые, как и я, и священник делает с новичком «круги», предсказанные моей приятельницей. «Метеор какой-то!» — устаю я за ним следить.

Хотя мне дарован вторник через неделю, пытаюсь попасться метеору на глаза. Вероятно, он про меня уже и не помнит.

— Вы ко мне? — быстрый и внимательный, я бы даже сказала, профессионально испытующий взгляд.

И тут я теряюсь. С чего начать? Как изложить в нескольких словах драму моей жизни? Поздно уже переигрывать, поздно. Попала в черные списки. Не печатают, ничего не зарабатываю. Живем на книги, которые распродаем по спекулятивным ценам (сегодня, 11 лет спустя, цены эти кажутся смехотворными). Наша библиотека — дело жизни моего отца железнодорожника, та скромная роскошь, которую он себе разрешал. Ради моего будущего. С детства определился мой интерес к литературе, и отец считал, что книги для меня — это хлеб насущный. Так оно и оказалось. А теперь мы проедаем этот «хлеб». Проедаем усилия и упования моего покойного отца.

— Я хотела бы поговорить... — тупо повторяю давешнюю фразу.

— Пойдемте!

Огибаем церковь по часовой стрелке, минуем несколько старых могильных оград, какие-то кусты, какие-то травянистые кочки. И тут я совершаю подмену. Ни слова о том, что нарываешь! Неожиданно для себя ныряю в сферы отстраненные. Что есть вера и что суеверие? Уживаются ли они? В каких отношениях находятся христианство и, скажем, спиритизм, астрология, хиромантия — всеми этими оккультными дисциплинами я в свое время увлекалась. Если Бог всемогущ, как примирить с Его всемогуществом разлитое в мире зло? И вот еще: свобода и предопределенность... Я не фаталистка, но мне часто кажется, что человек бывает втиснут в такие жесткие рамки, из которых не вырвешься. Как же можно считать, что он свободен?

Отец Александр не выдерживает моего невежественного натиска:

— Вы задаете вопросы вопросов! — И сам смеется: — Вернемся к этому в следующий раз. Кажется, я записал вас на вторник?

— Да! Но... Ответьте: можно ли приблизиться к Богу, вызывая духов? Или... У знакомого короткая линия жизни на руке. Сразу на обеих ладонях. Надо ли предупредить? Ведь тем самым связываешь его волю, лишаешь его свободы, — упорствую я, как будто от немедленного ответа зависит моя жизнь. — А теософы?! Кто, как не они, провидели...

«Тихая сумасшедшая!» — перевожу я его искрометный иронический взгляд.

Мы уже довершаем третий круг, и Мень вдруг задумчиво произносит:

— Все, о чем вы говорите, — это вход в то же здание, но ... с черного хода. Занимаясь спиритизмом, вы попадаете в низший астральный слой духовного мира. Зачем пускаться в ход силы, которых мы не знаем и с которыми не умеем совладать?.. Путь от человека к Богу прям! — подводит он черту.

Я еще не понимаю смысла последней фразы. Мне, тугодумке, надо ее обмозговать.

— Как мне к вам обращаться? — спрашиваю на полном серьезе. — Извините, но у меня язык не поворачивается выговорить «отец Александр».

Ему это странно. Но он ко всему привык.

— Называйте меня Александром Владимировичем.

У калитки, из которой я, разлетевшись, выстреливаю на пустырь, стоят две немолодые женщины. Одна властно тянет другую прочь отсюда:

— Идем, идем! Это какая-то синагога!

С ужасом оборачиваюсь. Слышал? Славу Богу, нет: его уже увели, умыкнули, унесли на крыльях любви. Александр Владимирович... Так звали моего отца.

Я зачистила в Новую Деревню. В один из первых приездов прочла Меню только что написанное стихотворение:

*Пришла пора менять учителей...
Гляжу, как блудный сын после разлуки
На Божий храм: должно быть, он светлей,
должно быть, он теплей, чем храм науки.
Нарядный деревянный теремок,
оправленный в резную рамку сада,
в следах ремонта... Может, Бог помог,*

*а может, помогла Олимпиада.
О, сколько я блуждала по путям
окольным, по дорогам непроезжим,
себя раздаривая по частям
йогам, теософам и невеждам.
Искала жадно: кто чего писал
о духе, о душе. Глаза ломала.
Дрожала, ночью «выходя в астрал»
и утром «возвращаясь из астрала»...
А путь от человека к Богу прям.
Так мне сказал священник, чья задача
нас, чернокожижников, вводить во Храм
и делать зрячей душу, что незряча.
Красив священник. Редко на Руси
в сем званье соплеменник Сына Бога.
И храм его стараньями красив,
пусть кто-то и скривится: синагога.
У храма — домик. К батюшке — толпа.
Кто — истину найти, кто — грусть развеять.
Душа проснулась, но еще слепа.
Хочу поверить и боюсь поверить.*

— До вас о нашей церкви написал Александр Аркадьевич, — поощрительно сблизил меня со знаменитым бардом Мень.

Шестого марта 1973 года, на дне рождения друга, первый и последний раз в жизни я видела и слышала А.А.Галича. В тот вечер он царил над людьми и обстоятельствами, пел до глубокой ночи и «Кто-то ж должен, презрев усталость, /Наших мертвых стеречь покой!», и «Не зови меня! Не зови меня.. /Не зови — /Я и так приду!», а рок уже держал его на прицеле.

«I will dye here», — почему-то по-английски сказала я. И он откликнулся:

«So will I».*

Впоследствии я вычитала в самиздате:

* «Я буду умирать здесь».
«Я — тоже».

*И нас чужие дни рожденья
Кропят соленую росой
У этой зоны отчужденья,
Над этой взлетной полосой.*

И мигом вспомнила и этот вечер, и не поддающегося на уговоры «отдохнуть» опального уже барда, и слабеющую после каждой выпитой рюмки породисто-красивую жену его Ньюшу. Господи, как он обнимал гитару, как впивался в нее, нипочем не выпуская из рук! Будто это — спасательный круг в океане тотальной безнадежности.

— Когда Галич пришел к вам?

— Году в 72-м. После того, как прочитал мою книгу о древнееврейских пророках. Я его и крестил...

Так вот откуда: «Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо»? И «Богоматерь шла по Иудее». И много еще всего... Значит, я шла сюда по стопам человека, который произвел на меня неизгладимое впечатление, которому написала стихи, так и оставшиеся без посвящения? А что если он, наученный горьким опытом отбывшего в эмиграцию, а потом еще дальше, подсказал мне с того света этот путь? Да нет! С подорожи возврата быть не может. Просто христианство с его высокой этикой, обещанием вечной жизни — то небольшое, что стоит брать с собой в любые пределы. Разве не я посетовала в своих встречах с Галичем навеянных стихах

*Как жаль, что бессмертия нет!
«Прощайтесь!» — морозом по коже.
Мы все — «уходящий объект».
И жизнь, если вдуматься, тоже.*

И вот бард, брат (как близки эти слова!) направил меня к отцу Александру...

Лето сменилось осенью, сначала бабье-летней, а потом и золотой. Между А.В. и мною установились доверительные отношения. Я привезла ему три сборника своих стихов, прозаические публикации, ненапечатанные вещи. А он стал давать для чтения свои книги о духовных поисках рода людского: «Магизм и Единобожие», «У врат молчания», «Дионис. Логос. Судьба», «Вестники Царства Божия». И, конечно, «Сын человеческий» — с него-то он и начал...

Первое, что меня потрясло, — какой эрудит! Когда он успел столько прочесть?! Каждый том включал в себя ссылочный аппарат, по объему составлявший чуть ли не пятую часть текста. Если есть поэзия исследовательского подвига, то тут она была налицо!

Я уже знала от самого А.В., что он вовсе не участник войны, институт закончил не в 50-м, как сказано в стихотворении «Еврей-священник», а в 58-м. А.В. — почти мой ровесник, тоже москвич, и, захоти судьба, мы могли бы встретиться еще в год смерти Сталина в Колонном зале Дома Союзов, на вечере выпускников средних школ. Не уверена, впрочем, что дороживший каждой минутой Алик Мень ходил на такие пустые мероприятия. Я ходила.

Стремительно помолодев на 10 лет, он является мне во всем блеске мужской и человеческой зрелости. Напрасно пытаюсь представить его за ученической партией, занятого глобальной проблемой: на какую тему писать сочинение? «Татьяна, русская душою» (по «Евгению Онегину»), «Поднялась дубина народного гнева» (по «Войне и миру») или «Человек это звучит гордо» (по Горькому)? Неужели он сдавал в школе и в институте те же пресные общественные дисциплины, что и я? Неужели талдычили ему год за годом о примате материи над сознанием? Откуда этот бесстрашный интерес к области знаний, объявленной бредом, маркобесием, опиумом для народа?

Я, отдавая очередную книгу:

— Вы не боялись, что вам влетит за непослушание?

Это «влетит» спровоцировано им же. Не зная еще, с чем меня едят, А.В. при первых встречах вставлял в разговор простецкие и сленговые словечки, имевшие хождение в богемном кругу. Заметив, что за словесным «шиком» я не гонюсь, он снял искусственное речевое наслоение, как снимают грим.

— Я не политик, я богослов. Писал для себя и своих духовных детей, не надеясь на публикацию. Потом книги стали выходить за границей, под псевдонимами... — С усмешкой: — Хотя все мои псевдонимы это секрет полишинеля...

Убедившись, что книги я не только беру, но и читаю (задавала вопросы, обнаруживая свое невежество даже на том «кликбезовском уровне», на каком, по словам автора, они написаны), А.В. допустил меня и к другим сокровищам церковной библиотеки. За короткое время я познакомилась со следующими сочинениями: о С.Желудков. «Почему и я христианин»; В.Ильин «Преподобный Серафим Саровский»; священник С.Шукин «Около церкви»; К.Дегрюнвальд «Русские святые»;

о. Мечислав Малински «Хлеб наш насущный»; В.Соловьев «Духовные основы жизни»; Иоанн Кологривов «Очерки по истории русской святости»; Ф.Мориак «Во что я верю»; К.С.Льюис «Просто христианство».

Чудный мир открылся передо мной... Когда из людского множества, так или иначе связанного с Новой Деревней, стали вычленяться лица, а за ними возникать личности, я услышала не одну исповедь бывшего атеиста или атеистки, кого именно о.Александр привел к вере. Меня к вере приводить не нужно было — я верила с детства. Молитвы у дачного окна в девятилетнем возрасте, — конечно, не аргумент в серьезном споре (с предполагаемым безбожником), но личный опыт такого свойства, какой не забывается никогда.

Сдавая экзамены по диамату, слушая обрядные и верующим, и неверующим речи о полной и окончательной победе в нашей стране материализма над идеализмом, я, опираясь больше на интуицию и отчасти на здравый смысл, думала об основном вопросе философии примерно так, как об этом пишет о.С. Желудков: «Как же это так получается, что слепая бессознательная «материя» сама собою упорядочивается в разумных закономерностях? По сравнению какого-то ученого американца, веровать в это — все равно что думать, будто многотомная энциклопедия составила сама собою от взрыва в типографии».

Веровать-то я веровала, но вера моя была, как стоячая вода. Никакого внутреннего движения! О Боге вспоминала, только когда было плохо, очень плохо. Говоря современным политизированным языком, я признавала за Господом одни обязанности и никаких прав. Четыре Евангелия впервые прочла далеко за тридцать! О личности Христа судила по «Мастеру и Маргарите»!

В замкнутую акваторию моей веры вдруг хлынула живая вода. Бог, на разные голоса говорили прочитанные мною книги, — это То, что выше всех наших представлений о Нем. Он столько же познается нами, сколько можно увидеть ночью в морской безбрежности, стоя на берегу с горящей свечкой в руках... При этом Бог — личность, одинокий страдалец, Он ждет от любимого Своего создания — человека — ответной любви... Бог всегда говорил к людям, увещевал их, призывал к сотрудничеству, к сотворчеству. За несколько веков до Рождества Христова великие учителя — Будда в Индии, Зороастр в Иране, Лао Цзы и Конфуций в Китае, древнееврейские пророки, античные мудрецы, каждый в своем регионе, как сказали бы теперь, донесли до смятенного человечества Божию волю: делай так и не делай этак... Десять заповедей, данные Отцом еще три тысячи лет назад через пророка Моисея, — это, по словам анг-

лийского богослова, шекспироведа, лингвиста, сказочника Клайва С.Льюиса, не что иное, как правила эксплуатации машины под названием «человек»; «каждое правило нравственности направлено на предотвращение аварии, или перегрузки, или трения в работе этой машины».

Да, Господь несоизмерим с человеком. Он — Дух. Он — невидим. «Смертный не может вынести Его испепеляющей мощи» (А.В.Мень). Но две тысячи лет назад случилось событие космического масштаба: Он вочеловечился, послал на страждущую землю Сына Своего Единородного с Благою вестью, «евангелием» по-гречески. Христос сказал людям вещи, лучше которых не сказал с тех пор никто. Он принес новый свет, и погасить это сияние невозможно. В живописи, зодчестве, музыке, нетленной литературе мы видим лишь отблески этого лучеиспускания. От мрака, никогда не признающего, что он — мрак, свет Христов отличается главное: любовь. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме» (Апостол Иоанн).

Это же настолько просто, что должно быть понятно и детям. Нет, я осознавала, конечно, что одновременно это и высшая сложность, открытая землянам. Об этом написаны тысячи книг, различными толкованиями, уточнениями, углублениями, искажениями испещрены сотни тысяч страниц. Но ясность — мой идеал, всегда стремилась и буду к нему стремиться. А.В. сознательно давал мне именно доступные книги. И вот вино небесной Премудрости (не боюсь такого сочетания слов, ибо «вино» освящено Писанием) ударило мне в душу. Я чувствовала себя новорожденной, хотя ходила всего-навсего в новоначальных. Но разве не в родстве эти понятия?.

Собираясь последовать за мужем в эмиграцию, меньше всего мечтала я о преуспевании материальном. Когда мне говорят, что у кого-то дом о восьми комнатах, первая моя мысль: бедная хозяйка, как она справляется с уборкой?.. Там, за бугром, мне мерещился цветущий остров независимой жизни духа; вместо окаменевших догм, которые давно уже не принимала всерьез, — свобода философских исканий, вместо агрессивного атеизма без опаски исповедуемая вера. Какая? Христианская. Другой я не знала. Я была одержима христианизированной русской литературой — тут и был мой отчий дом, моя духовная родина.

Оказывается, вымечтанный «цветущий остров» не за тридевять земель от моего родного очага, а в полутора часах езды. Билет до Пушкина и обратно — 50 копеек. Как ни бедны мы были в то время, жестко отлученные от скудной кормушки, такой расход позволить себе я могла.

На первых порах приезжала к Меню после утренней службы. Цер-

ковь маленькая, Литургия совершается в ней лишь по субботам, воскресеньям, средам и по церковным праздникам. В субботу и воскресенье народу битком, и здешнего, и приезжего; следовательно, и посетителей в домике-сторожке, где он вел прием, будет куча. Попадала и на эти дни. В тесноте — не в обиде. Сунешься из прихожей:

— Кто последний?

Около двери крохотного кабинета сидят люди пришибленные. Плакучие ивы. Или менее поэтично: с неотвязной зубной болью к хирургу-дантисту. Выходит из кабинета совсем другой контингент: хоть на защиту Родины его посылай — своей, не чужой (Афганистан у всех у нас сидит в печенках).

В соседней «комнате для певчих» тоже толчется народ. Кто-то тут же закусывает, запивает чаем — на службу-то приезжают натошак. Из кухоньки тянет съестным: щи — жидкие, котлеты — картофельные подгорелые, рыба — пахучая. Кормят батюшку не по первому разряду.

Встреча краткая, ибо поджимает очередь. Отдаю книги и получаю новые — не более двух.

Автор только что сданной книги часто цитирует Бердяева. Раньше я его не читала, понимаю его с напряжением и не до конца. Мень говорит, что разложить Бердяева по полочкам чрезвычайно трудно, потому что у него — поток мышления. И все-таки главное в нем — это принцип свободы. То, что Бог создал мир из свободы. А свобода — это свобода и для добра, и для зла. Дальше он рассуждает еще интереснее, но я теряю нить. Потом в «Магизме и Единобожии» нахожу слова, состоящие в переключке с теми, упущенными мной по причине неподготовленности: «... особый вид свободы, который увлекает человека от полноты Божественного бытия и от его собственной природы во тьму хаоса и небытия (...) Мы называем этот иррациональный импульс, эту судорогу духа «свободой», хотя в конечном счете она оборачивается рабством...»

Разве это не то, что сегодня, в 91 году, мы видим вокруг себя?!

И дальше (там же) Мень рисует перспективы в более простой, щадящей мою неосведомленность форме, набросанные тогда в частной беседе со мной, жалующейся что не «секу» бердяевский принцип свободы.

«... даже в этой иррациональной смертоносной «свободе» проявляется богоподобная природа человека. Ибо, владея безграничной потенцией, он способен самостоятельно занять ту или иную позицию (...) Здесь залог возможности полного самораскрытия человека в царстве Света и одновременно — выход в бездонную пропасть самоуничтожения».

Ныряю с философской вышки в стихию, мне более близкую.

— Вы часто цитируете в своих книгах стихи. И библейские тексты печатаете в столбик как верлибры. Это не случайно?

А.В.: — Пророки и были поэтами. Пути поэзии и Откровения разошлись много позже. На родном языке эти тексты богато ритмизированы, попадаетесь внутренняя рифма.

— А какую поэзию вы любите?

— Я люблю в стихах недосказанность. Трепет при приближении к Абсолюту.

Сажу в низком кресле для посетителей — единственном комфортабельном предмете обстановки. Оно явно не в ладах со стандартным жестким диваном и всем аскетическим стилем каморки. Впрочем, иконы и книги по стенам — тоже роскошь, но другого рода.

Пора и честь знать! А.В. никого не гонит. Гонит совесть, сочувствие к ожидающим за дверью.

— Спасибо. Я пошла.

— С Богом!

Хотя ездила я в Пушкино исправно и, выгодно отличаясь от большинства, вела разговоры исключительно «о высоком», никто, наверное, в ту пору так не лукавил и не скрывался, как я. Я все еще не призналась в главном: что я не долгий гость в этом уголке и вообще на родной земле, что я — «в подаче», жду разрешения на выезд, и, как только его получу, «Good night, good night, my native shore!»*

Была еще одна особенность в моих посещениях, резко отличавшая меня от новодеревенских завсегдаеяв. Я долго не могла заставить себя переступить порог храма. Что-то меня удерживало. Сильное и цепкое. Поболтаться внутри и снаружи ограды — пожалуйста! Посидеть на скамейке, озирая в осеннем увядании сад, послушать говор церковных служительниц и просвирен, чьему чистому и правильному языку призывал внимать Пушкин, — пожалуйста. Но войти внутрь церкви — ни-ни!

И в стихах той поры (а мне после глубокой паузы вдруг стало хорошо писаться) Сретенская церковь дается только извне. Как выдают автора стихи!

Как-то я привезла с собой шестнадцатилетнюю дочь, и А.В. сразу завоевал ее сердце. Отчасти и тем, что повел нас на кладбище, где похоронены его мать и тетя. Мы сами проводили недавно в последний путь мою маму, и его свежая печаль (Елена Семеновна Мень ушла в про-

* Спокойной ночи, спокойной ночи, родимый берез! (Байрон).

шлом году) нам так понятна! В черной рясе, в зеленой шляпе, простой и доступный, он шел чуть впереди нас по взрытой неудобной почве пустыря в очагах сорной травы, соразмерял с нашими свои свободные шаги бывалого пешехода, и ряса развевалась за ним, как мантия царственной особы. Дочь потом призналась, что поразило ее более всего: необычность его облика среди нашего подмосковного затрапеза...

Я уже знаю: Елена Семеновна и Вера Яковлевна Василевская — женщины, имевшие на А.В. громадное влияние. Люди хранят память о Е.С., любовно называют ее «матушкой Еленой», расписывают ее красоту и лучезарность: всех выслушает, всех обласкает, всех озарит...

Легко, как никогда, будто сами собой, вот как в мультяшке складывается изба с дымком над крышей, да еще и забор с елочкой, сложились у меня стихи, куда вошло все, чем я жила в те дни:

*Калитка. Клумба. Дерн сырой
с настурцией и ноготками.
Старушек подмосковных рой,
покрытых светлыми платками.
Два синих, в звездах, куполка,
без пышности старорежимной
нацеленных на облака
с надеждою непостижимой.
И за бурьяном пустыря
прекрасной женщины могила,
которую не знала я,
а если б знала, то любила.
Все подготовлено уже
каким-то мастером умелым.
И есть куда лететь душе,
когда она простится с телом.*

Над стихами я ставлю три буквы: А.В.М. По справедливости. Но в церковь ходить по-прежнему избегаю. И отцу Александру об этом не говорю. Впрочем, он и сам все знает. И не торопит меня. Позднее я узнала, что он — противник педалирования в столь деликатном вопросе.

Однажды, приехав раньше, чем обычно, я заставила себя подняться по ступенькам паперти, сунула мелочь старухе-нищенке, вошла в храм. Светло, уютно. Отец Александр (сегодня его день службы, он чередует-ся с напарником) неузнаваем: это уже не эрудированный собеседник,

наставник, советчик, с которым я знакома третий месяц. Это Служитель. В кажущихся неземными одеждах, с торжественно-суровым лицом, обращенным ввысь и вовне, с властным, покоряющим силой басом баритоном. Тем не менее служба — мимо меня. Я еще не знаю церковного термина «рассеяние», но отдаю себе отчет в своей слабой причастности к происходящему, в своей «посторонности».

Глазею по сторонам. Два человеческих сообщества, две ипостаси верующей России, а если вспомнить популярную песенку, «два берега у одной реки», — местные и приезжие. Различия генетические, образовательные, даже «промтоварные». Уже начались морозные утренники, и москвичи, спеша на ранние поезда, влезли в дубленки. Кажется, что особенного? Однако тогда, в начале 80-х, это был некий корпоративный знак. Он подчеркивал недостаток (частенько при его отсутствии), преуспеяние, элитарность. Гость на празднике чужом, я вдруг увидела приезжих глазами здешней бедноты и внутренне взроптаала.

Но скоро все побочные соображения растворились в моем хроническом недовольстве собой и мыслях о том взвешенном состоянии, в каком я оказалась по собственной воле...

*Уеду навсегда или умру,
оставив по себе кривые толки, —
по тесному церковному двору
просемят все те же богомолки.
И служба будет длиться два часа,
и Спас потонет в розах и оборках,
и демаркационная черта
разделит баб в платках и дам в дубленках.
Бледнеют дамочки от слов святых,
креста, распятия и других диковин.
Ввергать в такие чувства малых сих
есть тоже грех, но он в нем не виновен.
Кто он, мой духовник и новый друг,
чей облик двойствен — светел и туманен?
Еврей, в ком жив евангелистов дух?
Внук Серафима, верный россиянин?
Откуда певчих хор и жар свечной
в стране, где лжепророчества в почете,
где Бога пишут только со строчной,
где что посеете, то и пожнете?..*

*Исчезну и скажу, что все ушло.
Но где-то за горами, за долами
осталось подмосковное село,
осталась церковь с мини-куполами.
И у скамейки мокрой, может быть,
остался след от каблука, не боле,
той женщины, что не умела жить
по Божьей воле.*

До какой же степени не своей я чувствовала себя в Сретенском храме!

Ключ к заколоченной двери? Он был: во всем признаться А.В., рассказать все подчистую. Но приступить к покаянию было страшно. Я боялась навсегда утратить его доверие.

Наконец, во время очередной беседы в домике как бы ненароком касаюсь вопроса эмиграции. И вижу: задела чувствительную струну. А.В., как обычно, сидит за письменным столом, а я сбоку, справа. Он только что пообедал, на усах, на бороде капельки какого-то брандахлыста, но он их не замечает.

— Эмиграция — одно из советских чаяний, — горько роняет он. — Судьба сделала меня экспертом по этому вопросу. Уехали многие из моих духовных детей и пишут мне простыни писем. Жалуются на неестественность жизни, на полное равнодушие окружающих к тому, что им всего дороже. Кроме нескольких очень молодых людей, все в миноре. Материально более или менее устроены, некоторые за пособием ездят на собственных машинах. Но... тоска заела. Их письма я могу печатать в «Комсомолке»! — Посмеивается над нелепостью такого предположения.

— Ваши духовные дети, наверное, возвышаются над общим уровнем, — пытаюсь оспорить я. — Кого тут допекли, кому не дали развернуться и кто не так уж озабочен высокими материями, напротив, очень довольны. Мы тоже получаем письма...

Таким А.В. я еще не видела. Служение в храме — другое: та мощь, та величественность стоят особняком. Я же говорю о беседе с глазу на глаз, лишь слегка приподнятой над обыденностью. Так вот: таким неколебимо убежденным я не видела отца Александра, кажется, ни разу.

— Когда дуют сильные ветры, — как-то очень лично, выдавая внутреннее напряжение, произносит он, — на месте остаются только деревья с мощной корневой системой. Наша духовная жизнь — это наши корни. Держимся за Небо, как Антей — за землю...

«Корни», «почва», «почвенник», — слова, преследующие меня лет с семнадцати. Именно с этого возраста волею судеб варюсь в литературном котле. В Литинституте, где я училась в пятидесятых, укорененными в почве, носителями духа народного считались уроженцы деревень и сел, районных и областных центров, а мы, москвичи, — бескорневыми, беспочвенными, а значит, поверхностными, как бы инородными.

Корни — в земле, дух — в Небе, а тут разом все перевернулось. «Наши корни — это наша духовная жизнь...» Моя духовная жизнь напитана именно Россией: русским языком, литературой, историей, искусством, а теперь немного и философией. Вот почему мне так больно выдираться отсюда...

Словно услышав ход моей мысли, А.В. подхватывает:

— Скажу еще как биолог. Человек — живой организм. Если его вырвать из среды, последует неминуемый взрыв. Я, конечно, понимаю, это — огромный соблазн. Я бы сам уехал, — смотрит он мне прямо в душу, — если бы... не Бог.

Он не только предельно откровенен. Он еще и догадлив.

— Вы чего-то не договариваете! — ловлю уже в дверях. И, не отвечая, выскальзываю в прихожую.

Ключ уже в скважине замка. Но доски крест-накрест на двери еще остаются.

«Вы чего-то не договариваете...» Не в первый раз А.В. высказал мне свою проницательность.

Когда, при второй или третьей встрече, я решила подарить ему свою книжку и задумалась, присев у стола, над надписью, он откровенно позидевался:

— Не старайтесь для истории! Надпишите просто!

В тот раз, я, пожалуй, «не старалась для истории» — обжигающая новизна пережитого в те дни заглушила многие привычки. Просто, давая автограф, мне не хотелось выглядеть дурой. Но вообще что-то такое бродит во мне. Думается — автора уже не будет на земле, а книга, может, останется, кто-то прочтет, что я тут нацарапала... Так что раскусил он меня быстро.

— Вам не хватает легкости! — поставил диагноз, определив причину многих моих зряшных переживаний. И это тоже было правдой...

«А.В. Меню, еще мало зная его, но уже бесконечно доверяя ему» — вот что написала я тогда на книге. А за свои слова нужно отвечать...

Свою частную жизнь я подвергла коренной ломке. Переиграла. Вы-

шла из тихого угла на площадь. Нет, нет, не на митинг, не на демонстрацию. Иногда для того, чтобы перейти из комнаты в комнату, требуется не меньше мужества, чем для трибунной речи.

Я объявила близким, что никуда не еду. Остаюсь на Родине. Завтра же пойду в ОВИР и заберу назад свое заявление.

— К-как? — все потрясены. Муж — в отчаянии.

Даже те приятели и коллеги, что не стеснялись в выражениях, характеризую наш предполагаемый отъезд как «предательство», разочарованы.

«Решиться на такое было безумием, а отказаться — самоубийство!» — выразила общее настроение одна самонадеянная дама.

Знакомый сатирик предложил присвоить мне звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Золотой звезды. Или наградить медалью «За отвагу».

В ОВИРе заявление не вернули. Оттуда ничего не возвращают. Сдают в архив.

*Мои труды — они не пропадут,
К восторг... неудовольствию друзей,
Однажды на Лубянку попадут,
А это — неминуемый музей, —*

перепарафразировала я Гарика (Игоря Губермана).

Инспектор ОВИРа просит написать новую бумажку, чтобы аннулировать предыдущую. И эту — тоже в архив. Спрашивает, общее это решение нашей семьи или только мое. Инспектор — женщина. Свойская. Вероятно, к бунтующим отказникам она поворачивается другой своей стороной, ледяной. А ко мне — теплой. Мы же вроде как заодно.

Объясняю мать-и-мачехе, что могу ручаться только за себя и несовершеннолетнюю дочь. Муж не созрел... для отказа (обычно «созревают» для отъезда). Ах, так? Тогда нужен еще один документ. О разводе.

Церемонию развода вспоминаю как трагикомедию. Районный суд нашего захолустного района. Судья, заседатели — грозно звучащая «тройка», правда, на сей раз занятая обыденным до отвращения, приевшимся до оскомины, но все-таки человеческим, а не дьявольским делом. Заявление о разводе исходит от меня. Истица — я, а мой любимый муж — ответчик. С «тройкой» мы, само собой, не откровенничаем. О, как воспряли бы судья и оба заседателя (один из них — мужчина), узнай они об истинных мотивах нашего развода. Случай — уникальный,

живительный озон в духоте казарменного помещения. Меня, пожалуй, подняли бы до небес как патриотку, а моего бедного мужа как предателя расстреляли бы за неимением другого оружия презрительными взглядами.

На самом деле, предательница — именно я. Да еще и двойная. Сначала предала Родину, теперь — мужа. Старый друг семьи нашел для него особо утонченное утешение: «Все женщины предают своих благоверных. Моя меня — в постели, твоя тебя — в ОВИРе...»

— Так в чем же причина развода? — напускает на себя строгость заседательница, пытаясь забросить лот как можно глубже.

Куда тебе, голубушка? До метафизических глубин личности слабо дойти, а то бы ты не в нарсуде заседала, а в международном философском антропологическом обществе.

Мы с мужем условились: не делать друг другу вселенской смази, а так, слегка мазнуть грязюкой.

Это нам удастся. Слава Тебе, Господи: развели. Мне, поскольку я остаюсь с ребенком, присудили заплатить за судебные издержки 25 рублей. Мужу — 60. О, дешевизна брежневских времен!

Так как живем под одной крышей, возвращаемся туда, откуда ушли. Хорошо, хоть по комнатам разойтись можно...

Разводную бумажку заглотнул ОВИР. Но не сыт, обжора этакий. Подавай ему еще и заверенную в нотариальной конторе справку, «данную в том, что...» не имею к мужу никаких материальных претензий и против его отъезда за рубеж на постоянное место жительства не возражаю. Выправила и это заверение.

— Теперь все?

Инспектор довольна:

— Теперь вам все до лампочки. А муж пусть ждет.

— Сколько?

— В связи с обострившимся международным положением сроки нам неизвестны.

— Может быть, он еще передумает. Понимаете, он любит... дочку... меня...

Глянцевым холодом поворачивается лист мать-и-мачехи:

— Это не любовь!

Мед бы пить инспекторскими устами: «все до лампочки». На самом деле, жизнь приходится начинать чуть ли не с нуля. В прошлом году, при подаче документов на выезд, меня исключили из Союза писателей, перестали печатать. Книги мы больше не продаем — хватит кровопус-

кания! Я готова пойти на любую работу, но у меня нет трудовой книжки. После окончания Литературного института вступила сначала в группу литераторов, несколько лет спустя — в СП. Это давало право творчески работать, не числясь тунеядцем. А теперь я — тунеядка. Опытный кадровик, — а все они опытные, — грозно рыкнет.

— Чем вы занимались до сего дня?! — и выставит за дверь.

Я рванула в Новую Деревню. Наконец-то не надо таиться, против воли обманывать человека, весь вид которого взыскует одного — правды.

А.В. после моего, в телеграфном стиле, переданного рассказа:

— Я чувствовал, что вы что-то скрываете... — Сегодня он необычно серьезен. — Я думаю, вы все решили правильно, но выйти из сложившейся ситуации вам будет нелегко... На что же вы живете? Вам нужна помощь?

Он делает одновременно целеустремленное и растерянное движение, как бы вспоминая, где у него наличность.

Нет, нет, только не это! Мысленно отбиваюсь руками и ногами. Он все понимает и не настаивает.

— Вот, возьмите! — А.В. протягивает «Записи священника» о.А.Ельчанинова. — Это в порядке «скорой помощи».

Благодарно беру, засовываю в сумочку.

— С Богом!

Понимаю это иначе, чем прежде. Да и он дает благословение иначе, вкладывая в него всего себя. И частицу Того, Кто выше.

Какое облегчение, что он все понял как надо, не счел мой «безумный» поступок «судорогой духа», готов помогать и поддерживать.

Впервые смело вхожу в церковь, попадаю к началу всенощной. В левом углу, перед алтарем, две иконы в красивых ризах: Скорбящей Богоматери (слышала, так называли, передавая свечу) и Преподобного Сергия. В напольных подсвечниках перед ними горят сердечками тонкие, средние и увесистые свечи. На все, что есть в кармане, накупаю свечей. Одну толстую ставлю Богородице — за здоровье дочери. Стараюсь сосредоточиться. Молюсь своими словами, ибо ни одной молитвы наизусть не знаю; начав «Отче наш», запинаясь на четвертой фразе.

«Богородица, Матерь Божья! Прошу Тебя о здравии и благополучии несмышленной Александры. Ей только 16 лет, соблазны подстерегают на каждом шагу. Отведи от моей дочки темные души, разрушь злые помыслы тех, кто хочет ей навредить. Помогите ей найти свою стезю в жизни, встретить любимого и любящего человека, верного спутника на весь

ее век. Да не осудит она меня за то, что лишаю ее хорошего отца, оставляю жить на земле, где жить трудно, где все может случиться, вплоть до самого страшного. Богородица! Возьми нас троих, некрещеных, яко крещеных, под свое крыло, не оставь своими заботами. А я постараюсь стать лучше, более достойной Сына Твоего и Тебя. Верую, что отец Александр послан мне вами. Аминь!»

Вторую рублевую свечу ставлю Преподобному Сергию. Я же возростала в его епархии, отсюда до нашей-не-нашей дачки рукой подать. Не ему ли я молилась в девять лет, уже зная и военное бездомье, и ночные налеты фашистских ястребов... да разве мало страхов и кошмаров у ребенка?.. Полно, они ли толкали меня к молитве? Или чрезмерная для сердца с кулачок разлитая вокруг дома красота — Божьей кисти картина в багетах оконной рамы?..

Вторая свеча — за здоровье мужа, перед которым не могу избыть тяжелого чувства вины.

Остальные свечки ставлю родным и друзьям, пропуская через себя с неведомым прежде рвением их большие и малые горести. У всех почти «в дому по кому», а у кого дома и два кома. Это только кажется, что ты тут погибаешь, а они, везунчики, катаются как сыр в масле. Вглядись в ближнего своего и увидишь под цветочным ковром черную яму...

Молясь перед иконами, я прозвала почти всю всеночную. Зато клещи в груди, — их мертвую хватку я испытала еще там, в ОБИРе, потом в нарсуде, в юридической консультации, опять в ОБИРе и, главное, дома, дома, дома, — клещи в груди разжались. «Справляюсь сама!» — пообещала я отцу Александру. «Сама» всегда было синонимом «одна». Отныне я не одна: со мной Богоматерь, святые, отец Мень. Не надо ничего бояться...

Я захворала. Это всегда случалось со мной после непомерной внутренней нагрузки. У меня «кривая шея» — острое воспаление шейного нерва. Голову можно держать только в строго зафиксированном неестественном положении. Малейшее движение в сторону — искры сыплются из глаз, такая жуткая боль.

С трудом найдя ненадежную точку опоры (угол стены и кровати), читаю «Записи священника». Александр Ельчанинов... Издавна увлеченная «серебряным веком» русской культуры, первый раз, к стыду своему, встречаю это имя, хотя оно сопрягается со многими хорошо известными мне именами. Истинно русский интеллигент, из семьи потомственных военных. С детства дружил с Павлом Флоренским. Окончив Петербургский университет, поступил в Богословскую Академию Сергиева

Посада. Первый секретарь Московского Религиозно-Философского общества. Священство принял в эмиграции.

Один из знавших о. Александра Ельчанинова пишет о нем: «... он принадлежал нашей эпохе, нашей культуре, нашему кругу людей и интересов. Поэтому так живо и так просто можно было беседовать с ним о всех вопросах современности(...) У него не было предвзятых точек зрения, он легко вживался в любую мысль; но душа его стояла на камне, и это придавало его беседе исключительную ценность...»

Да ведь все это относится и к отцу Александру Меню! Расставшись два дня назад с Александром-младшим, черпаю столь необходимые мне силы у Александра-старшего.

«Болезнь — вот школа смирения, — вот где видишь, что и нищ, и наг, и слеп...»

Похоже, он глядит сквозь времена и стены и видит меня в моем скрюченном состоянии. Раньше я не очень понимала, что означает «смирение», а теперь, кажется, начинаю понимать.

«...мое жизненное правило — менять место жительства только когда обстоятельства гонят, ничего в житейской области не предпринимать самому, а рыть шахту в глубину в том месте, куда привел Господь...»

Вот-вот, и я о том же думала: колоссальный, на полземного шара географический сдвиг, якобы новое рождение в 40 лет. А все превратится в обыкновенную суету, в погоню за зеленым виноградом житейских суперблаг — ведь человек никогда и ничем не бывает доволен. И это в ущерб глубине жизни — единственному безобманному измерению бытия.

Звонит телефон. Начало зимы, а он как будто очнулся после зимней спячки. Очень много звонков. С «кривой шеей» трудно дотянуться до трубки, но, двигаясь как на шарнирах, снимаю ее с рычага. А! Школьная подруга. До нее только что дошли наши новости. Счастлива, что мы не уезжаем. Для нее мой отъезд — ну, как... как... (она смущается) смерть!

Ой, боюсь сильных выражений. Но благодарю. Обнимаю. До скорого! Пятясь, занимаю в постели исходное положение. Александр-старший отзывается и на этот маленький эпизод:

«...Чем больше стареешь, тем больше приучаешься ценить прочность дружеских отношений в этом непрочном, неверном, призрачном мире...»

А.В. знал, кого мне дать. С книгой я неразлучна. Однако... Все эти справедливые мысли, мудрые советы — больше мирского порядка. А я

жажду приобщения именно к христианской мудрости. Как быть, как поступить мне, загнанной в житейский тупик игрой не знаю уж каких сил. Сколько раз бессонными ночами, сперва решаясь на отъезд, а потом отказываясь от этого решения, я отдавала себе отчет в том, что сквозь меня текут раскаленные разнонаправленные потоки. Будто кто-то вне меня, вне этой плоскости существования, тянет мою душу и за ней плоть в иные земные пределы. А кто-то другой, равной или даже превосходящей силы, ее не отпускает... Я осталась на Родине. Но внутренняя борьба не кончена. Мне нужна «скорая помощь», сказал Мень. И я листаю «Записи священника» как откровение, как учебник жизни. Вот оно, вот оно главное:

«Условия, которыми окружил нас Господь, это — первая ступень в Царство Небесное — это единственный для нас путь спасения. Эти условия переменятся тотчас же, как мы их используем, обративши горечь обид, оскорблений, болезней, трудов — в золото терпения, безгневия, кротости».

«Пот, слезы, кровь... Если проливается пот с внутренним противлением, злобой, проклятиями; если слезы — от боли, обиды, злобы; если кровь без веры, то ничего доброго душа не приобретает. То же самое, когда происходит с послушанием, с покаянием, с верою — очищает и возвышает нас».

«Только первые шаги приближения к Богу легки... — несомненно, видит меня из своего далека о. А.Ельчанинов — ... окрыленность и восторг явного приближения к Богу сменяются постепенно охлаждением, сомнением, и для поддержания своей веры нужны усилия, борьба, отстаивание ее».

А вот и прямой ответ на вопрос, что мне делать дальше:

«...люди живут вне церкви, а искать разрешения своих трудностей приходят в Церковь (...) Войдите в Церковь, примите весь чин церковной жизни, и тогда трудности разрешатся сами собой».

Начался новый, 1981-й год.

Второго января в храме у Речного вокзала о. А.Мень отпевал Н.Я.Мандельштам.

О смерти Надежды Яковлевны мне сказали накануне Нового года, когда пришла навестить Наталью Александровну Великанову. Еще осенью выписанная из больницы, Наталья Александровна так и не отошла от инсульта. Разум, правда, при ней, речь разборчива, она добра и гостеприимна. Но... правосторонний паралич... Тане дали 4+5 (4 года

лагерей, 5 — на поселении). Она — недалеко от Потьмы. Шьет варезки. 66 пар за смену. Учит французский язык. При ней — Библия.

От гостыи Н.А. я и услышала о смерти Мандельштам. Отпевать, она сказала, будут в Новой Деревне, хоронить в Пушкине. Поздно вечером поправка: нет, везти в Пушкино не разрешили. Второго в 11 в храме у Речного вокзала.

Народу на отпевании — сотни. Как быстро расходятся по Москве вести! В толпе вижу знакомых поэтов и поэтесс. Иные мне рады. Другим не до меня.

Слышу голос отца Александра, трехкратной мощи, если сравнивать со Срегенским храмом: «Ныне отпускаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему, с ми-и-иром...»

Озноб по спине не от страха — от волнения: присутствуем при акте, крамольном с любой точки зрения, кроме Божественной. Поп-выкрест по-христиански провожает усопшую «в роскошной бедности, в могучей нищете» старую еврейку, известную своим бунтарским духом, непокорством властям. Обе ее книги о муже-поэте, по сути же о вечном противостоянии гения и злодейства, мы читали в машинописи, тайком, «на троих»: муж, я и наш друг, передавая листочки друг другу.

«Н.Я. — отважная и умная женщина, но что в ней христианского?» — наверное, не одна я задавала себе этот вопрос.

Когда в очередной раз приехала к Меню обсудить животрепещущие проблемы моего нового существования, разговор коснулся и Н.Я. (я не была с ней знакома).

Оказывается, крещенная в детстве, человек глубокой внутренней веры, она вернулась в лоно церкви только десять лет назад. Отец Александр — ее духовник. Не одно лето провела она у него в Семхозе. Мастерница острой шутки, скорая на хлесткое слово, Н.Я. несла с собой электрическую атмосферу так и не кончившейся для нее грозовой эпохи. «Злыдня!» — отзывались о ней обиженные мемуарами литераторы. «Озорница!» — назвал ее Мень — это было в его стиле и хорошо вязалось с христианским отпеванием, с духовным дочерничеством, с историческим статусом Вдовы гонимого гения...

Александра Владимировича интересуют мои новости. Их две: я имела беседу со своим учителем, старым известным поэтом. И «рабочим секретарем» писательской организации.

Учитель выразил бурную радость по поводу моего «возвращения». Сказал, что мой «отъезд» ежедневно подавался у него к столу как черствый хлеб (не совсем понятно, но красиво). Попросил почитать стихи...

Выслушав несколько, — а слушать он умел, — впал в глубокую задумчивость. В стихах, констатировал он, видна страдающая душа. В сущности они могут быть напечатаны и «там» — жест во враждебное иноматериальное пространство. Ему же, чтобы хлопотать за меня, нужно, чтобы мои стихи... моя индульгенция... были написаны проклятой большевичкой. «Проклятая» — это, конечно, ирония или самоирония, или попытка взглянуть на вещи чужими глазами. Ясно одно, пока я не напишу других стихов, поручиться за меня он не сможет. А так как я никогда их не напишу...

А.В. изумлен:

— Такой ортодокс? — И тут же отрицающий жест: в шестидесятипятилетних комсомольцев он не верит.

Рабочий секретарь, тоже поэт, ровесник, — дебютировали одновременно, — встретил меня довольно кисло. Выговаривал, как нашкодившей пригостишке: «Россия — не вокзал; захотел — уехал, захотел — приехал»... Странно, что мой несостоявшийся отъезд оба толковали как свершившийся. Под конец потребовал, чтобы я написала честное заявление. Я обиделась. «Ты еще и обижаешься!» — вскинулся тонкоорганизованный коллега. Сказала: да, обижаюсь, мы знакомы столько лет! Разговор о честности и нечестности неуместен...

Александр Владимирович выслушал все это необыкновенно заинтересованно, всплескивая руками, сопереживая.

— Неважно, что думают о вас люди... — его широкий рукав лег на подлокотник моего кресла. — Важно, что думает о вас Бог! А перед Ним вы правы... — О, как понимает он, что даже минутное сожаление о содеянном вконец развалит мою душу, сделает меня пожизненным инвалидом. К счастью, ему не надо кривить душой. И, ошупывая массивный крест на груди (признак волнения?), он заключает мой сегодняшний визит словами, которые я унесу с собой:

— Даже если вас не будут печатать несколько лет, все равно не стоило уезжать. Стихи, и неопубликованные, делают тут свое дело. Как это у Волошина: «почетней быть не книгой, а тетрадкой...»*

* У Волошина:

*Мои ж уста давно закрыты. Пусть!
Почетней быть твердым наизусть,
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.*

Моя мать
Мария Федоровна Шкитина



Мой отец
Александр Владимирович
Жирмунский





С подругами
по Литературному институту
Ларисой Румарчук
и Екатериной Судаковой



На практике
в Первоуральске. 1956



Первый послесталинский набор в Литинститут. Выпуск 1958 года



Мне 22. Пицунда. 1958. Фото Юрия Казакова



Юрий Казаков. Пицунда. 1958. Фото автора



Выступление от «ЛГ» на заводе «Шарикоподшипник». 1962



С Владимиром Цыбиным и Владимиром Амлинским
в гостинице «Юность». 1963



Спутник мой земной
Павел Сиркес



«Как мала моя дочь, как стара моя мать...»





С Валентином Берестовым, Инной Кашежевой,
Александром Николаевым и Александром Яшиным.
Вечер поэзии в ЦДЛ. 1966



С Булатом Окуджавой. Иваново. Осень 1969



С Валенином Берестовым и Леонидом Лиходеевым.
Двадцатилетие журнала «Юность». 1975



С Евгением Долматовским, Нодаром Думбадзе, Арчилом Сулакаури
на Днях литературы в Грузии. 1975



С Юрием Казаковым. 1974



С взрослой дочерью
Александрой
на Цветаевских чтениях
в Москве. 1980



С писательской группой в Ханты-Мансийске. 1978



Редколлегия «Дня поэзии — 89»: Владимир Корнилов, Дмитрий Сухарев, Татьяна Бек; стоят — Петр Вегин, автор, Алексей Марков



Перед творческим вечером автора в ЦДЛ.
Татьяна Бек, Зиновий Паперный, Лариса Румарчук, автор,
Наталья Познанская, Владимир Корнилов, о. Александр Мень



«Встречавший торопить меня не стал...»



С о. Александром Менем. 1989



В семейном кругу. 1997



Германия. Конец 90-х

Испила эликсира бодрости. Готовлюсь к изматывающим живую силу боям.

Случилось маленькое чудо. Два года назад тот факт, что меня хотят напечатать в ежегоднике «День поэзии», чудом мне не показался бы. Пожалуй, я была бы оскорблена, отвергни редколлегии мои вирши. Но то было в другой жизни. Теперь приглашение к участию в сборнике, высказанное поэтом Владимиром Лазаревым, составителем ДП-81, — сюрприз для меня. Чтобы не подводить товарища, выкладываю все как есть. И знакомые функционеры, и рабочий секретарь дали мне понять, что пока я не восстановлена в СП, ни одна моя строчка напечатана не будет. Все равно, в родной «Юности» (публиковалась там дюжину раз) или в неведомом «Уральском следопыте». Циркуляры тиражируются у нас щедро, идут ходко.

— Ну, это мы еще посмотрим! — прищуривается, намечая невидимые цели для поражения, борец за справедливость В.Лазарев.

Даю для «Дня поэзии» именно излияния «страдающей души» и молниеносно получаю положительный ответ. Особая радость, что среди отобранного — стихи с посвящением А.В.М.

А чудеса продолжают... Поэт из Волгограда Юрий Окунев присылает мне сто рублей. Маргарита Агашина — посылку с яблоками. Тоня Искандер, жена Фазиля, привозит... сырую курицу. Очень кстати, на обед. Смущенно, не смотря почему-то в глаза, словно не дает, а отбирает, сует при встрече деньги Дмитрий Сухарев. Из Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы, от которого выступала двадцать лет, а теперь не выступаю, звонит Надя Белоногова. Голос, подавленный волнением: женщины из бюро знают о моем положении, хотели бы помочь. Но... официально запрещено меня занимать. Вот когда я буду восстановлена... Надя назначает мне встречу. В метро. И отдает 30 рублей. Свою премию.

Одно событие тех дней резко выделилось даже на этом фоне. Анатолий Жигулин, — кроме того, что оба мы на «ЖИ» и часто соседствуем в поэтических сборниках, связывает нас издавна и душевная тяга, — дарит мне свою книгу «Жизнь, нечаянная радость». В нее от руки вписаны стихи, ранее мне неизвестные. Почему не напечатаны — и дураку ясно: не та тематика. А вот то, что вписаны для меня в такой момент моей жизни, ошарашивает. Не о себе думаю — об отце Александре. Это же — прямо для него. Надо срочно ехать и порадовать его жигулинскими стихами. Нет, правда, нельзя же все только купаться

в неиссякаемой доброте Александра-младшего. Надо и ему доставить приятное...

А.В. я захватила перед всенощной. Ему только что привезли из Ташкента картину «Сошествие во ад» — кисти старой художницы, реэмигрантки. Впервые слышу фамилию автора: Рейтлингер. Узнаю, что она — духовная дочь Сергия Булгакова.

Картина стояла на диване, а хозяин комнаты — напротив. Он и меня пригласил стать и смотреть. Весьма приблизительно знала я о Христе, спустившемся после смерти в преисподнюю, чтобы спасти грешников от вечных мук. Отец Александр знал об этом все! Но мое невежество и его знание, как это бывает сплошь да рядом, не мешали друг другу. Я ни о чем не спрашивала. Он ничего не объяснял, заметил только, что Христос вытягивает Адама и Еву обеими руками — так спасают утопающих...

В этот приезд я прочла вслух стихи Жигулина, и «Сошествие» каким-то образом соучаствовало в моем чтении. Тот, Кто на картине, казался мне, тоже доволен.

*Отдам еврею крест нательный,
Спасу его от злых людей...
Я сам в печали беспредельной
Такой же бедный иудей.
Судьбою с детства не лелеем
За неизвестные грехи,
Я мог бы вправду быть евреем,
Я мог бы так писать стихи:
По дорогой моей равнине,
Рукой качая лебеду,
С мечтой о дальней Палестине
Тропой российской иду.
Иду один, как в поле ветер.
Моих друзей давно уж нет.
А жизнь прошла,
И не заметил.
Остался только тихий свет.
Холодный свет от белой роици
И дальний синий полумрак...
А жить-то надо было проще,
Совсем не так, совсем не так...
Но эту горестную память*

*И эту старую повесть
Нельзя забыть, нельзя оставить —
Осталось только умереть.
А в роце слышится осина.
А в небе светится звезда...
Прости, родная Палестина,
Я не приеду никогда.*

Отец Александр был страшно тронут, расспрашивал об авторе. Забегая вперед, скажу, что Анатолий и его жена Ирина познакомились с Менем, дважды или трижды встречались с ним. Прочитав книгу стихов Жигулина, А.В. послал ему письмо, одну фразу из которого рискну привести по памяти: «Какой чистый заповедник души! Как будто по нему сапогами не ходили...»

Услышав о моих чудесах, Мень просиял:

— Ну, вот видите... Как все вовремя! Обыденности нет. Жизнь — это сказка...

Все хорошо бы, только не могу получить никакой литературной работы. Я не простаиваю: пишу прозу, стихи. Но когда это еще напечатают?! Пока имею за все шиш с маслом...

Друзья не дают пропасть. У меня четыре «псевдонима», два мужских и два женских, пишу в основном внутренние рецензии, редактирую. Раскрывать их не буду. Пользуюсь случаем поблагодарить всех, кто доверил мне свое имя, — что может быть дороже для писателя?

Увы, литературные деньги — случайные деньги. Без штатной работы не обойтись. Я согласна хоть страховым агентом, хоть машинистом уборочных машин в метро. Но... Непроходимый барьер — отсутствие трудовой книжки. В любом отделе кадров придется объясняться, рассказывать «свою историю». Ясное дело: последует звонок в СП: «Знаете такую?» — «Да, состояла в наших монолитных рядах, но выбыла в связи с отъездом на постоянное жительство в Израиль» — «Никуда она не выбыла! Вот от нее заявление: прошу зачислить в штат» — «Г-м!» — «Так брать или не брать?» — «Давайте, г-м, подождем. Просветим как следует. Россия, знаете, не вокзал. Захотел — уехал, захотел — приехал...»

Я — тут. Но меня — как бы нет. Я — фикция... Наверное, только в России стерты так изначально, метафизически, грани между видимым и невидимым, реальным и ирреальным. «Мертвые души» Гоголя и «Поручик Киж» Тынянова — воистину русские творения.

Наконец, плотину прорвало. Подруга юности Маргарита, урожденная Брюхоненко, из рода графов Шереметевых, не нашла — вырвала для меня работу газетного корректора. Все оговорено заранее. Соответствующий департамент в курсе. Буду на твердом окладе при единственном условии: если вижу ошибки в газетной полосе. Оказывается, мало быть грамотной, надо еще обладать вьедливым, впивающимся в каждое слово наподобие энцефалитного клеща недреманным оком. Такое свойство у меня, благодарение Богу, есть! После краткого испытательного срока зачислена в штат корректором с окладом 130 рэ в месяц. С голоду не помрем!

Теперь мне труднее выбраться в Новую Деревню, но без встречи с А.В., без его ободряющего голоса, без церковных служб, без книг, которые он мне выписывает, как целебные настои — выздоравливающему, я себя уже не мыслю.

Раньше я не знала, но, прочитав книгу «Таинство, Слово и Образ», подаренную мне Менем, узнала, что некрещенные, а только зреющие для принятия крещения, как я, допускаются лишь к вводной части Литургии. Она так и называется: литургия оглашенных. «В некоторых Восточных церквях» (например, в Греческой), — пишет автор, — ее опускают ввиду того, что большинство населения крещено с детства. Но у нас положение иное. Своего рода «оглашенные» (близкие к крещению или готовящиеся к нему) в нашей стране далеко не редкость. Патриарх Пимен в свое время справедливо заметил: «Если мы не можем их оглашать, то хотя бы молиться за них должны».

Мне важно знать, что за меня молятся в маленькой пушкинской церкви. Я еще не задумывалась над тем, что такое церковная молитва. Я еще не уверена, что буду креститься. Одно для меня очевидно: я жила плохо. Все шло через пень-колоду, за все приходилось платить по ценам черного рынка. Тут мне обещана забота — другое имя любви. Переступая порог церквушки, видя облаченного в храмовые одежды отца Александра, я чувствую: тут меня ждали, тут я — своя, после долгих прижизненных мытарств вернулась к себе домой.

Обычно по окончании литургии оглашенных я не выходила во двор, как требует строгий канон, а лишь отступала поближе к выходу. Поэтому заповеди блаженства (то же, что Нагорная проповедь), особенно сладко звучащие для меня в моем межеумочном положении, находили во мне самого внимательного и благодарного слушателя. Жиденский хор певчих бедной Сретенской церкви доносил до меня свежую, как только что срезанный в зимнем саду цветок, эманацию мысли двухтысячелетней давности:

*Блаженны нищие духом, ибо
их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они
утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие
правды,
ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят...*

Я была плачущей, я жаждала правды, я вынуждена была быть кроткой... «У Т. два пути, — сказал моему мужу наш сосед, в то время рядовой, а ныне один из «генеральных» писателей правого лагеря, — путь цинизма и путь смирения; так как цинизм не в ее натуре, остается смирение». Ведь как в воду смотрел! Я старалась быть милостивой к своим недругам, рассуждая примерно так: мне тяжело на моем месте, а им тяжело на ихнем — откуда я знаю все их обстоятельства, комплексы, заскоки?... Все это, — я уже знала из богословской литературы, — и есть осознание нищеты своего духа, то-есть крайней его неполноты по сравнению с тем Духом, к которому он тем не менее стремится.

Была ли я чистой сердцем? Не знаю. Хотела бы быть — это точнее. Тому, что существует связь между «узрением Бога» (верой) и таким стремлением есть немало доказательств. Указывает на такую связь и Клайв С.Льюис: «... одним Он являет Себя гораздо больше, чем другим, и не потому, что у Него есть любимчики, а потому что невозможно Ему явить Себя человеку, весь ум и характер которого не в состоянии принять Его, точно так же, как солнечный свет, хотя и не имеет любимцев, не может отразиться в пыльном зеркале столь же ясно, как в чистом».

Фигурально выражаясь, я омывала слезами свое пыльное зеркало, и оно становилось чище, и в нем отражался Бог.

Так что «заповеди блаженства», считала я, имеют ко мне непосредственное отношение. «Радуйтесь и веселитесь!» — мажорный призыв хора на каждой Литургии — животворил мое сердце. Я выходила из церкви совершенно в другом настроении, чем входила в нее.

Не так давно, уже на шестом году перестройки, старинный при-

атель, тоже поэт, всеми силами отбивающийся от «официального христианства» (другого он не знает), объяснил мне, что именно отталкивает его в этом столь распространенном ныне «увлечении». Те житейские и прочие блага, которые надеются извлечь из принадлежности к церкви неофиты. «То вступали в партию, а теперь прут в церковь», — довершил он свое «фэ».

Не буду ни топить, ни защищать неофитов. Все они — разные, у каждого свой путь, ненавижу стричь всех под одну гребенку. Хочу, однако, прояснить вопрос. Религия никому не сулит привилегий, тем более в распределении материальных даров. Да и сама функция распределения, присваиваемая любым институтом, от высшего органа власти до Марь Ванны в завкоме, «сидящей на путевках», — есть изобретение чисто советско-социалистическое.

Но само слово «евангелие» («благовестие») подсказывает, что христианству сопутствует свет надежды. Не абстрактный свет какой-то эсхатологической надежды (что с трудом вмещает наш ум), а свет — вам, свет — мне, свет — миру. В переводе на обычный человеческий язык нормальная жизнь, пристойное во всех смыслах существование.

Нам лишь указано на иерархию ценностей: «... не говорите: «что нам есть?» или «что нам пить?» или «во что одеться?». Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам... (Мтф. 6-31,33, выделено мной — Т.Ж.)

Пребывая все в той же точке земного шара, я отправилась на поиски Царства Божия, но что греха таить, надеялась и на приклад. Я устала от долгой череды передраг, от домашней распутицы, от постоянных нехваток. Как герой тогда еще не снятого фильма А.Тарковского, я просила Небо сделать хотя бы так, как было прежде, собрать целое из обломков. Я готова была послужить Ему, соглашалась на «жертвоприношение».

Мой старый учитель не подкачал. Не найдя во мне «большевичку», он не плюнул на меня, не отвернулся, занимается моими проблемами. С его подачи, но движимая и собственным энтузиазмом, Маргарита Алигер записывается на прием к А.Беляеву, тогдашнему идеологическому со-вождю. Идет в сакральное здание на Старой площади — специально по моему вопросу.

А.Беляев не видит препятствий для моего восстановления в Союзе писателей.

Получив добро от ЦК партии, СП начинает многоступенчатую операцию по восстановлению. Нельзя, разводит руками начальство, вер-

нуть мне членство явочным путем. Это может рассердить литературную общественность. Надо постепенно, шаг за шагом, восстановить меня сначала на бюро творческого объединения поэтов, потом на секретариате Московского объединения СП, а уж потом в головном правлении СП РСФСР.

..На бюро вызывают к 16 часам. Со мной дочь и Лидия Либединская. Последняя пришла меня защищать.

Вхожу в восьмую комнату. Членов бюро больше, чем обычно; кворум, конечно, есть. Лиду сначала не впускают — бюро закрытое.

Перед председателем — мое заявление, но его почему-то не зачитывают. Однако все в курсе.

Председатель с места в карьер:

— Тут возник вопрос о вашем муже. Правда ли, что он получил отказ, потому что работал в секретной области?

Я, естественно, возражаю, объясняю, что и как.

Вопрос с места:

— Зачем вам нужен союз писателей? Печататься можно и так.

Председатель объясняет, что *так* печататься исключенному нельзя. Вот я дала в «День поэзии» «очень хорошие стихи», а напечатать их не могут, советовались с ним.

«Ну, если так...» — спросивший требует от меня публичного покаяния.

Кто-то возражает ему в том смысле, что морального ущерба Родине я не нанесла — только себе. А по «Голосу Америки» слышишь, как постыдно ведут себя эмигранты.

Анатолий Жигулин (пришел на бюро больной, исключительно из-за меня) с каким-то веселым задором заявляет, что «Голос Америки» слушать стало невозможно — глушат...

Что тут начинается! Мой главный защитник, оказывается, желает слушать «Голос Америки»! Жалуется принародно на помехи, препятствующие этому предосудительному занятию! А не внутренний ли он эмигрант? Не составляем ли мы с ним то, что называется «два сапога — пара»?..

Жигулин бросается в бой. Кричит:

— Почему вы такие злые? Русские поэты никогда такими не были. Поэт должен быть добр!

Его поддерживает Алексей Марков. Двое или трое ополчаются против. Шум. Крики. Обо мне забывают совершенно.

Председатель с трудом наводит порядок.

Марк Максимов вопрошает, что я буду делать, если муж все-таки

уедет. Не дожидаясь ответа, развивает мысль о схожести моей ситуации с древнегреческой трагедией. Роковая дилемма: муж или Родина?

— Хватит мотать жилы! — басит Лариса Васильева.

Тут разрешают войти Либединской. Она произносит за меня адвокатскую речь. Умело вворачивает ЦК партии. Белаяев и Черноуцан, замечает она, настроены доброжелательно. Но, конечно, вопрос надо решать здесь, демократически (душка Лида! дипломат!).

На ее заключительную фразу, что своей Родине я не повредила ни строчкой, следует немедленная реакция:

— Не надо выставлять это как героизм!

Слово берет председатель. Как это, хмурится он, я не нанесла морального ущерба? Он, например, узнав о моем выходе из СП (исключение вдруг стало выходом!), испытал шок. И другие — тоже. Я была накануне дезертирства. Когда он узнал, что я решила остаться, он испытал облегчение... Муж, трудные обстоятельства — все это понятно. Но, кроме того, я, видно, подпала под умственную эпидемию, которая была особенно сильна год назад. Товарищи уже не смогут доверять мне так, как доверяли раньше. Особенно на первых порах, — смягчился он.

Тут нас с Лидой выдворили из комнаты. Мы увидели мою Сашу, в страхе стоящую за дверью. Успокоили ее. Лида нервно закурила, потом спустилась в буфет и купила нам торт.

Шум продолжался еще минут 20. Голосование было открытым. Потом узнала: 13 голосов было за мое восстановление, 4 — против, несколько воздержались.

Мы дома разбедали торт, а рыцарь Толя Жигулин свалился с предынфарктным состоянием.

— Рассказывайте!

Отец Александр придвигается ко мне со своим стулом и как бы ерзает от нетерпения. Ему все интересно: как меня восстанавливали, кто и что говорил. Многие фамилии он слышит впервые, но я догадываюсь: отдельные штрихи, реплики складываются для него в единое лицо — лицо фантазмагорического сообщества, именуемого советской творческой интеллигенцией.

Попробую разобрать это понятие.

Объясняя трудности эмиграции, Мень не раз говорил, что мы, советские люди, отлиты по особому образцу, в наших головах все перевернуто: «... край — всем краям наоборот! / — куда назад идти вперед /Идти...» — это все та же премудрая Марина Цветаева.

Так что с определением «советская» все вроде ясно.

«Творческая...» Все производные от слова «творчество» звучат неизменно сладко только для дилетанта. Тот, кто внутри профессиональной творческой среды, знает, насколько они бывают обманчивы.

Как наивна я была в свои молодые годы! Верила всему, чему учили. Едва начав что-то соображать, только и слышала, что писатель должен отразить, да не как зеркало, а как увеличительное стекло, ведущие в земной рай тенденции общественного развития. Среди добродетелей творца назывались — порой впереди таланта — партийная принадлежность и преданность идеям коммунизма. О том, что такое талант, предпочитали умалять или пошучивали: талант, как деньги, есть — есть, нет — нет.

Мень выражал общехристианскую точку зрения на творчество, на природу таланта, на права и обязанности того, кто им наделен. Захватывало дух при мысли, что Творец приглашает каждого, в ком бьется жилка художества, к соучастию во вселенской мистерии преобразования всего сущего. «Есть реальность физического мира и есть реальность мира духовного, которая не дается в ощущениях, — любил повторять А.В. — Люди творческие, тем не менее, ее ощущают, так как харизма идет извне».

Именно от него я впервые услышала про харизму — благословение свыше. В древности она давалась пророкам, великим поэтам, истинным сотворцам. Но неужели и нам, малым сим, капает что-то с неба? Приходится предположить, что да. Без настроя, без вдохновения ничего путного не родишь. Даже лирического стихотворения. Когда ты засорен всякой бестолочью и вдруг почему-либо вознамерился «творить», — пиши пропало. Канал очистился — и тебя осенит, такое знакомо каждому пишущему.

*И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь, —*

просто и глубоко сказала об этом Анна Ахматова.

Свобода — не столько право харизматической, то есть талантливой личности, сколько главное условие, при котором она только и может максимально себя проявить. Иначе «поручение» (Боратынский) будет не расслышано или дурно выполнено.

*Мне с небес диктовали задачу —
я ее разрешишь не смогла, —*

это уже Белла Ахмадулина, однокашница, моя многолетняя и неразделенная любовь.

Надеюсь, с ней все в порядке. Минуты слабости бывают у всех. Но сколько недожизненных дарований на моих глазах саморазрушилось, ничего по существу не свершив...

«Силы и способности человеческие весьма подобны мельничным жерновам, между коими если не бывает пшеницы, то они истирают себя в прах» («Цветник духовный». Издание пятое Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. Москва. 1903. Одна из меневских книг.)

Итак, чтобы творить, надо иметь талант, свободу и «харизму». Если чего-то недостает, творчество получается ущербным, жизнь — тоже. Зерно, не посеянное художником из-за лени, боязни неудачи или неблагоприятных обстоятельств, разбухает внутри него, вызывает патологию или разрывает сердце. Среди моих строгих судей были и «чокнутые», и «живые мертвецы». Могут ли я на них сердиться?

Ну, а что интеллигенция нынешняя является побочным, но кровным дитем интеллигенции прошлого — надо ли это доказывать?

Много позже мне стало известно, что быть пастырем этого «духовно заброшенного сословия» (слова Меня из одного интервью) завещал ему его первый духовник, отец Николай Голубцов. «С интеллигенцией больше всего намучаешься», — предупреждал его старый священник. Но и тот, в свою очередь, добровольно принял этот крест от своих предшественников, таких, как отец Алексей Мечев. В воспоминаниях об А.Мечеве, вышедших, увы, там, а не здесь, есть даже специальное разъяснение особенностей этой работы: «...какого труда стоила «разгрузка» какого-нибудь профессора, или современного общественного деятеля, художника, писателя, которых только безысходное отчаянье кидало в его комнатку». А дело происходило в 20-х годах нашего века.

Грустная вырисовывается картина. Достоевский и Толстой не считали зазорным для себя съездить в Оптину Пустынь. Но потом или одновременно, задолго до 17 года, русская интеллигенция, во всяком случае самая мобильная ее часть, победоносно отвернулась от религии. Уж Меня-то знал нашего брата, как никто, но не терял возможности узнать еще лучше, жадно расспрашивал меня, представителя все того же сословия, о поведении в экстремальной ситуации моих защитников и хулителей.

Как-то А.В. сказал:

— Я не знаю вашего мужа, но очень хочу, чтобы он тоже остался...

Это он за меня — хотел. Это мое жгучее невысказанное желание дошло до него через назлектризованный воздух кабинета-исповедальни.

В назначенный день — это была пятница — мы с мужем приехали

в Новую Деревню. После службы в сторожку набилось человек восемь, а я-то, наивная, думала, что, если пятница, мы будем одни. С удивлением увидела среди сидящих на прием одного знакомого писателя. Муж его тоже знает. Неизвестно, к добру это или к худу. С одной стороны, мы не одиноки. С другой, — мой муж не из тех, кто любит ходить избитыми путями.

Принял нас на десерт, усадил Павла в гостевое кресло, меня — на стул. Спросил, как у нас дела. Муж начал рассказывать очень подробно, вдаваясь во все тонкости, заново переживая обиды, нанесенные жизнью, в том числе и в моем лице. Я нервничала. А.В. — после службы, ничего не ел, до нас принял восемь человек... Но что скажешь, когда течет и течет горькая исповедь?

И снова разговор об эмиграции. Для меня этот поезд ушел, я давно помахала ему платочком. Но для мужа все свежо, как вскрывшийся гнойник.

Мень перебирала четки. Я подметила: когда беседу можно уравнивать с бегом на короткую дистанцию, он обходится без них. Когда же предстоит марафон, четки тут как тут. В тот раз или потом я впервые заметила на нижних суставах пальцев пятна псориаза? Это наши грехи огневией проступили у него на коже.

— Был у меня такой Наум... — издалека начинает он, как если бы вышел из затвора и, встретив старых друзей, наслаждается и все никак не может насладиться роскошью человеческого общения. — Этот Наум подавал на выезд шесть раз. Наконец добился своего. И что же? В Израиле не усидел. Уехал в Америку. Теперь хочет уехать и оттуда... Для «гомо советикус» нет в мире экологической ниши, ибо мы — не такие, как все.

Муж заметил, что через поколение это уже не будет чувствоваться.

— Но кроме этих соображений есть и наши личные судьбы, — мягко возразил хозяин. — Вы думаете, мне не бывает противно? Еще как бывает! Когда я спрашивал своих духовных детей, почему они уезжают, мне отвечали: мы не можем тут жить. Многие считают, что тут нельзя быть и священником. Нет, можно. Жизнь идет. Мы окружены людьми, которые в силу исторических причин, — так складывалась культура, цивилизация, не хуже, а даже лучше, чем в других странах. Еврейская проблема... — не свожу глаз с его сильных, пружинистых пальцев, четко передвигающих боб за бобом, — ...будет решена в России в ближайшие 10—20 лет. Одни уедут. Другие, сознавая себя евреями, сознательно останутся, третьи ассимилируются. Ортодоксов это, понятно, не устраива-

ет, но для меня все ортодоксы на одно лицо, будь у них на груди звезда, свастика или маген-давид...

На «страшно здесь оставаться после предпринятого шага» отец Александр отвечает, что жить — везде страшно. Тут мы хотя бы знаем, чего надо опасаться. А там ужасы непредсказуемы.

Уходим. Почти ушли. Нет, еще «лестничный разговор», как бывает «лестничное остроумие». Об «Истоках религии». Павел рассказывает, какое впечатление на него, атеиста, произвела эта книга.

Хозяин находит в себе силы заинтересоваться. Говорит, что писал «в пространство», не для печати. Читательских писем он не получает. Поэтому так важны для него устные отзывы.

«Атеиста» пропускает мимо ушей. Обычно он парировал незамедлительно: «Атеистов нет. Есть идолопоклонники» (те, кто ставит на место Бога карьеру, деньги, славу, иногда собственного ребенка или машину — мало ли у нас фетишей?). Но сегодня у него другая задача: не доказать истину, а удержать любимого мной человека.

На прощанье обещает мужу:

— Я буду за вас молиться.

Это очень важно. Новодеревенская знакомая Зоя М. передала мне чьи-то горячие слова: «Наш батюшка помолится — мертвый встанет». Но для моего атеиста — это чистая абстракция.

Зоя — не единственная, кого я здесь узнала. Однако для меня человек номер один. Люди встречаются не случайно, убежден Мень. Кто-то послан вам, кому-то посланы вы. И то и другое, в конце концов, для вашего же блага. В отношении моей новой знакомой это особенно оправдано. Круглолицая, серьезная, но без надутости, похожая на финку Зоя излучает доброжелательство.

Она первая заговорила со мной. Оказалось: живет тут неподалеку, круглый год снимает комнату. Правая рука Меня. Его редактор, помощница, хранительница части архива. Под влиянием отца Александра бывшая «невера» начала совершенно иную жизнь, совершенно с другими измерениями. Несколько лет назад хулиганы устроили дикий разгром в ее мастерской, побили почти все работы. Но она спокойна. Говорит: «Бог расчищает пути». Странно слышать это от профессионала, лепившего Пастернака, Ахматову. Какое мужество!

Зоя всей душой хочет мне помочь. Поэтому тяну к ней своего упирающегося мужа. Не в коня корм... К простенькой опрятной комнатушке с изображением Сретенской церкви на стене, к хозяйке, которая любовно написала ее в румянце зари, у меня — чувство притяжения,

по сродству, у мужа — отталкивания, по несходству. В краткий разговор он умудрился вставить забытое за ненужностью «смирение паче гордости». Похоже, притворно смиренные — это мы с Зоей. А он — другой. Искренний. Принципиальный. И голыми руками его не возьмешь.

Посыпались разрешения на выезд. «К съезду!» — толкуют отъезжающие.

26-й съезд партии, как никакой другой, проник во все мои поры. Это мне дано такое «послушание». До глубокого вечера, часто до полуночи корректирую я в газете съездовские материалы. Не приведи Бог пропустить ошибку. Теперь, правда, не те времена, когда за газетную опечатку можно было поплатиться головой. Еще помнят старые корректоры, как за «Сказку о царе Сталине» (вместо Салтане) сажали в тюрьму. Но все равно неприятно. Вызовут на ковер, а то и уволят с работы.

В какой-то приезд я сказала Меню: «Не хочу, чтобы меня вызывали на ковер». Он не понял: «Если мы не пожелаем работать на ковре, на нем будут бить в барабаны из человеческой кожи».

Пока я потею на ковре корректорской. Впрочем, люди вокруг душевные. Работаем парами. То я за подчитчика, то за сверяющего текст. Долго, нудно, однообразно.

Мой муж тоже получил разрешение. И отказался, остался. Из любви к дочке и немного — ко мне. Я надеялась, посещение Пушкина будет поворотом в его судьбе. Это, действительно, поворот, но не в лучшую сторону. Он впал в глубокую ипохондрию, нас с дочерью почти не замечает. И то сказать: ему еще предстоит та головомойка, те хождения по мукам в связи с «возвращением» отсюда — сюда, какие я уже отчасти миновала.

На все мои жалобы и сетования Мень твердит одно:

— Любите его! Молитесь за него! — И видя, как я измучена, присовокупляет: — Конечно, прижимая к груди дикобраза, рискуешь испытывать не совсем приятные ощущения. Но его тоже жалко.

Мое восстановление в СП дальше бюро не пошло. Неведомые мне барьеры. Раздвигать руками серую протоплазму, как ветки в дремучем бору, чтобы выбраться на дорогу, — этого я не умею.

Дочь старается поменьше бывать дома. И угодила в плохую компанию. Вытягиваю ее обеими руками, как на той ташкентской картине. Первое, что приходит на ум, — ехать в Новую Деревню. По счастью, она не сопротивляется: Александр Владимирович ей по душе.

Как добр он и ласков, каким проникающим в самую глубь взором встречает наше «страшное» признание: в лихую годину жизни мы занимались спиритизмом, чтобы узнать у духов, как вести себя дальше.

Притягивает за плечи нас обоих — сам олицетворенное сострадание: — Бедные девочки — мертвых спрашивали...

Фатализм, вразумляет нас отец Александр, — свойство грубых натур. Все мы хотим готовых решений. Нас тянет назад, к зверю, к неживой природе. По Фрейдю, — это регрессивный синдром.

Выслушиваем притчу о страдальце, который, не выдержав нападений, воззвал к Богу:

— Ты же видишь, как я мучаюсь. Почему не поможешь мне?

— А я жду, — отвечает Бог, — что ты решишь, чтоб не мучиться так...

Ему хочется нас отвлечь, повеселить, и он, к восторгу Саши, любящей всякую живую тварь, начинает рассказывать об... обезьянах. Оказывается, он глубоко изучил их поведение и привычки. Обезьяна-мать никогда не расстается с детенышем. Это избавляет от чувства страха и его, и ее.

Пожалуй, тут ответ и на «плохую компанию», и на дочкины побеги из дому. Делаю вывод: пусть побольше будет у меня на глазах. Летние каникулы дочь проведет, работая внутренним курьером в моей же газете. Побегав 40 раз в день вверх-вниз по лестнице (редакция, корректорская, типография), она вдруг пожелает получить высшее образование (а раньше не хотела). Станет посерьезнее относиться к учебе, а до того занималась шалляй-валяй.

Лето — жаркое. Парюсь в застекленной до потолка теплице газетного комбината. Зато какое счастье — выбраться за город. С первого класса ранние вставания были мукой для меня. Мне, сове, легче всю ночь не ложиться, чем на рассвете продрать глаза и поспеть к открытию метро. Теперь — не то. Теперь встаю как миленькая и еду. Есть куда и есть к кому...

*От счастья, что увижу вас,
встаю, опередив будильник,
и вместо песен лебединых
твержу одну из детских фраз.
Рысцою при любой погоде
миную перекрестки трасс,
стоять невмочь на переходе —
бегу стремглав на красный глаз
от счастья, что увижу вас.*

*Лечу, стройною, молодею
как бы в ответ на ваш приказ,
лелею дерзкую идею
все объяснить вам сей же час
от счастья, что увижу вас.
Вокзалы, очередь у касс.
И пассажир пошел престранный:
все тащит что-то про запас,
а я сыта небесной манной
от счастья, что увижу вас.
Вот дом и сад — все без прикрас,
все так естественно и просто:
тропинка во поле и вяз
у деревенского погоста.
Я счастлива, что вижу вас...
Уж вечер, и закат погас.
Пора домой, и поскорее.
Я никогда не постарею
от счастья, что увижу вас.*

Сегодня я не одна — со мной коренная жительница Пушкина Нина Р., молодой технолог, умненькая, милая, крещенная во младенчестве, но от церкви безмерно далекая. Парадокс нашего парадоксального бытия: не она — меня, я — ее привела в Новую Деревню, что в трех километрах от ее дома, семь минут на автобусе. Об отце Александре Нина даже не слышала. Но буквально накануне нашей с ней встречи у московских знакомых почему-то упрекнула свою мать: «Все ставят родным свечки за упокой, а мы бабушке никогда не поставим...» (бабушка ее и крестила). По пути с кладбища, — тут же, рядом, за пустырем, — впервые зашли в новодеревенскую церковь, купили свечу. Незнакомый священник прошел мимо них, и Нинина мать проводила его недоверчивым взглядом: «Никак наш батюшка — еврей?!»

И вот мы сидим у этого нетипичного батюшки. Отец Александр после отпуска, провел его, как обычно, в Коктебеле. Бронзовый. Но скорбный какой-то, озабоченный. Нина стесняется. Говорю за нее я. Надо же такое совпадение: впервые за 30 лет жизни переступить церковный порог, заострить внимание на необычном служителе и почти тут же быть ему представленной.

— Все это закономерно, — не удивляется Мень. — Если закономер-

на молекула, закономерна снежинка, то тем более не может быть случайной человеческая судьба. Это все-таки не снежинка.

Нину он принимает радушно. Точно всю жизнь ждал. Но грустен против обыкновения.

— Что случилось? — допытываюсь у Зои. И узнаю: у А.В. неприятности. Одна из певчих (в союзе с регентшей) настрочила на него жалобу: он, мол, принимает «чужих» в ущерб пушкинским... Конфиденциальные беседы в сторожке кончены. Отца Александра вызывали в совет по делам религии, допрашивали, разрешили посетителей «со стороны» принимать только вне церковной ограды.

— Не переживайте, — утешает меня Зоя, — контакты не прекратятся. Ведь это — человеческие судьбы. Батюшка никогда не согласится на разрыв отношений с «чужими», то-есть с интеллигенцией. Но пойти на уступки придется.

Как же мудро и своевременно послана мне Нина! Она — «своя», местная. Ей разрешено будет входить в кабинет. Можно передать книгу, записку. А я вместе с другими буду ловить отца Александра за оградой. Ох-ох-охонюшки...

Решаюсь: креститься. Знаю, что отец никого не подталкивает, пуще всего опасаясь, как бы крещение не вылилось во что-то чисто внешнее.

Креститься, не приняв «всего чина церковной жизни», по Меню, все равно что поезд дальнего следования снять с железнодорожного пути и водрузить на траву.

Есть и другие ловушки. После крещения человек-невеличка может превознестись в собственных глазах: вот я какой! вы все — мне не чета! Я присоединился к христианскому братству, которому две тыщи лет, а вы, неприсоединившиеся, прозябайте в своих гадюшниках.

— Крестился, но стал уже и хуже, — как-то сформулировал А.В.

Нет, внутренне я еще не христианка — полуязычица. А кто, кроме таких кремневых натур, как отец Сергей Желудков, имеет основания заявить: «Я — христианин»? Но я не знаю более притягательного примера в жизни, творчестве, человеческих отношениях, чем тот, что дают христианские наставники. И первый из них — отец Александр. Мое кредо? Пожалуйста:

*Все, что открыто, и все, что сокрыто
в мире,
течет, по словам Гераклита.*

Устаревают камзолы и платья,
в весе теряют слова и понятия,
даже профессии теряют утруску:
экс-прокурор попадает в кутузку,
той же подвержен метаморфозе,
бывший фельдмаршал трясется в обозе.
Но неизменны при всех превращениях
пастыри божьи:
врач и священник.
Мир сотворен, но еще недосоздан,
задан маршрут: через тернии к звездам.
Зло и добро в роковом поединке
переплелись.
Человек — посрединке...
Войны. Восстанья. Оскалы ищек.
Головы клонят
врач и священник.
Что они могут? Разве помогут
под сатанинские вопли и гогот?
Но и безумные страсти мирские
изнемогают, словно стихии.
Дом человеческий в дырах и щелях.
Кто залатает их?
Врач и священник...
Царствие Божие, видимо, близко:
эмансипированная атеистка
криком кричит из бездонного ада:
— Мне не врача — мне священника надо!..
Люди есть люди. Всяко бывает:
на смерть зовут, а потом оживают.
В выздоровленьях и воскрешеньях
равно повинны
врач и священник.
Кто остается нам в дни неудач,
в дни упований?
Священник и врач.

«Духовные батарейки садятся каждые шесть недель», — предупреждает отец Александр. Готова ли я так часто бывать в храме, исповедоваться, подходить к чаше со Святыми дарами?..

Внутренний трепет останется навсегда. Но возникнет чувство, превосходящее страх, — чувство полного доверия. Сердце каждой Литургии — Евхаристия — какое-то время будет для меня камнем преткновения. Поможет любимый писатель Франсуа Мориак, сказавший об этом таинстве совсем просто: «Евхаристия, являющаяся в тайне христианства самым большим вызовом разуму, помогает моей вере особенно потому, что мне легко верить в Бога, Который умалется до того, что дает Себя в пищу самому жалкому мужчине, самой бедной женщине, если только они захотят принять Его».

Учу наизусть «Символ веры» — так положено. Его поют хором за каждой утренней службой. Он для меня звучит в музыкальном ключе. Задумываюсь над заключительным, особенно сильным аккордом: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».

По-христиански, «память смертная», или, другими словами, память о том, что ты неминуемо умрешь, есть великий движитель жизни, «сила трудолюбия и служения» (А.Мень). Но она же — и немилосердный сортировщик: амбиции, мелочные страсти, дурацкие обиды и прочий сор память смертная отбрасывает как утиль, оставляя в неприкосновенности лучшее в нас, Божественное в нас. Только это, говорят учителя христианства, со смертью не уйдет и, будучи ядром нашей личности, не только сохранит ее, но и будет участвовать в последующем преображении и воскрешении.

Тайна смерти стала волновать меня лет с двадцати пяти. Толчком послужила встреча с поэтессой и переводчицей Надеждой Павлович. В Прибалтике стоял май. В доме творчества «Дубулты» писателей было мало. Чтобы мы не коченели от холода за своими письменными столами, администрация разрешила обогревать комнаты печным теплом. А вскоре меня овевала еще более живым теплом дружелюбия — одна из последних приятельниц Блока Надежда Александровна.

Круглые очки, коробочки с гомеопатическими крупинками, кормление и жаление бродячих кошек — такова была оболочка ее земной, закатной уже жизни. А под ней скрывался истинно христианский дух и неистребимая любовь к Блоку. Поверив в мой недежурный интерес к поэту, после многочасовых блоковских «чтений», Павлович стала развивать вслух свои мысли о бессмертии его души и всякой души вообще. Дословно помню ее вывод: «Смерти нет. Есть единый поток сознания».

Надежда Павлович стоит у истоков того, что нынче, грозя замусолить, называют духовным возрождением России. Одной из первых заболела она Оптиной Пустынью, ее воскресением из тлена и мерзости. Пи-

сала религиозные стихи. Хорошо знала отца Меня. Если бы я продолжила наше знакомство в Москве, возможно, мой путь в храм был бы укорочен на 20 лет и многое, очень многое сложилось бы в судьбе по-другому. Я не тешу себя иллюзиями — я это знаю.

Нет, не дано было спрямить зигзагообразный путь. «Должен быть готов ученик, а учитель всегда готов», — повторял отец Александр. Надежда Александровна не увидела во мне зрелого ученика и все-таки завещала богатство. Из шести слов: «Смерти нет. Есть единый поток сознания».

В конце семидесятых, наряду с «Хроникой текущих событий» из рук в руки передавалась «Жизнь после жизни» Р.Моуди (или Муди), переведенная каким-то подвижником*, — опубликовать-то не представлялось возможности.

Я прочла ее сначала по-русски, потом по-английски.

В «Истоках религии» — книге, написанной Менем задолго до Моуди и даже напечатанной раньше, приводится эпизод, совершенно аналогичный тем, которыми оперирует американский врач и философ. Рассказывает наш соотечественник, переживший операцию с трепанацией черепа:

«Я чувствую, что я приподнимаюсь над моим телом. Впрочем, я не прежний: я состою из какой-то прозрачной материи, как из стекла или из густого воздуха, но в прежней форме моего тела. Отделившись от тела, я становлюсь на свои новые ноги. Вижу — рядом лежит мое неподвижное старое тело со свисшей вниз рукой. Около него суетятся доктора.

От моих болей и нервного напряжения ничего не осталось. Я чувствую необычайную легкость, тишину в сердце, покой и радость. Это было такое состояние, которое невозможно описать и которого я никогда не переживал на земле...»

Впечатляет? Еще бы! Но остается лазейка для сомнений. И у Меня и у Моуди речь идет о клинической смерти, а как судить по ужимкам иммитаторши об истинной природе той, кому она подражает?

И еще одно соображение: разве нам так уж не терпится длить и длить свое полусонное существование? Пусть даже появится легкость, чувство блаженства — что с того? Мы другого хотим: встретить за гробом тех, кого любим при жизни. Найти себе занятие по душе, двигаться дальше, развиваться, как ни дико это звучит рядом с полной, непоправимой неподвижностью, которая и зовется смертью.

* В 1990 г. она вышла в Москве, и выяснилось: перевел о.А.Борисов, ученик Меня, друг семьи, ныне настоятель Храма Космы и Дамиана (Столешников пер., д. 2А).

Мень цитирует в «Истоках религии» великого Гете:

«Уверенность в том, что мы продолжаем жить вечно, вытекает у меня из самого понятия деятельности. И если я, не зная устали, буду деятелен до самого конца, то природа, когда теперешняя моя форма уже не сможет выдержать тяжести моего духа, обязана будет указать мне новую форму существования. Пусть же Вечно Живой не откажет нам в новых видах деятельности, аналогичных тем, в которых мы уже испытали себя. А если он по-отцовски дарует нам воспоминание обо всем справедливом и хорошем, к чему мы стремились и что уже создали, тогда и мы, конечно, очень быстро ухватимся за зубцы мировой шестерни».

Тайна смерти чуть-чуть приоткрывалась... Слишком допытываться я не хотела из чувства самосохранения. «Символ веры» сказал мне о большем: о воскресении мертвых, о жизни будущего века, или «эона». В свете этого обетования все меняет свою природу: каждый день бытия кажется уже не костяшкой на счетах (отмахнул в сторону — и все), а ступенью бесконечной лестницы вверх.

Пока же мне предстояло нечто простое и неисчерпаемое: крещение.

4 октября 1981 года, в воскресенье, в Новой Деревне произошло то, к чему я шла всю жизнь, не отдавая себе в этом отчета. Крестным моим отцом согласился быть Роберт (по православному Роман) Александрович Штильмарк, писатель, сиделец, из обрусевших немцев, автор юношеского бестселлера «Наследник из Калькутты» и многих других книг. В крестные матери я позвала Устинью Андреевну Казакову, мать моего друга, известного писателя Юрия Казакова. Юра привез ее на своем красном «Жигуленке» из близкого Абрамцева.

В доме № 6 по Центральной улице, в «худшей его половине», как выразился А.В., за чаепитием после крещения выяснилось, что Мень старый поклонник Юриного таланта, особенно «мистического» рассказа «Кабисасы». Штильмарк, со своей стороны, был высочайшего мнения об отце Александре Мене, читал его книги и проводил прямую линию от Владимира Соловьева, через блестящую плеяду русских богословов и философов «серебряного века», к моему духовному отцу.

Сколь крутым ни был подъем к этому празднику, какой крошечный обвал 9 сентября 1990 года* ни ждал впереди, этого дня никто у меня не отнимет.

Золотая пушкинская осень. Мень, Казаков, Штильмарк — все еще

* Дата убийства А.В.Меня.

живые и здоровые, исполненные творческого духа, симпатии ко мне и тяготения друг к другу. Звенящий, как лавр, букет, сложенный Ниной и ее подружкой из подсохших веток боярышника с ряными ягодами посредине и колючками со всех сторон.

Таким и должно быть подношение крещаемому в веру Христову.

«Мир крив, и Бог его выпрямляет. Поэтому страдал (и страдает) Христос, и страдали все мученики, святые, преподобные — и мы, любящие Христа, не можем не страдать» (А.Ельчанинов).

Вместо послесловия

Если когда-нибудь по этой повести будет поставлен фильм... Почему именно фильм? Что в моих воспоминаниях кинематографического?

Во-первых, потому, что А.В. страстно любил кино. Жадно слушал профессиональные рассказы моего мужа, подкидывал идеи: заявка о докторе Гаазе, заявка о Войно-Ясенецком... С каким вниманием встречал он наши с Ниной нескладные, с проскоками, пересказы фестивальных фильмов: и «Спотыкающегося бегуна» Стэнли Крамера, и «Корабля дураков» его же... Но на предложение достать билетик, купить абонемент неизменно отказывался:

— Или работать. Или смотреть кино.

Последней его мечтой, несбывшейся, но усилиями Анастасии А. получившей реальные очертания в виде договора с киностудией, был фильм о бессмертии души, нервом которого стали бы интервью с людьми, побывавшими на том свете.

Во-вторых, все написанное здесь я вижу, как в просмотрном зале, с временной дистанции. Какая-то «Тамара-поэтесса», плоть от плоти своих сограждан и коллег, недовольная жизнью (а кто у нас доволен?), рыщущая в поисках чего-нибудь получше (многие рыщут), спрыгивает с трапа самолета, едва не унесшего ее в Новый Свет. И, как Алиса, оказывается в стране чудес, где главное чудо — она сама. Могучие токи веры и любви идут от ее проводника, и, слабая, она чувствует себя сильной, скромно одаренная — талантливой, по натуре отъединенная от людей — в гуще общества... Она, и в самом деле, оказывается в Новом Свете, никуда не отбывая...

Так вот: если когда-нибудь родится такой фильм, режиссеру и оператору придется потрудиться над гармоничным сочетанием разных кинематографических планов. Отец Александр — один, отец Александр со

своими духовными чадами — это, безусловно, важно. Но крупный план должен быть не размыт — растворен в дальнем плане. Пусть камера панорамирует: Пушкино — это же на подступах к Радонежу; Семхоз — преддверие Сергиева Посада, Лавры, священной обители с ракой Преподобного Сергия.

Новозаветный апостол, мешая времена и пространства, забрел на нашу испепеляемую взаимной ненавистью сторону, указал на ее живые под огненным градом национальные святыни и напомнил: возлюбите Господа и друг друга, еще не все потеряно..

Поразительно не то, что был послан на нашу грешную землю в безбожнейший за христианское тысячелетие отрезок вечности.

Поразительно, что простер воздушные корни духа до самого глубинного и личностного пласта отечественной веры, что, чуженин в человеческом измерении, оказался по Божьей шкале в ближайшем родстве с праведниками, мыслителями, лучшими богословами России.

Он постоянно употреблял библейский образ закваски. В нас вкладывается Нечто и нам дается время, чтобы произошла реакция.

Любой хозяйке, поставившей дрожжевое тесто, знакомо опасение: подойдет? не подойдет?

Вот так и тут: Кто-то ждет результата. Волнуется. Правда, масштабы не кухонные — вселенские.

Мень говорил и писал понятно — именно так, как и нужно нашей образованщине (себя — не исключаю). При этом он ухитрялся никогда не ронять своего богословского достоинства, не снижать уровня разговора ниже четкой ватерлинии.

Но иногда... Это случалось бы чаще, будь я более любознательной.. Иногда он, словно забывшись, пускался в такое далекое плавание, что я теряла его из виду. Помню свой вопрос о Троице — как понимать принцип троичности Божества — и его расширенный, разветвленный ответ. Как ни напрягалась, я не поняла объяснения.

Или его спор с Ренаном относительно происхождения христианства и упорное отстаивание «самосвидетельства Христа», которое Ренан пытался отрицать.. Мне выпало быть передаточной инстанцией между А.В. и СП «Слово», готовившим репринтное издание «Жизни Иисуса». Я получила в Пушкине из рук автора послесловие и в электричке при-

нялась читать. Холодок дистанции, веяние непостижимого физически ощутимо коснулись моего лица.

Он знал больше, чем поведал. Знал и унес с собой. Не потому, что не захотел отдать, — у него не было никакого заглашника, — а потому, что взять не сумели или не захотели.

Несколько раз я ловила на лице его особую — летучей лодочкой улыбку. То не была улыбка благодушия, возникающая от духовной сытости. Он не знал насыщения. То не была и характерная для него искрящаяся, поощрительная улыбка, запечатленная на одной из лучших фотографий. Пожалуй, она выражала удовлетворение, но косвенное по отношению ко всему земному.

У него словно был уговор с кем-то высшим, телефонный провод вверх. И вот, с трудом ускользнув от людской алчбы, вырвавшись из назначенной ему среды обитания, он мысленно уже набирал одному ему известный код, радуясь предстоящему разговору с Абонентом и предвзяря его нетерпеливой улыбкой.

С юмором рассказывал при мне, как он пишет свои книги, — на мансарде, зимой, в теплом пальто и ушанке, — такая стужа стоит в кабинете.

Не от большого ума я посоветовала:

— Можно включить обогреватель.

Ни слова — в ответ. Просто ушел в себя. Тактично переключился на другое. И я поняла, что сморозила глупость.

Неужели примитивная мысль об утеплении не приходила ему в голову? Он творил в холоде, потому что так было нужно. Чтобы не расслабляться. Не разнеживать себя. Не потакать гнездящемуся в каждом себялюбивому желанию комфорта.

А может, он хотел влезть в шаламовскую, в солженицынскую школу? Писать, как они, несмотря ни на какие внешние утеснения?

В начале восьмидесятых он заканчивал книгу «На пороге Нового Завета», начал работу над новой книжной серией — об апостолах, задумал многотомный библиологический словарь. А тучи в виде вызовов в КГБ и другие, не сулящие покоя и воли, организации все сгущались...

Жизнь уже тогда могла сделать резкий вираж, уравнивать его с избавниками Рока.

Писать на холоду — это, возможно, было репетицией.

Всем существом своим откликался на шутку, остроту, удачный пара-

докс. Как-то в узком кругу прочел целую лекцию об иронии и юморе в Евангелиях. В привычном переводе фраза «отцеживают комара и проглатывают верблюда» звучит торжественно. А это, прежде всего, смешно.

Из его афоризмов мне памятнее всего иронические:

«Беспозвоночные давно бы вымерли — человек приспособливается».

«Проскочил, как креветка между китовыми усами».

«Будет что вспомнить на том свете».

Хотелось соответствовать. На своей первой после трехлетнего перерыва журнальной публикации я надписала, перефразировав письмо Татьяны:

*Хоть редко, в две недели раз,
В Деревне Новой видеть Вас...*

Оценил. Брызнул улыбкой.

Начиная с «Дня поэзии — 81», где были напечатаны стихи с его инициалами, я регулярно дарила ему этот ежегодник. Выход ДП-87 пришелся как раз на тот момент, когда впервые в жизни он стал «выездным» и вместе с женой собирался в Польшу. Я воспользовалась этим обстоятельством:

*Традиционный том...
Однако новость в том,
Что Вас с недавних пор
Пускают за бугор...*

Усмехнулся, прочитав. Все было в этой усмешке: и признание своей внешней зависимости от сильных мира сего; и неподвластность духа ни этой, ни какой-либо другой земной привязи; и осознание жалкости «заграничных чаяний», как и многих других людских иллюзий.

Но более всего снисхождения в ней было к тем, кто десятилетиями не пускал. Или готов был пустить после унижительного сговора («Пора вам уже, Александр Владимирович, съездить за рубеж!» — «Зачем? Мне и здесь хорошо!»). А теперь вдруг пустил задарма.

Раз, не застав очереди, я сунула нос в кабинет и увидела женщину скромного вида, непринужденно сидевшую не в кресле, как обычные посетители, а на диване.

— Входите, знакомьтесь, — позвал Меня. — Наталья Федоровна — моя супруга. Т. — поэтесса, тоже жена и мать.

Простодушный, он выдал таким образом маленькую семейную тайну. Наталья Федоровна, Наташа, конечно, знала, что и самая мужская в нашей стране «меневская» церковь изобилует женским полом. Что среди прихожанок ее мужа столько одиноких, мятежных, по-женски неосуществившихся, невольно ждущих от священника не только отцовского, но хотя бы с мизинец другого внимания.

Много надо было мудрости и выдержки, чтобы не поверить не слухам, нет (слухов не было), а часовому любви, что бдит в каждой хранильнице очага — жене и матери.

Он твердо помнил день моего рождения, ибо это — церковный праздник: сорока мучеников Севастийских. С раннего детства я знала другое: что родилась в день прилета жаворонков. Мама говорила, имея в виду мое появление на свет: «Вот к нам жаворонок прилетел!» — и лепила из теста птичек, как-то хитро переплетая тягучую белую полоску, украшая ее изюминкой — глазом.

Однажды я рассказала об этом отцу Александру, пошутила:

— Так вся жизнь пройдет — между жаворонками и мучениками.

Он согласился, выразившись в том смысле, что это и есть настоящее, что только страдать — было бы несправедливо, а только радоваться — скучно.

Дочка вдруг собралась замуж. За интересного парня — выпускника физтеха. Наша семейная гуманитарная монолитность дала трещину, что нас скорее обрадовало, чем огорчило. Но получилось все это слишком скоропалительно; молодым свойственно пороть горячку.

Со своими сомнениями, с равносильными «да» и «нет», изматывающими душу, я поспешила в Новую Деревню.

О.А. остановил качели в моей разнесчастной голове одной-единственной фразой:

— В таких случаях нам ничего не остается, как только помахать с берега платком...

Иногда он пускался в комплименты. Дочке моей говорил: «Какая у тебя мама молоденькая!», хотя отлично знал, какой десяток я разменяла. Мужу внушал: «Т. — женщина нового типа. Вы привыкли и не замечаете».

«Нового типа», потому что, внутренне ошетиливаясь, но вела хозяйство, пекла пироги, штопала носки. Как какая-нибудь не интеллектуалка.

Когда, на первых порах, жаловалась ему, что дела домашние съедают время, отпущенное, может быть, для ратных трудов над бумажным листом, подтрунивал:

— А вы, что, хотите вознестись при жизни?

Своих духовных дочерей, стонущих под тяжестью советского быта, утешал по-народному:

— Глаза страшатся, а руки делают..

Нет, не ощущала я себя ни молоденькой, ни женщиной нового типа. Но хотелось подмастить ему, чтоб на этот раз выиграл. Ведь он стоял под пронизывающим до костей ливнем наших грехов, и думалось: хоть сегодня не разочарую его, оправдаю надежды моего отца.

Дважды он осерчал на меня, именно осерчал. Вулканический темперамент, который он постоянно сдерживал, шадя прильнувшие к нему хрупкие души, тут вдруг прорвался и напугал неожиданной силой.

Первый раз — в самом начале нашего общения, когда на высказанный им общехристианский призыв к совершенству с наглостью неофитки я возразила, что, если стать святой, то и стихи, пожалуй, не будут писаться. И второй — сравнительно недавно, когда на исповеди я заговорила о своем страхе, разбуженном обилием публичной чернухи, страхе перед кафкианской машиной насилия: что, если она ждет новых жертв?!

Не знаю, что так разгневало его тогда, десять лет назад. Он мог бы просто высмеять меня, кротко по форме и язвительно по существу (он это умел). Мало того, что я примеряла недосыгаемую святость, как будничное платье, — я еще и отвергала ее!

Вторая вспышка гнева мне совершенно понятна.

Годами он вел нас к мыслящему свету именно через дебри страха, для которого на земле нашей уготована такая жирная, такая плодородная почва. Только вера может его побороть. Чем крепче вера, тем сильнее страх. А я, оказывается, была смелой от.. слепоты.

Что он мне сказал тогда, будучи сильно в сердцах, чего ранее никогда не случалось на исповеди? «Все это было известно! Я знаю вещи и похуже!» И неожиданно резко: «Вы тоже все знали. Просто забыли». С укором: «Мы должны быть счастливы, что дожили до таких времен»..

Сзади напирала толпа желающих исповедоваться. Не упуская возможности подбодрить, он закончил скороговоркой: «Ну, когда они еще раскachaются! Это не так просто...»

Раскачке помогли мы. Наши страхи сгустились и материализовались. В заплечных дел мастера с туристским топориком в руке.

Батюшка, возможно, и сердился, видя то, чего мы не видели. Как наше маловерие, неразумие, рассеяние взбалтываются в некую смазку для той адской машины, которую ничто теперь не помешает пустить в ход.

Знал или не знал? Еще как знал! Прощался с нами на все лады, а мы не поняли.

В феврале девяностого, в неделю Божьего Суда, предваряя исповедь, сказал пронзительнейшие слова о том, что Страшный Суд кажется нам какой-то отдаленной общей катастрофой. На самом деле у каждого одна катастрофа — собственная смерть. Какими мы приходим к ней?

И, каюсь в грехах от имени своей паствы, в который уже раз напоминал нам, бестолковым, о свободе выбора между добром и злом, об указанном христианам пути: вера, надежда, любовь, — по которому мы идем, спотыкаясь на обе ноги.

«Каким человек нарисует себя, таким и уйдет в вечность» — завещал нам за полгода до своей гибели. И над гробом отпеваемого пушкинского старика словно начал реквием по себе: «Нам дана короткая пробежка...»

В июле (близкое будущее уже отбрасывало густую тень) произнес перед нами, своими прихожанами, пророческое: «Жизнь — это миг. Мы можем выйти отсюда и все умереть. В наше время это вполне возможно. Что понесем в вечность?..»

И снова, в тысяча первый раз: «Богу нужно одно: ходи перед Ним и будь непорочным...»

Зная тщету и недостижимость «заграничного рая» (как и всякого земного Эдема, где кишат незримые гады — в любую эпоху, в любых широтах), Мень понимал и тех, кто вынужден был эмигрировать, особенно в последнее время. Кто гоним национальной нетерпимостью коренного большинства или собственной тоской, желанием национально определиться, найти на лоскутном одеяле мира свой квадрат, кружок, клин...

«Наша страна плохо приспособлена для диаспоры» — слышала от него весной девяностого.

В том, что рассеянные почти две тысячи лет назад по свету евреи должны иметь собственное государство, способствовать его укреплению и процветанию, у него не было и тени сомнения.

Как В.Соловьев, Н.Бердяев и многие другие православные философы, он считал, что христианство и антисемитизм несовместимы. Ибо Ветхий Завет и Новый Завет — две составляющие одного целого; Новый

Завет могучая река, которая берет начало в мощном источнике, а сам он бьет из небесных глубин. Следовательно, и народ, открывший этот источник, народ пророков, народ Христа, — в духовной родословной у каждого христианина, предков же полагается чтить..

Судьбу народа, к которому принадлежал по крови, он видел в недосягаемой для обычного взгляда исторической и эсхатологической* перспективе, трепетал за него и страдал вместе с ним.

Кто знает, может быть, в предсмертные минуты, подобно русскому Владимиру Соловьеву, отец Александр Мень читал на древнееврейском псалмы и казнился своей виной перед иноверцами. Какой? Бог весть! Пусть это останется тайной.

И все-таки той же весной, в том же разговоре, что коснулся вопроса диаспоры, с особым, вдохновенным выражением лица, он говорил о всеобщей надэтнической области духа, куда вышел давно и куда вырывается все больше независимых умов, знаменуя процесс необратимый. И, с улыбкой заметив, что я «заразила» его стихами, произнес две величественные строчки, — четкий пятистопный ямб, цезура-пауза посредине, — похожие на начало большого поэтического произведения:

*Есть этносы — у них судьба одна,
Есть личности — у них судьба другая...*

Вот чего ему не прощали — неотъемлемой от могучей личности широты мысли! Его и убили за широту во имя узости. Топором. Орудием раскола.

Последний раз я видела А.В. за неделю до его гибели. В ДК МЗАЛ, который стал известен благодаря меневским лекциям. Большой цикл, посвященный русским религиозным философам, заключала лекция о матери Марии, в миру Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой.

Второе сентября он назвал сам. Подтвердил через нескольких общих знакомых свою просьбу, чтобы после его слова я прочитала отрывок из моей поэмы «Мать Мария».

Появление Александра Владимировича всегда прибавляло тепла и света. Это ощущалось физически. В черной ниспадающей рясе, с круп-

* От греческого «escatos» — конечный. Религиозное учение о конечных судьбах мира и человека.

ным крестом на груди в виде распятия, быстрый, но внимательный ко всему и ко всем, уместный в любом собрании, он вносил с собой не ветер, а свежее дуновение чего-то высшего и лучшего, чем окружающий мирок. Так было и на этот раз. Так, да не совсем так. Мне бросилось в глаза, что он печален. За десять лет знакомства я видела его в таком состоянии второй, от силы третий раз. Полтора года назад причиной была глазная болезнь его жены Натальи Федоровны, лежавшей тогда в больнице. Так, во всяком случае, я считала. Поэтому, стоя рядом с ним за кулисами, я спросила о здоровье Наташи, об ее глазах. Он ответил буквально следующее:

— Она прекрасно выглядит, хотя с глазами неважно... — И еще пара нежных слов по адресу жены.

Этот «полный» ответ удивил меня. Ведь я спрашивала только про глаза. Может быть, предчувствовал свой уход? Знал, что не пройдет и семи дней, как любимая жена горем своим, слезами своими превзойдет все сокрушения его прихожан, его читателей и почитателей? И надеялся, что я передам ей эти слова — слова, говорящие о неувядаемой силе его чувства?.. Я передала.

Потом он спросил о моей дочке. Молодые были у него на особом счету. Знал мою Сашу с ее шестнадцати лет. Вел, как и меня. И под конец осведомился, куда привел...

Услышав, что книгу моего мужа отметил сочувственной рецензией Лев Аннинский, порадовался: «О, Лева Аннинский!»

Благодарю Господа, что в этот прощальный миг личного общения с отцом (так мы его называли) не заговорила о своей персоне, не похвасталась жалкими приобретениями, эфемерными успехами. Как стыдно было бы вспоминать об этом!..

Лекция о матери Марии, одна из последних в его жизни, была записана на пленку, передана по радио. Слышала, что есть и видеокассета, но она до меня не дошла.

Судьбе было угодно, чтобы я простилась с отцом Александром не по-житейски (я так и не сказала ему «до свидания» в тот день), а стихами из поэмы «Мать Мария».

*На пути в земной Эдем
бьет неистово
кровь из отворенных вен.
Где же истина?
Может, тот ее познал*

*сквозь шумы и ветры,
кто в Петрухе распознал
камень новой веры,
для кого Господень день
вспыхнул заново,
кто в Андрюхе* разглядел
Первозванного?..
Как рыбешка на блесну:
— Уж я ножиком
полосну дык полоску
по угодничкам.
Ныне — этим, завтра — тем
будет солоно...
На пути в земной Эдем
все дозволено!*

Не хочу дара прорицательницы! Зачем он мне, если не помог убедить лучшего человека, встреченного за мой уже не короткий век, — Александра Владимировича Меня?

«Наши младотурки...» — с колючим выражением в глазах отзывался он о нетерпимой, агрессивной, сектантски замкнутой части околицерковных, новообращенных и о тех, кто железной рукой обращал их именно в эту, а не другую сторону.

Я не врубалась. Я думала: Христос всех примиряет. Он, Кто призывает любить даже врагов, тем более облегчит путь друг к другу братьям по вере.

В моем клишированном представлении воинствующие безбожники все еще взрывали стены храмов; атеисты брали приступом и никак не могли взять крепость, полную боголюбивых.

Какое заблуждение!

Да половина этих богоборцев давно уже уверовала и проповедует под видом христианского свой языческий символ веры.

Вместо достойного «разномыслия», которому, по слову апостола, «надлежит быть» между христианами, они могут предложить только кипящую склоку. Вместо открытости людям и миру — подозритель-

*Персонажи поэмы А.Блока «Двенадцать». Сравните с именами апостолов.

ность, зажатость, замурованность в сознании собственной непогрешимости. Вместо «ни элина, ни иудея» — прямой или подкольный антисемитизм.

Троянский конь внесен в крепость, и смерть героя — только вопрос времени.

«Однажды, — рассказывала Нина, — бросившись на зов внучки, он прихлопнул шершня. А потом сокрушался: убил существо со сложной нервной системой».

В то туманное утро, 9-го сентября 1990 года, перед выходом из дома он еще успел поиграть со щенком. Но постель осталась неубранной. Редкий факт, а то не обратили бы внимания...

ПЕРЕД КОНЦОМ

*Все ходят толки о последней фразе,
как будто бы им сказанной...*

Лесочек

*в обнимку с молодым микрорайоном
и есть его Голгофа?*

Боже мой...

*Рассказывая нам, крутым невеждам,
о лобном месте там, в Ерушалаиме,
он, отдавая дань патриархальным,
наивно-варварским приемам казни,
заметил, что с Распятым*

можно было

вступить в беседу.

Вот и с ним,

чья жизнь

являлась образцовым,

всецелым подражанием Христу,

перед концом

смогла вступить в беседу

простая женщина...

Когда в тумане,

испуганно взглядевшись на ходу,

она узнала батюшку во встречном,

а кровь
из мясником разрубленных сосудов
уже бежала на его пиджак,
конечно, в страхе, но и повинуюсь
естественному зову сострадания,
она спросила:

— Кто ж вас так?

— Никто.

— Помочь?

— Я — сам...

Однако есть и версия другая:

В лесу, на тропке, женщин
было две.

Одна заговорила,

а подруга,

боясь бандитов, молча

озиралась:

кто за кустом,

кто за большой осиной?

Осины что-то на корню засохли,

и не дрожат их листья,

трепеца

за грех Иудин...

Ничего не слыша,

она стремилась прочь

и не желала

стоять с окровавленным человеком,

хотя священником,

зато евреем...

Но я о той, о первой, милосердной,

пусть малое, но проявила чувство.

По версии другой

их разговор

звучал еще короче:

— Кто ж вас так?

— Никто. Я — сам...

За несколько минут до расставания

с любимым домом,

полным чудных книг,

*и дорогих людей,
и милых тварей
четвероногих,
да, одной ногой
уже в могиле,
но другой — еще
на нашей неустойчивой земле,
он вспомнил,
как взвалил на плечи гору,
завещанный апостолами груз,
и потащил.*

Один. Своею волей.

Битог. Бурлак. Бова.

Быть или не ...

«Быть, быть! — он говорил земле

и нам, землянам, —

Быть с Богом. В этом — все!»

Так стоит ли, он думал, удивляться,

что груз однажды раздавил его?

Откуда кровь, бегущая на грудь?

Кровоточит истерзанная вяь,

Кровоточат израненные плечи.

Вот почему он женщине ответил:

Никто. Я — сам.

Когда он лежал недвижно в своей церкви под невысоким куполом с писанными маслом четырьмя ключевыми сценами из Евангелия (Рождество, Сретение, Крещение, Голгофа), с четырьмя же шестикрылыми серафимами промеж них, — слушая службу, подынешь иногда очи горе и удивишься, как божественно красиво, не по-земному компактно сложены у них крылья, когда он лежал как мертвый, ибо и был мертвым, в Сретенском храме, никогда не видевшем его в покое, а тем более в оцепенении, одна местная прихожанка сказала, сокрушаясь:

— Как же наша любовь дала такую брешь, что его смогли убить?

Вопрос с точки зрения неверующего бессмысленный, на самом же деле полный таинственной глубины. Любовь, если она не плод горячки, — самое осязаемое чувство на свете. Она — ограда, Божий тын, Божья оборона, воздвигаемая любящим для безопасности любимого. «Да

хранит тебя любовь моя!» — это не поэтический образ. Это — реальность мира невидимого.

Прихожанка была права в своем горестном недоумении. Все мы теперь себя спрашиваем: «Как же наша любовь дала такую брешь, что его смогли убить?»

Господи, я ничего не умею, кроме как писать. Причем с годами не умею все больше и больше.

Отец боролся с нашим суеверием, столь противоположным вере, не спускал никому за кошачье пристрастие к «черному ходу».

Но, когда на третий день после убийства я выглянула в окно, белоснежный промельк на фоне еще зеленой сентябрьской листвы заставил меня вздрогнуть и вглядеться. Прямо перед моим окном на втором этаже, поперек ветки, застыло перо голубя, так похожее на гусиное. «Пиши!» — сказала оно.

Необычными показались мне две вещи. Что невидимая птица обронила перо у меня на глазах. И что оно, вонзившись в листву, осталось так надолго. На двое суток.

Не могу избавиться от мысли, что это был мне знак. «Пиши!», делай то, что не умеешь делать меньше, чем все остальное.

А чудеса продолжают.

— Вам была протянута рука! — сказал он 10 лет назад, когда мы в который уже раз анализировали «мой случай».

...Через несколько дней после похорон я пришла в издательство, где готовилась к выпуску моя книга «Праздник». В основном из стихов той поры и на тех «парах». Молодой художник, зная меня не знавший, изобразил на обложке два поля: земное и небесное. Сверху спускалась рука, слегка касаясь простертой навстречу ей неуверенной ладони.

Иногда в обшарпанных коридорах или на мусорных улицах эпохи Перестройки я встречаю людей не близких, но так или иначе причастных к «моей истории». Каждый второй спрашивает, не жалею ли я, что тогда не уехала. Не завидую ли тем своим коллегам, что процветают на Западе и сюда приезжают героями, мелькнут — и нет их. Кое-кто выражает сожаление, что удержал меня, дурак был, ни бельмеса не понимал. «Как живется за границей моему мужу?» — слышала и такой вопрос.

Муж мой никуда не уезжал. Работает в кино. Сделал несколько серьезных документальных фильмов. Выпустил автобиографическую книгу.

Я ни о чем не жалею. А завидую только себе прежней, сподобившейся видеть и слышать вещи, ценнее которых нет ничего на свете.

*Среди долины ровныя
был храм и рядом — дом.
Молитва чудотворная
струилась в храме том.
И, пролетая в облаке,
посланец высиих сил
черты их видел в облике
того, кто здесь служил...
А в доме, в нищей тесноте,
все книги, словари.
Здесь разворачивались те
пространства, что внутри —
внутри у каждого из нас.
Да будь ты мал и прост,
первотолчок хозяин даст —
и дух пускался в рост...
В ночь погружались дом и храм,
и делалось темно.
Но огонечки тут и там
мелькали все равно.
И не решался враг достать
тот огонь, ту мощь, ту крепь,
и не могла земля всосать
священный этот Кремль...
Однажды я пришла сюда,
отбросив дребедень,
в неделю Страшного Суда,
в пустой воскресный день.
Мой духовник трубил как в рог,
глядел, как Божий зрак:
— Мы думаем, что Суд далек,
а он уж при дверях...
...Стряслась беда народная.
Суд есть, да нет истица.
Одна долина ровная
без края и конца.*

Если от главной улицы Планерского вы захотите спуститься к морю самым впечатляющим путем, сворачивайте на улицу Победы и, преодолевая некоторую крутизну в облаках цветущих сиреней и каштанов, ступайте до искомого южного дворика, за которым и начнется спуск. Дворик обнимает несколько строений. Все они значатся под единым номером. И хозяйка одна — Надежда Максимовна, моложавая, работающая и жалостливая.

Мы застали ее за кормлением однодневных цыплят. Один желтый и десяток темных шариков так естественно вписывались в роскошный пух майского цветения, торжествующего обновления жизни, что совершенно стиралась грань между природой одушевленной и будто бы неодушевленной. Цыпленок напоминал цветочную гроздь. А зевы желтых акаций — клювы.

— Расскажите об Александре Мене. Или вам надо собраться с мыслями? Тогда мы позже зайдем.

— Чего собираться? Все у меня тут, в голове. Как сейчас его вижу. Да вы садитесь.

Да, снимал комнату несколько лет кряду. Первый раз перешел от других хозяев, с Айвазовской, и уже ее держался. Она все больше на работе, в пионерлагере, за жильцами не следила, разговоров не подслушивала. Но человека сразу видно. Один никогда не приезжал. То с женой, то с братом. Отец Алексей его сопровождал. Валя, ученая женщина, переводить ему помогала, по соседству жила. Писал вот в этой беседке, мурлыкал себе под нос песенки.

Прямо перед нами что-то вроде грота под навесом из дикого винограда. Со столом и скамейками на каменном основании.

— Рано вставал?

— По-разному. Я приду с дежурства — их уже нет. В бухты ходили, купались, загорали.

— В шортах? — это дочка спросила.

— Конечно, в шортах. Если их долго нет, я обед в полотенца заверну. Они вернутся — все горячее. Однажды вылечил меня.

— От чего?

— Не знаю, от чего. Захворала. И голова болит и сердце. Все как опустилось. Села и сижу.

— А он что?

— Подошел так заботливо, ладонь на затылок положил и вперед три раза провел. Ничего, говорит, Надежда Максимовна, через 20 минут все пройдет.

— Прошло?

— Двадцать минут посидела и выздоровела. Давай опять хлопотать по хозяйству.

— Говорят же, как рукой сняло, — вставляет дочка.

— Вот-вот, — обрадовалась Н.М. — Рукой снял. Всю мою хворь. Такой хороший был человек...

Она уже покормила цыплят пшеном, попоила водичкой из блюдца. Округлость ее ладони ни больше, ни меньше объема цыпленка. Один за другим пушистые комки отправляются в коробку, в складки ветоши, где мягко и тепло. Коробка затягивается марлей. От котов. Попутно хозяйка посвящает нас в тайны вылупления из яйца. Скорлупка остается чистой. Всякая слизь втягивается в цыпленка через попу. Так устроила природа.

— Вы верующая?

— Не сказать, чтобы очень. Но перед верой преклоняюсь...

Выходим на долгий косогор в поющих зарослях дикой маслины, граната и барбариса. Как неожиданно, под острым углом, открывается отсюда море. Как близок будто рубленный отбойным молотком тысячетный потухший вулкан Карадаг. Как лазурно-солнечен еще не покуртному пустынный берег Черного моря...

Яйцо — символ жизни, мягкое в твердом, живое во гробе, которое непременно проклюнется на белый свет. Уже проклюнулось. Трепещет в умелых руках хозяйки Меня, ест, пьет, хочет жить вечно...

Уповаю только на тебя, пасхальное обещание бессмертия.

*Коктебель — Москва.
Май — июнь 1991 года.*

P.S.

Четыре года прошло. Мы живы и в большинстве своем живем там, где он нам завещал, невзирая на путчи, взрывы и всякую чертовщину.

— Зло будет возрастать! — предупреждал он.

Его гибелью как будто открылся зловещий свищ: человеческая кровь течет и течет ручьями — не потекла бы рекой...

Вот поставила тремя строками выше нехорошее слово и вызвала недовольство отца Александра. Одобряет он меня или нет, я чувствую очень четко. А среди его рекомендаций есть и такая: не поминать нечистого. Тот очень мобилен. Вспомянули — он тут как тут.

Сорвалось с губ, потому что раздражена, подавлена. Незадолго до четвертой годовщины со дня гибели Меня дело по расследованию убийства было прекращено.

Мое неудовольствие случившимся разделяют многие. Не то чтобы мы жаждали кровной мести, нет и еще раз нет! Мы не в Чечне! Мы христиане и против убийств вообще!

Но пока идет такое следствие, сколько бы оно ни продолжалось, чувство грубо попранной справедливости теплится где-то. Пострадавший (а мы все тяжело пострадали) пребывает в надежде, что разум и закон еще что-то значат в этом иррациональном хаотическом мире.

В утешение, — как будто нас кто-то озабочен утешать, — к траурной дате в чудодейственно короткие сроки выросли два строения. В Новой Деревне рядом с прежним деревенским храмом красуется кирпичный, вызывающе современный. Настоящий дворец духа! Здесь будут не только крестить, хотя именуется: крестильня. Сюда перенесут богослужение, воскресную школу и все остальное, когда обветшалый Сретенский «теремок» встанет на ремонт.

В Семхозе на месте преступления появилась белая часовня. Откуда деньги? Пожертвования, собрание «по крохам», но крох оказалось немало. И, главное, спонсорство там, где его не ждали. Не все наши банкиры бездуховны. Попадаются денежные люди с тягой к высшему.

Стоя в толпе возле часовни, слушая богато модулированный голос митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (спасибо, что верен памяти нашего батюшки!), я отходила сердцем и, наверное, светлела лицом. Но стихи сочинились горькие. Потому что невозместима потеря. Никто и никогда, хоть двадцать лет пройдет, — а на большее не рассчитываю, — не заменит убитого отца.

Стихотворением «Часовня» я и закончу свое повествование.

*Между дубом и елью —
горше места не вспомню —
к годовщине успели
воздвигнуть часовню,
чтоб молиться за душу
убиенного... Отче!
Твой порядок нарушу:
молиться нет мочи...
Здесь его подловили*

*и терзали. На травах
были знаки насилья
среди пятен кровавых.
Порешили не сразу —
дали жизни кусочек
согласно приказу...
Как знаком этот почерк!
Верный Богу и долгу,
он поднялся, не зная,
что земную дорогу
продлит неземная.
Пусть в ажурных окошках,
малой церковке ровня,
подняла свой кокошник
соляная часовня, —
здесь, вблизи поворота,
где зло окопалось,
мне супругою Лота
она показалась.*

9 сентября 1994 года.

МЕСТО ПОМИНОВЕНИЯ

Столетие Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, более известной как мать Мария, прошло тихо. Несколько публикаций у нас и за рубежом. Несколько изданий. Отрывки из моей поэмы «Мать Мария» напечатали «Литературная Тверь» и «Наша газета» (Канада). Но свой «гонорарий», правда, ничего общего не имеющий с материальным вознаграждением, я получила до того, в августе юбилейного 1991 года.

Всякий, кто берется изучать жизнь матери Марии и ее сподвижников, заранее знает: он будет свидетелем великолепного взлета духа и обыденного до жути уничтожения плоти. Елизавета Юрьевна, ее сын Юрий, отец Димитрий Клепинин, духовный их брат И.И.Фондаминский окончили свои дни в лагерях смерти. Все участвовали в «Сопротивлении», и все за это заплатились.

Летом 42-го года почти 7 тысяч евреев были загнаны фашистами на парижский велодром. Условия были жуткие: скученность, грязь, вода из единственного крана — достойные врата на пути в концентрационный ад. Мать Мария, в облачении монахини, пронесла туда провизию, три дня провела с узниками, помогая им, утешая их. Нескольким детям она устроила побег: они были вынесены в мусорных ящиках.

Криминал из криминалов в глазах фашистов: подложные свидетельства о крещении евреев, дабы спасти им жизнь. Их выдавал о.Димитрий. Гибель матери Марии обрядилась в легенду: пошла в газовую камеру добровольно, по одной версии — вместо советской еврейки...

От внука о.Димитрия Антона Аржаковского я узнала: дьявольская затея гитлеровцев — изгладить самый след пребывания на земле удивительной монахини в миру и достойного ее священника не осуществилась. Нашлось и для них место поминовения. На Земле обетованной...

В саду Яд-Вашема, грандиозного мемориала жертв Второй мировой войны, на одной из окраин Иерусалима, есть Аллея Праведников. Вер-

нее, весь мемориальный сад — это Аллея Праведников: тысячи деревьев посажены в память тех, кто, не будучи сам евреем, помогал еврейскому народу в годину жесточайшего геноцида полувековой давности.

Молодой, бровастый, и от этого еще более мужественный на вид Саша, с карабином через плечо, сопровождал меня в поисках двух деревьев. Всего двух, столь же трудно различимых, казалось мне, среди леса других, сколь пара дорогих сердцу окон в ослепительном множестве жилого массива.

В музейном офисе нам дали контурный план сада, где крестиками поместили искомые деревья, указав их номера: Д-511 и Д-514. Методичный музейщик, по-русски не понимающий, на мое страстно-неуверенно-английское: «Мазэ Мариа! Рашшиа! Гэз кэмера!» отреагировал немедленно: «Скобтсова?» Я закивала: «Ес, ес, хё хазбэнд уоз Скобцов!»*

У меня и моего телохранителя, ребенком вывезенного из России, было мало времени. Дожидаючись нас, экскурсия томила около автобуса. В августовский зной это несладко. Мы почти бежали в указанном направлении. Четырехсотые номера... пятисотые... Холмы, взлобки, впадины... Рожковые деревья, туя, снова лиственные, прямо подмосковные... Вот же близкие числа — значит, где-то рядом. Нет, обрыв. Топографический и номерной. Дальше пошла шестая сотня. Неужели вернемся ни с чем?

Саша, поправляя карабин, скользнул в боковую просеку. Я осталась одна и почему-то лезу на откос. Все выше и выше. Впериваюсь в номера. Тепло... Еще теплее... Жарко!

Кричу: «Здесь! Сюда!»

Два дерева. На крутом косогоре. Волнуются на ветру, серебрясь листьями. С трудом веря глазам своим, считываю вслух с табличек: Мать Мария — Елизавета Скобцова; отец Димитрий Клепинин.

Саша поднимается ко мне, рад, дисциплинированный солдатик, что задание выполнено. Как ему объяснить, хоть он и понимает по-нашему, неизъяснимое?

У этих двоих нет могил, ни холмика, ни урны с прахом не осталось. Как в стихах русского поэта, их зарыли в шар земной, и он стал для них усыпальницей. Две невесомые горстки пепла прибавились к могучим доисторическим породам, слагающим земную кору. Но тут устроено место поминовения, есть жердочка для души. Говорят же верующие,

* Да, да, ее муж был Скобцов!

что у бессмертной души долгое время сохраняется астральная связь с землей.

Разворачиваемся и смотрим вдаль. Чудо-то какое! Отсюда виден весь Иерусалим, сновиденный город, белый на голубом, в солнечном сиянии, в удивительной перспективе.

Да это же почти видение Небесного Иерусалима, горного града Бога живого, каким он представляется апостолам, — упование рода христианского..

«Помяни, Господи, во Царствии Твоем Небесном злодейски убиенных мать Марию и отца Димитрия и прости им вся согрешения, и сподоби их вечная жизни».

КОНЕЦ СЕЗОНА

*** *** ***

Живу среди теней,
Не заходя за край.
Глас ночи мне твердит:
«Дозрела, умирай».
Глас утра: «Нет, живи,
Но строго пополам
Дели свою любовь
Меж тех, кто здесь и там»..
Как молод мой отец!
А мне казалось, стар.
Демидовский лицей,
Мазурка, топот пар.
Сегодня он танцор,
Назавтра адвокат,
Выделявает па,
Пока не сверзся в ад.
А мама косу вьет
В избушке без затей,
Где нечем щеголять,
Зато полно детей,
Младенец на печи,
Семья сам-девять. Дед,
Присяжный человек,
В цивильное одет.
Век-волкодав еще
В собачьей конуре.
Четырнадцатый год,
Начало, на дворе.

Как деву уберечь?
Студента остеречь?
Жизнь гибелью грозит,
Не обещая встреч.
А встретятся они,
Когда лицей, и дом,
И стройность бытия —
Все, все пойдет на слом.
Где папины друзья?
Где мамина семья?
У них есть только я,
Ребенок слома — я..
Чего же я скулю,
Что все идет не так?
Раз в сердце кавардак —
И в мире кавардак.
По милости небес?
Возлюбленных теней?
Но небеса молчат,
А тени все родней,
Хоть их давно уж нет,
Моя ж реальна плоть.
Как слом преодолеть?
Как хаос побороть?

*** **

От перебранки пухнут уши
И сохнут губы..
«Ты слушай, слушай!»
«Вот сам и слушай,
А мне не любо
В концерте, где мяуча, лая,
Грызут друг дружку,
Воронку к уху приставляя
Или заглушку..
У жизни много слов убогих
И чувств крылатых.

Идешь ты майским Коктебелем,
И старокрымский бьет загар.
Тюльпан, одетый
 мягкой хвоей, —
Вот воплощение твое.
А смерть, да что она такое:
Не — или инобытие?
В какую б бездну
 ни толкнули
Те, чьих имен не помяну,
Мне кажется, я вижу, Юля,
Вокруг тебя голубизну.
В каких бы ледяных объятьях
Ни сжали душу клещи зла,
Ее отмолит тот солдатик,
Которого ты вы-нес-ла.

** *** **

Вероника, вероника,
Как мала твоя чашечка,
Но под нею схоронена
В непогоду букашечка.
В наше лето короткое,
На земле загазованной,
Лист — меж божьей коровкою
И дырою озоновой..
Не субтильная женщина,
Помолюсь пред иконами,
Чтоб раз в двести уменьшиться,
Вровень стать с насекомыми.
Скрыться в травной обители,
Где живые — не лишние,
Только б очи не видели,
Только б уши не слышали..
Люди добрые, хуже вас
Нет, наверное, в Космосе!
Уж давно «фильмом ужасов»

Окрестила я «Новости».
Не на зеркало гневаюсь,
А на жизнь злополучную,
Где ведущая — ненависть,
А пройдохи — подручные,
Где ни Фета, ни Моцарта
Не хотят: «Вот пристаи еще!»
Где для тела не мертвого —
Никакого пристанища...
В эмигрантки и беженки
Горько метить по осени.
Да и всюду есть бестии:
Заманили и бросили.
Ни с какими ОВИРаи
Не желаю якшаться я...
Ну а вломится с вилами
Кровожадная шатия, —
Убегу без оглядки я
В колокольчики сладкие,
Схоронюсь остороженько
Под листом подорожника.

1993

КОНЕЦ СЕЗОНА

Позаброшенные дачи,
Запустение внутри,
Домовые наудачу
Подымают фонари:
Никого... Гниют стропила,
Прах и тлен берут свое,
А когда-то это было
Лауреатское жильё.
Все в инфляции сгорело,
Что копил для внуков, псих.
Главное же, было дело!
Оказалось: дело — пшик.

Все разъехались, лишь галки,
Слышно, каркают вдали.
А кого-то на каталке
В морг и дальше повезли.

*** **

«Челленджер», Чернобыль и Чечня
Суеверной делают меня.
На каком загробном лихаче
Проскакало это «че-че-че»?
В нравственном каком параличе
Прорастало это «че-че-че»?
Как мне знать: пилот или челот
Верный руль неверно повернет?
В зелень или чельень нуклеида
Смертоносную иглу вонзит?
Чет иль нечет?
Чаще чет, чет, чет.
Миром правит не Создатель —
черт.
Может, я чего-то упустила?
Че Гевара — Бог с ним.
Чекатило!

*** **

Христа суют куда попало:
В машину, в офис, в ресторан.
Он смотрит зорко и устало
С хоругвей не — и лжехристиан.

И думаешь в немой печали
Про Божество и большинство:
Уж лучше бы пинали, гнали,
Давали вышку за Него.

ПАСХА В АТЛАНТЕ

Догвуды, догвуды* цветут..
Я думала, яблони, груши.
Нет, тут не слышали «Катюши».
Скромней крупноцветный догвуд.
Он — ягодник: терн, но похуже,
Залетные птицы склюют.

Не все, что блестит, СКВ.
А впрочем, я знала об этом
И раньше, готовясь в Москве
Порадовать личным приветом
Знакомых атланток, — их две, —
Живущих евангельским светом.

Хозяйки мои — молодцы.
Хоть старше меня, но моложе.
В немыслимые концы
Гоняют машину, о Боже,
Как предки — коня, и, похоже,
Фортуну ведут под уздцы.

Музеи. Друзья. Вернисаж.
Сын с внуком. Кафе. Циркорама.
«Вот храм католический наш!» —
Меня информирует дама.
«Не наш!» — поправляет упрямо
Подруга, въезжая в гараж.

Две Пасхи волнуют меня.
Одна — методистская, в близком
Святылище в стиле английском,
В разгар лучезарного дня.
Другая — ночная.. Но я
Сначала пойду к методисткам.

* Деревья на юго-востоке США (буквально «собачий лес»).

Не прост протестантский обряд —
 В нем некая тайна сокрыта.
 На стульях, поставленных в ряд,
 Братаются плебс и элита.
 Умытые стены блестят.
 Уютно. Светло. Домовито.

Пресвитер — он в галстук под
 Цвет ряски, лесного ореха —
 Рассказывает анекдот,
 И все умирают от смеха.
 «Крайст ризэн!»* — и церковь
 встает —
 «Индида!»** — подтверждает,
 как эхо.

Страстную седмицу поста
 С надеждой живешь и опаской.
 Спринг Крик***, как Садовою-
 Спасской,
 Мы мчались на праздник Христа.
 Полночной увенчана Пасхой,
 Атланта, твоя красота.

Со звоном, но без куполов
 Церквушка — приют эмигранта.
 Служить без различья полов,
 Кровей, интеллекта, таланта,
 Английских ли, русских ли слов,
 Корейских ли — учит Атланта.

«Крайст ризэн!» — наш поп возглашал.
 «Воистину!» — мы соглашались.
 Три разных наречья мешались,

* «Христос воскрес!»

** «Воистину!»

*** Весенний Ручей — улица в Атланте.

Сам Бог их, быть может, мешал,
И Дух, где хотел, там дышал,
И стены любовью держались...

В местах, облюбленных мной,
Где синие луковки в звездах,
Где долгая служба — не роздых,
Не нужно мне Пасхи иной.
Свой храм дан в юдоли земной,
Свой пастырь потребен, как воздух.

Но душ и обрядов не счесть.
Смотрите: вот мир — откуда
Оно истекает, Бог весть.
Важна ли отделка сосуда?
Благая услышана весть.
И это — роднящее чудо.

За трапезой... Некто... Он был
Весьма компанейский и свойский.
«Смирновскую» залами пил.
Такого с портфелем, с авоськой
На улице встретишь московской,
Начитан, вальяжен и мил.

Но скоро его развезло,
Он стал на корейцев коситься:
«Смешенье племен — это зло!
Всем нашим пора отделиться!..»
И, так как уже рассвело,
Из трапезной хлынули лица.

Атлантки мои побледили.
Догвуды сомкнулись, как лес...

Христианство еще в колыбели.
Христос слишком рано воскрес.

ВОСЬМИСТИЦИЯ

*** **

Он и она — взгляните!
Их брак — их общий крест.
А некогда, в зените,
Им сдался Эверест.

Теперь, в иную пору,
Стал день и сер, и пуст.
Кто взял такую гору,
Тем не дается спуск.

*** **

Не доработала чревом —
Светом зажглась невечерним,
Лаской, терпеньем, любовью
Строила душу сыновью.

Что же так грубо и резко
Бросила сына невестка?
Чревом она не трудилась,
В мамки она не годилась.

*** **

Был человек, как лед,
Мучителен и сложен.
Но пеший переход
По льду всегда возможен.

Пригрело солнце — и
С ним жарко, как в котельной.
Все глубже полыньи
И все они смертельней.

*** *** ***

Записывай обиды на воде,
Зато благодарения — на меди,
Не падай духом при любой беде
И не труби кичливо о победе.

Согретая глаголами любви,
Жизнь запылала бы светло и жарко.
«Записывай», «Не падай», «Не труби» —
Твержу, как второгодница-школярка.

*** *** ***

Жизнь — это пестрый том,
Где сказка, стих, новелла,
Трагедия, притом
Поставленная смело.

В конце же предпочту
Простую песню или...
Или молитву ту,
Какую все забыли.

ПИСАТЕЛЬСКИЙ ГОРОДОК

Неясная поляна
Засажена капустой,
Звучит над ней Осанна
В честь жизни мясопустной.

Писателей, сраженных
Дороговизной пищи,
Наверно, пилят жены:
«Ты бездарь, ибо — нищий».

А муж себя не помнит,
Не рад теплу, природе,
И только громко стонет
О преданном народе.

Но рук, от лени гладких,
«Народ» не опускает
И с постколхозной грядки
Все кочаны таскает.

И есть свой босс, свой старший,
У воровской оравы..
А церкви Патриаршей
Так золотятся главы..

1996

*** **

Что нас ждет? Потоп? Обрыв?
Ноги в руки — мы пропали..
Дверцы шкафа отворив,
Достаю всего по паре.

Твой баул похож на склад,
Новоявленная Нойша!
Часть вещей летит назад,
Чтобы легче стала ноша.

За душою — ни копыя.
Успокойся, Бога ради:
В путь, который ждет тебя,
Никакой не нужно клади.

*** **

Павлу

Это просто гибель «Титаника» —
И не надо очень шуметь,
Надо только мужаться и тайненько
Все прибрать, все пересмотреть.

Помнишь фильм и ту мудрость высшую,
Что с экрана сошла на нас?
Помнишь пару: банкир с банкиршею
Как вели себя в страшный час?

Отшатнулись от вакханалии
(Выживай — это значит бей!)
И в каюту сошли усталые,
Как в последнюю колыбель.

Пусть спасутся ростки весенние,
Им еще зеленеть и цвести.
И учти: на Небе «спасение»
Означает не то, что здесь.

САНДРИКУ

Мальчишечка, февральский плод,
Свалившийся, как шишка с дуба!
Твоей судьбы дальнейший ход
На сердце напирает грубо.
Отдав за «Баунти» и «Марс»
Игрушечные баксы-марки,
Ты молча укоряешь нас
Грядущим, тонущим во мраке.
Твой чистый, твой высокий алыч
Начнет ломаться. Из пеленок
Крутой проглянет коммерсант,
Властитель синих и зеленых.
Кем хочешь, тем и будь, малыш,
Бог в помощь! Пусть твой бог — Меркурий.
Раз впрыгнул в поезд, в нем летишь,
Хотя вагон, как ад, прокурен.
Маячишь в куртке голубой, —
А может быть, она зеленая, —
Моя последняя любовь
И, как всегда, неразделенная.

*** **

Может, это последний снег.
Не последний, так предпоследний.
Он еще рассыпчатей тех,
Что сияли мне малолетней.

Может, это последний взлет.
Не подумала, виновата:
Не последний — последний тот,
Из которого нет возврата.

Может, это... Колдуй, колдуй —
Так легко себе напроорочить —
Предпоследний мой поцелуй.
А последний — будет короче.

*** **

Ты кто? Мой друг? А может, брат?
Любовь — натянутый канат.
Один конец — в моей руке,
Другой — в твоей, но вдалеке...
Представь, что эта часть земли
Ровней стола, что полегли
Столбы, деревья, города,
Из речек вылилась вода,
Под нами мертвенная гладь,
И нам канат над ней держать.
От нас зависит, жизни быть
Или совсем ее убить.
Я, точно тонущий пловец,
Хватаю ртом один конец,
Держу зубами — не рукой,
А ты держи конец другой.
Не охладей, не отрекись,
Давай мотай его на кисть,
Где был недавно перелом...
Удержишь? Знаю, что с трудом.

*** **

Кате и Диме

Слюдою заслоненный
От происков зимы,
Был гиацинт зеленый,
Как ветка бузины.
Вглубь луковкой вгрызаясь,
Ростком пробив песок,
Сначала поднял палец,
Встал будто на носок.
Прозрел и ранним утром,
Притормозив свой рост,
Рассыпался салютом
Малиновейших звезд.
Гони, цветок, скорее
Стрелу стреле вдогон.
В природной батарее
Дух роста заключен.
Сквозь пасмурные окна
Летят, ты видишь сам,
Незримые волокна
К могучим небесам.

*** **

Когда цветы цветут, они болеют...
Цветок в метро: помят его венец,
Под куполом листвы утрюмо тлеют
Пять лепестков, и каждый,
как рубец,
Кровавой гладью
вышитый на шелке.
Чтобы спросить названиее,
подойду
К той женщине, которая в кошелке,
В горшке, везет такую красоту.

Дрожит кошелка на полу вагона.
Мне кажется, цветок сошел с ума.
Его название — царская корона.
Могла бы догадаться и сама.

1998

ЛИХОСЛАВЛЬ

*Поэту Владимиру Соколову
в 69-й день его рождения*

Ели, ели, ели,
Изредка — сосна.
Здесь на две недели
Отстает весна.
Серая равнина
И зубчатый лес,
И почти не видно
Никаких небес.
Думали: фантазия,
Оказалось — явь.
Это через Вязьму,
Через Лихославль
Поезд шел на Тосно.
Псков их всех затмил:
Там случилось то, что
Потрясло весь мир.
Восемьдесят ровно,
Пала как, увы,
Царская корона
С царской головы...
В Лихославле Царской
Улицы нема,
Вдоль по Лихославльской
Новые дома.
Чей-то плат узорный
За угол ведет

К улице Озерной,
Где Володя ждет.
Если бы не мама,
Если б не сестра,
Тут зияла б яма
Посреди двора.
Дух железный мамин —
Будущим жила —
Заложил фундамент
Вашего жилья..
Собрались соседи,
Речи за столом.
Как безвещны эти
Клетки — две числом,
Как скудна природа!
Впрочем, дом как дом.
Сын «врага народа» —
Жить с таким клеймом..
Русская провинция!
И твоих пенат
Не шадит десница,
Тяжкая, как млат.
Вековая чистка,
Вечная беда.
Я не монархистка,
Но порою — да!
Кликнули соседки
Со двора. Иду.
На столбе беседки
В маленьком саду
(Подняла ее мастер
Из небытия)
Пишет мой фломастер
Строки из тебя.
Сверстники старели,
Бились за гроши,
А твои сирени
Так же хороши..
Для кого-то первый,

А для многих — лишь
Лауреат двух премий,
За отца не мстишь,
Ничего не просишь,
Глушишь тазепам.
Чтить поэта — роскошь,
Всем — не по зубам..
До-олго хоронили,
Снегом замело
На пути к могиле
Светлое чело.
Из-за океана
Прилетел, не рад
Роли Вальсингама,
Младший твой собрат* ...
Господи, таланты
Ныне так редки,
Полуэмигранты
Или босяки.
В гробовой отключке
Белый Божий свет,
Звук дошел до ручки,
Так что звука нет..
И тебя, Володя,
Сбросит с высоты
Это половодье
Глухонемоты.
Но падет, конечно,
Пред тобою ниц
Лихославль — местечко
Между двух столиц.

* Евгений Евтушенко.

*** **

Половина сверстников моих
Губы мочит в запредельном
Стиксе.
Я из тех — из худших,
из других,
Кто с подаянкой этой жизни
свыкся.

Лишь во сне
зеленый, заливной
Вижу луг. Уходит этим лугом
Тень, что прислана была
за мной,
Но упущена за недосугом.

1999-й

*Красота спасет мир.
Классик*

Дом опоясан трубами,
Желтыми, жирными, грубыми.
Пальцем ты в них не тычь!
Это — не безобразие,
Это — разнообразие,
Архитектурный кич.

Поговори с рабочими!
Выпивкой озабочены,
Красотою — ничуть.
«Газ, он такой, — не спрашивался,
В вашем подвале скапливался,
Запросто мог рвануть.
Вот мы его и вывели...»

Точно коза без вымени,
Без осадков июль.
Время тремя девятками
Наступает на пятки мне.
Скоро ли нуль, нуль, нуль?

Засуха. Сорок градусов.
Год этот — Нострадамусов,
Он предсказал: рванет!
Или же происки выкреста —
Злое число антихриста,
Правда, наоборот?

Трубы наружу надо бы,
Чтобы отпала надоба
В аварийке, чтоб мир,
Все просчитав заранее,
Жутким синдромом сдавливания
Тканей живых не томил.

Эквивалент тротиловый
С черепашьё-Тартиловой
Скоростью подобрал,
Громко, без комментариев,
Благодарю пролетариев.
Классик, увы, не прав.

Летнее ли, осеннее
Нам предстоит спасение?
Навсегда ли? На срок?
Рацио ли, юродство ли,
Красота ли, уродство ли —
Много к нему дорог...

Да поможет нам Бог!

МЕМУАРЫ

ЗЕМНОЙ ПРОВОДНИК

Двусветная аудитория Герценовского дома. За окнами — сентябрь с ранним золотым накрапом (после «холодного лета 53 года»). Евгений Аронович Долматовский, подтянутый, элегантный, редко остается на месте. Ходит по комнате, попыхивает трубкой с табаком «Золотое руно»; вокруг, кажется мне, разливается запах свежесваренного вишневого варенья. Чуть седеющие волосы как бы взметены поэтическим ветром. Этой особенностью его внешности широко пользуются карикатуристы, но я-то смотрю на него глазами благодарной любви. Это ему послала я, еще учась в десятом классе, на нескольких листах в клетку свои стихи, и он ответил мне, поблагодарил, сам предложил подать документы в Литинститут и, пробив защитные латы приемной комиссии, — кто в 17 лет не пишет стихов?! — без всякого блата втащил меня в него.

Помню, уже принятая, обалдевшая от удачи, сижу на Тверском бульваре и как примерная ученица читаю «Первые радости» Константина Федина. «Совращение в искусство» фединский герой приравнивает к «совращению малолетних»! Кольнуло в груди: на счастье ли, на беду ли меня приняли? Но быстро отпустило: конечно, на счастье!.

Сегодня — вторник. Первый творческий семинар. Мы, ученики Е.А., знакомимся друг с другом. Какие все разные — по возрасту, по типу, «по крови», — добавили бы гематологи от литературы, но тогда в ходу такого понятия не было. Первокурсников — трое, остальные — с других курсов, семинар давно устоялся.

Эта бледная женщина с медальонным профилем — аварка Машидат Гаирбекова. Не только в ее стихах, но и в печальном взгляде, за дымкой прожитой четверти века, — горы, дагестанские горы, и поэма, которую мы обсуждаем, называется «Горянка». Е.А. удивительно бережно говорит о ее стихах. Понимаю: нелегко женщине с гор спуститься на луговину мировой поэзии.

Чернявый, усатый, слишком воспитанный для джигита второкурсник — Рамиз Гейдар из Баку. Азербайджанский клекот его стихов не ложится на знакомую просодию. Очень живой, худенький юноша из Молдавии — Кирилл Ковальджи. Пишет по-русски нежную лирику и знает абсолютно все. Е.А. обращается к нему, когда надо вспомнить какое-нибудь редкое слово.

— Как называется основание скрипки?

Ответ незамедлителен:

— Дека.

Кирилл без перевода понимает стихи нашего румына Георгия Майореску. С удивлением узнаю, что молдавский и румынский — один и тот же язык.

Вон тот, похожий на Пушкина, с лицом неправильным, но прекрасным, с горячими глазами впереди лица — армянский поэт Паруйр Севак. А рядом с ним, защищаясь от чужой речи улыбкой итальянского киноактера, очень прямо сидит албанец Драго Силичи. Куда скромнее выглядит ни на кого не похожий, северного монголоидного типа, Ваня Гоголев.

Долматовский не устает восхищаться одним его образом: «Я вернулся к тебе, как стрела на излете». Правда, хорошо: тут и стремление, и усталость, и снайперский глаз охотника якута, и неожиданная зрелость молодого мужчины.

С первых же дней Е.А. прикрепляет меня для помощи в составлении подстрочников к Драго Силичи. После лекций мы остаемся в аудитории первого курса и буквально по словечку перекладываем, пока в прозе, его необычные стихи. Некоторые из них, говорит наш учитель, похожи на лабиринты, которые никуда не ведут. А стихи должны ...

— ... вести к победе коммунизма? — желчно насмешничает Владимир Карпеко. Он тоже первокурсник, хотя на 14 лет старше меня. Геройски воевал, награжден именованным оружием за храбрость.

Е.А. хмурится.

— По-моему, мы говорим не о политике, а о поэтике, — вразумляюще произносит он. — Метафора должна усиливать смысл, а не затемнять его.

Здорово ответил. Не одернул ученика, но показал, кто тут главный. Другому, может, и не спустил бы, а Карпеке «спускает». Володя весь изранен, месяцами валялся по госпиталям. Потому живет не в Переделкине, как большинство наших ребят, а тут же, во дворе института, в битком набитой комнате общежития. Став студентом, он стремился по-

пасть на семинар именно к Долматовскому, потому что воевал и побеждал с его песнями. Поэмы Е.А. он тоже высоко ставит.

Во вкусах я с ним солидарна, а его желчь пролилась мимо меня. О, у меня совершенно другой опыт и другое настроение. Полгода назад после уроков у нас была экскурсия по Москве. Глазели на новые станции метро, на недавно отстроенные высотные здания. Придя домой, я написала стихи, которые начинались так: «Я стою и люблюсь тобой, / Ты огромный, но легкий и стройный, / Белоснежный, прозрачный, спокойный/ И от неба чуть-чуть голубой. / Миг какой-то особенно важный,/ Будто я заглянула вперед./ Этот дом тридцатидвухэтажный/ В коммунизм непременно войдет...»

В моем «активе», как выразился Е.А., и стихотворение о казенных на электрическом стуле супругах Розенберг (знала бы тогда, что их тайна будет раскрыта чуть ли не полвека спустя!), и цикл стихов памяти недавно умершего Сталина. В марте этого года целых пять стихотворений вырвались из моей потрясенной души. Я сама не ожидала, что буду так горевать по Сталину. Гражданский пафос моих стихов близок Е.А. Так он мне сказал. Именно эти зрелые в противовес прежним, полудетским, вещи дали ему основание рекомендовать меня приемной комиссии.

В один из вторников, черных по колеру в моей памяти, руководитель семинара назначил обсуждение моих виршей. Как меня раздолбали! И Розенбергов, и многоэтажную высотку, и сталинский цикл.

— Чем ответственной тема, тем выше спрос за ее художественное, исполнение! — это Володя Карпекко; «художественного исполнения» у меня, выходит, нет...

— Автор не знает жизни, черпает материал из газет! — это Владимир Семакин, будущий «тихий лирик», провинциал, цену себе, однако, знающий.

— Кто такие Розенберги? Я фамилию выговорить не могу! — Ваня Гоголев.

— Слишком мастеровито для начинающей! — Ковальджи.

Машидат Гаирбекова сказала что-то доброе о любовной лирике, но ее оспорили: да, написано искренно, но старомодно. Кто в наши дни рифмуется «блаженство» — «совершенство»?

Наконец меня пожалел Паруйр Севак:

— Умерьте свой пыл, товарищи! Автору этих стихов 17 лет!

Е.А. точно этого и ждал. Присоединился к Севаку, чрезмерно щедро расхвалил какой-то мой опус. Но змея сомнений свернулась клубком

где-то в желудочке моего сердца. Так ли и то ли я пишу? Ясно, что не так. Но то ли?!

Несколько дней после разноса я ходила повесив голову. Хотела даже бросить институт. Но тут приблизились экзамены, завертелась сумасшедшая общестуденческая карусель, и я хотя бы на три недели забыла, что имею сомнительное счастье учиться не в обычном, а творческом вузе.

В декабре 54-го, в дни II съезда писателей, где мы побывали по пропускам, заботливо розданным Е.А., к нам на семинар пожаловали два немца. Не помню их фамилий. Известные писатели, из ГДР. Учитель начал с меня. А я как раз перед этим закончила написанное дольником стихотворение «Бетховен»: «Приемник зеленоглазый/ Плывет по сухим волнам./ Включу на коротких — сразу/ Врывается пьяный гам,/ Врывается джаз безвольный,/ И кто-то посуду бьет,/ И мне бесконечно больно,/ Что женщина там поет...»

Теперь, кого из шестидесятников ни спроси, все объясняются в закоренелой любви к джазу. Поднимают его на щит, обожают, мол, с пеленок, — только бы не заподозрили в ретроградстве. А я не была такой продвинутой, не боюсь признаться. Я ходила в консерваторию по абонементам, и джаз был мимо меня.

Однако соль стихотворения была в другом: «Диковина из диковин: / Я слышу, что это Бонн./ Бетховен, там был Бетховен/ Когда-то давно рожден./ Старинная черепица./ Столетних деревьев сеть./ Он мудро успел родиться./ Чтоб вовремя умереть...»

Немцы разулыбались, стали просить «Бетховена» для перевода, говорили, что таких молодых поэтов у них нет, они сейчас впервые узнали, что думает новое поколение. Вернутся домой, напишут статью и вставят туда мой стих... И, действительно, написали, и статья эта вышла в нашем журнале, но в ней сугубое внимание обращалось не на стихи, а на мой... студенческий чемоданчик (видно, таких у них нет). Не знаю, что думал по этому поводу Долматовский. Мне вдруг стало стыдно своих стихов. В печать я их не давала, в первую свою книгу не включила. Похоже, период ученичества подходил к концу.

Однажды Е.А. попросил меня перевести, уже стихами, несколько вещей Драго Силичи.

— Вы же их давно знаете изнутри. Работайте и добейтесь успеха!

Я билась над понятным, но от этого еще более неподатливым подстрочником долго, а потом вдруг все пошло как по маслу. Хочу привести тут несколько стрóf из одного стихотворения. Оно никогда не было опубликовано по-русски. Я в свое время не подсутилась, а Драго, оса-

нистый, белозубый Драго, уже окончив институт, погиб в авиакатастрофе, пролетая над Россией. Роковая судьба!

*Я не знал в тринадцать лет,
Что глаза имеют цвет, —
Кто мне мог об этом рассказать?
Я не видел зеркала,
А вода коверкала
И лицо, и губы, и глаза.
Но однажды летом
Все-таки об этом
Я узнал из очень странных слов:
С узкого балкона
Проститутка сонно
На людей смотрела, — нет, поверх голов.
И, обняв перила,
Вдруг заговорила
(Я не верил собственным ушам):
— Эй, змеиный мальчик ...
Зеленоглазый мальчик... —
И прижала палец к розовым губам.
Не забуду ввек,
Как бежал я вверх,
Но погас в глазах ее огонь.
Мой заплатаанный рукав
Тронула и, помолчав,
Высытала сольди мне в ладонь...*

Е.А. высоко ценил такие стихи. В них было все: время, судьба, взволнованность, точные детали, своеобразная тональность. Оставаясь албанскими, они были общечеловеческими. Кстати, он строго следил за тем, чтобы переводчик не очень вольничал: передавал не только внутренний, но и внешний рисунок стиха — размер, порядок рифм. Я благодарна ему за школу.

Раз уж я рассказала о судьбе Д. Силичи, не могу не отдать дань памяти Паруйра Севака. Многие знают: он стал великим армянским поэтом. Его «Несмолкаемая колокольня» — гордость нашего братского народа. Какова роль в его становлении семинара, об этом мог бы рассказать сам Паруйр, занятиями очень дороживший, редко пропускавший их. Но «армянского Пушкина» на белом свете нет. Он погиб в 1971 го-

ду в собственном автомобиле, нажав по ошибке (а может быть, сознательно) на газ вместо тормоза.

*Не символ ли это
Всей жизни поэта?*

Но пока, как поется в песне, «все еще живы»...

Чего никогда не было на семинаре, даже в зародыше, так это разделения и недоброжелательства по национальному признаку. Какую нравственную изжогу вызвал бы у «семинаристов» ходовой ныне неукусный новояз: «русскоязычные поэты». Ведь по этой терминологии и сам Евгений Долматовский — поэт русскоязычный. Непонятно только, почему народ русский (а не р. — язычный; р. — язычный в нашем случае, как известно, не народ, а «народец») вот уже более шестидесяти лет с упоением поет песни на его слова.

В конце 80-х слышала в сердце России, в глубинке (деревня Подгорка, Уметского района, Тамбовской области), как заливается доморощенный хор:

*На деревне расставание поют,
Провожают гармониста в институт...*

— Чьи слова песни, не знаете? — спросила я одного в рубаше навывпуск.

— Чьи-чьи... Народные! — отмахнулась рубаша...

Только недавно, из беседы С. Волкова с Анатолием Рыбаковым (ДН №1, 2000) я узнала, как вел себя Долматовский во время кампании против «убийц в белых халатах». Действие происходит в начале 53 года. Подписи под письмом, осуждающим врачей-евреев за их «преступления», собирали в редакции газеты «Правда». Многие известные евреи подписали это письмо. Далее — по тексту:

«У меня был приятель, мы вместе учились в школе — Долматовский Евгений Аронович. Еврей чистокровный. Его тоже вызвали в «Правду»: фамилия громкая — Долматовский, известный поэт. И он прямо оттуда приехал ко мне. Очень взволнованный. Говорит: «Знаешь, Толя, меня вызвали, чтобы я подписал письмо против врачей-евреев. Я отказался. И сказал так: я подпишу письмо, но в том случае, если его подпишут и русские поэты. Я не еврейский поэт, я русский поэт, я пишу на русском языке. Выделять себя как еврея я не могу».

Это — не трусость, это — в тех условиях смелость, это — его душевная суть. Согласиться на национальное, как и на любое другое отделяющее клеймо, он не мог и не хотел. Он естественно слился с народом, которому служил и как метростроитель, и как поэт, и как солдат, и как педагог. Он заплатил слишком высокую цену, — воевал, выжил в плену, бежал из плена, — чтобы подтвердить свое с ним единородство. И подставить под занесенный нож то, что было для него свято, равнялось для моего учителя, я думаю, душевной смерти.

Вторая половина пятидесятых ошпарила нас крутым кипятком: XX съезд партии, ошеломительные откровения Хрущева, возвратная волна реабилитированных, которых теперь можно было встретить на улице, в каждой почти коммунальной квартире, в каждой второй семье. Отец Долматовского, крупный юрист, не вернулся. О том, что у моего якобы благополучного учителя, видного поэта, знаменитого песенника, лауреата Сталинской премии, погиб отец (да не погиб — канул без вести, был ошельмован, оплеван, зверски уничтожен), я знала от своих родителей. Еще до моего рождения оба они работали в Союзтрансе, где и познакомились друг с другом. Отец Е.А. был связан с этим учреждением, они его помнили, потихоньку восхищались им, жалели о нем. И вот теперь выяснилось, что он ни в чем не виновен!

Не помню, чтобы Долматовский говорил с нами о своем горе. Видимо, оно опустилось в его душе на такую глубину, откуда ничего не поднимают. «Ревизионистские» настроения как будто миновали его. Он не был без ума ни от романа Дудинцева, ни от смелого отзыва Паустовского об этом романе, ни от «Рычагов» Яшина, ни от крамольного сборника «Литературная Москва» №2; как были в те переломные годы такие, как я, — впервые прозревшие. Но он и не менял на наших глазах свою позицию на противоположную, не перекрашивался, подобно хамелеону, во все цвета радуги. Он не был флюгером, и я его за это уважала.

Невзирая на все исторические толчки, атмосфера наших семинаров оставалась светлой, праздничной. Позволяла противостоять тому мутному, нечистому, недоброму, что всегда разлито в окололитературной, а еще больше — в литературной среде. Е. А. часто повторял: научить человека быть поэтом невозможно. Из огненного жерла Литинститута никто еще не вылетал более талантливым, чем попадал в него. Наблюдалось обратное: люди спивались, мельчали в дрязгах, зависти, злопахательстве. Он учил нас оставаться братьями и сестрами, раз у нас, таких несхожих, одна всепримиряющая мать: Поэзия.

Стихи предшественников и ровесников знал прекрасно. Мигом улавливал даже бессознательный плагиат. Грозно шутил:

— У нас попадают под влияние, как под трамвай! Обычные отговорки: «Я такого поэта не читал, поэтому не могу ему подражать» — вызывали в нем чувство, похожее на брезгливость:

— Как это не читали? Обязаны были прочесть! А если это правда, — еще хуже! Значит, чужие строки долетели до вас, покалеченные подражателями, но все равно узнаваемые...

Вообще шутка входила в его воспитательный арсенал. Обсуждали стихотворный перевод поэмы П. Севака «Друзья из Советашена». Один из его героев говорил прибаутками, и все в рифму. Звали его Арто. Е. А. состриг:

— У вас этот Арто — прямо как Барто!

На втором курсе на семинар пришли две поэтессы: Людмила Щипахина и Лариса Румарчук. Я была назначена Лориным оппонентом, старалась объяснить ее импрессионистские всплески.

— Тамара — ваша логика, — вздохнул Е.А.

Да, он любил ясные образы. Вот его реплика по поводу пастернаковского «Слезы вселенной в лопатках»:

— Надо давать комментарий, что такое «слезы вселенной», что означают в данном контексте «лопатки». А разве капля дождя на гороховых стручках — менее поэтично?

С ним спорили. Кирилл Ковальджи ссылался на опыт европейской поэзии, но автор «Любимого города» и «Случайного вальса» оставался непреклонен.

Недавно, перечитывая Блока, я вспомнила тонкое замечание учителя.

— «Шляпа с траурными перьями», — говорил он, — пример того, как фонетика перетекает в смысл. «С трау» дает нам представление о страусовом пере.

Не могу сказать, чтобы он как-то выделял меня из прочих. Но его «скорая помощь» прибывала всегда в срок. Он сам передал в журнал «Смена» стихи «Моя Зоя» — они стали моей первой публикацией. Сам отнес в «Новый мир» Софье Григорьевне Карагановой несколько моих новых вещей. И они вышли в свет: стихотворение «В пионерском лагере» в 1955 и «Ожидание» — в 1956 году. Пусть великая русская поэзия не особенно обогатилась этими стихами, — для студентки писательского вуза это было событие не меньшее, чем последовавшее за ним вскоре получение диплома...

Поверив в кого-то, дав человеку шанс, он уже не отступал от своей веры. Надо было совершить что-то поистине чудовищное, чтобы он разочаровался в своем ученике, остыл к нему. Не исключено, что так же обстояло дело с магнетическими идеями, с обществом «социальной справедливости», на которое он когда-то поставил...

Получив по почте мою первую книгу «Район моей любви», Долматовский мне писал:

«Она доставила мне подлинную радость — свежая, чистая, умная, современная (я придаю этому слову его первоначальный смысл). Новые стихи хороши (для меня) тем, что вы не поддались на дешевую моду, остались пионеркой и комсомолкой. Я уверен, что у вас есть и будет большой читатель, не скандалов, а прозрений ищущий в поэзии. В отличие от своего старого учителя вы немногословны. Но не мало ли вы пишете, все-таки?.. С нетерпением жду 2-й, 3-й, 4-й ваших книг! 16.3.63г.»

«Старый учитель» верно почувствовал мой «потенциал»: при его жизни у меня вышли еще три книги.

Вероятно, из «пионерок» и «комсомолок» я непоправимо выросла, потому что нанесла Долматовскому удар. Жена Е.А. Мирослава Иванова рассказывала мне, как болезненно переживал он то, что произошло в моей жизни в конце 70-х. Моя семья решила эмигрировать, и я, естественно, тоже: муж, дочь — самые близкие люди, что остались у меня на земле. Как тогда было принято, меня тотчас исключили из Союза писателей, перестали печатать, даже упоминать мое имя.

Когда же, пережив домашнюю бурю, я переменяла свое решение, первый, кому я позвонила, был Долматовский. Совсем не глядя меня по головке, а держась довольно сурово, он неопределенно пообещал мне помочь. Но сделал больше, чем обещал. По его подсказке Маргарита Алигер записалась на прием в ЦК партии (шел 1981 год), имела обо мне беседу, после чего, хотя и далеко не сразу, я была восстановлена в Союзе писателей, получила литературную работу.

Прошли годы... И вот мой долгожданный праздник: творческий вечер в Центральном Доме Литераторов. Я пригласила Долматовского. Он пришел, скромно занял одно из зрительских мест. Полный Большой зал, надеюсь, порадовал учителя. В тот день, 5 марта 1989 года, среди выступающих был и протоиерей Александр Мень. Менее чем за год до того ему, долговременной персоне нон грата, разрешили, наконец, выйти к народу, общаться не только со своими духовными детьми, но и со всеми, кто жаждет услышать слово пастыря. Я ужасно волновалась. В зале — мой старый учитель, у него свои представления о ценностях худо-

жественных, да и духовных. На сцене — мой новый учитель — небесный проводник, мой духовный отец, на исповедь к которому (церковную!) я ездила более семи лет, который знал обо мне все, что знают самые доверенные люди, и даже больше...

После вечера Долматовский позвонил мне, поздравил, отметил более удачные и менее удачные стихи из тех, что я прочла со сцены. И вдруг сказал:

— Лучше всех выступил этот поп... — и объяснил, почему, лишний раз проявив способность емкой души к неожиданным трансформациям...

— За державу обидно! — последняя фраза, что я слышала от него. Он произнес ее сдавленно, чужим голосом на похоронах Маргариты Алигер, в старом крематории у Донского монастыря, принявшем спустя несколько лет и его прах. Обращался Е.А. не к публике, а к нам двум своим ученицам. На проводы обеими нами любимой Маргариты Иосифовны пришла и Лариса Румарчук.

Потом я слышала, как потряс его сам факт: мертвую Алигер, друга его юности, обнаружили недалеко от дачного Переделкина в канаве! Горечь была бы еще сильнее, вспомни он в этот миг, что и отмеченного им «попа», о. А. Меня, незадолго до того нашли в Подмосковье убитым, умершим у своего дома, «под забором».

История сама торит свои пути, и человеческая мысль не поспевает за ней. Назад идти — невозможно, а вперед — страшно.

Но как бы низко ни падал барометр политической погоды, слава Богу, есть еще в жизни вещи незывлемые. Услышав по радио или ТВ песню на слова Евгения Ароновича, уловив все более редкий запах трубчатого табака «Золотое руно», я чувствую молодое волнение. И вижу двухсветную аудиторию Литинститута, нас, учеников-стихотворцев, связанных друг с другом, как живая гроздь, готовых к восхождению на все удаляющийся, доступный мало кому из смертных Парнас. А впереди он, наш опытный, вдохновенно-красивый, как и должен быть поэт, мой земной проводник, Евгений Долматовский.

«ОТ ПРОШЛОГО ЖИЗНЬ ПРОСТОРНЕЙ...»

У меня сохранился октябрьский номер журнала «Юность» за 1960 год. Не по случаю 8-го марта, а просто так, без повода, редакция дала заметное место сразу четырем поэтессам. Вот они, на снимках: Новелла Матвеева, Светлана Евсева, Инна Кашежева и аз грешный (или грешная?). Самая молодая из нас, — моложе и быть не может, — Инна. Ей шестнадцать. Она — школьница, стихи тоже школьные, но в них уже есть изюминка, не из пирога с выпускного вечера, а... Когда в давяльне давят виноград, остаются ошметки ягод, они тоже похожи на изюм: «...Там садик и там скамеечка, / За низким забором — трава./ Ты говорила, девочка,/ Там ласковые слова.../ Там ночь не кончалась долго,/ По щиколотку роса.../ И Яуза кажется Волгой,/ Только сощури глаза...»

Представляю, сколько тогдашних девчонок переписали эти стихи в свои альбомы, ученические и студенческие тетрадки! Эстрадное, аудиовизуальное пространство, в которое скоро выйдет Инна, уже подготовлено, чтобы встретить ее благодарными аплодисментами. Звучание звучанием, а стихи стихами, особенно если броские, запоминающиеся, напечатанные в суперпопулярном журнале. Недавно «Юность» отпраздновала свое 45-летие. Сколько же лет нам, ее дебютантам!..

Стихотворный бум начался в 61-м. И Инна сразу попала в обойму поэтов-чтецов. Тоненькая, стриженная под мальчика, всегда в брюках и спортивном свитере, она ошутимо вибрировала на сцене, как, должно быть, ее предки в кабардинском седле. Вибрировал ее низкий проникновенный голос, вибрировала ее душа, и эти невидимые пульсации передавались слушателям, сжимали горло ответным волнением, заражали какой-то инакостью, «Может, стану не просто Инною,/ Может, стану совсем иною...» — залихватски играла она со словом. И верилось: сейчас произойдет метаморфоза, и эта семнадцатилетняя выдаст что-то такое, от чего окончательно померкнут усевшиеся с ней на сцене за один стол «старики».

«Уютно быть не сценой — залом...» — скоро напишет Евтушенко. Из уютного зала Инна наверняка казалась баловнем судьбы, младшей сестрой Булата Окуджавы и Фазиля Искандера. Взять бы снова в руки глянцевого журнал — чешский? польский? — с Инной Кашежевой на первой стороне обложки! Вот оно, воплощение «оттепленного» поколения советских людей, никем не декларируемой свободы слова, родившейся в самых недрах нового многонационального общества! Но что-то уже хрустнуло, надломилось в ней — нелегко быть «воплощением». Помню, как после одного успешного, но изнуряющего вечера поэзии она сказала мне, что микрофон кажется ей аэрофлотским пакетом для блевотины. Так переживала возможность провала? Боялась недобрать хлопков, вызовов на «бис»? Но провалов не было. Проходила или первым, или вторым номером после сильнейших: Жени, Булата, Беллы, Роберта...

Поэзия — не спорт, и соревнование в ней, борьба за несуществующие медали весьма условны. Но какие-то издержки борцовского состояния нам передались. Особенно когда вышли на эстраду Лужников и, ослепленные софитами, вперились во тьму 13-тысячного зала. Из нашей «великолепной шестерки» половины уже нет в живых: Булата Окуджавы, Николая Анциферова, а теперь и Инны... То был не вечер — скорее утренник поэзии. Два утренника подряд: в субботу и воскресенье. В воскресенье все прошло без сучка, без задоринки, а в субботу случился небольшой скандал. Мы еще не знали тогда, что зрительный зал, тем более такой огромный, в шевелящемся мраке, — непредсказуемое живое существо, монстр со своим норомом. Наталья Астафьева, поэт трагического мироощущения, с непривычной поэтикой, первым же своим стихотворением не угодила слушателям. Поднялся шум, он нарастал, нашей подруге не дали дочитать стихи. Она резко оборвала себя и села на место. После нее выступала я. Товарищеский долг требовал, чтобы я заступилась за Наташу, что я и сделала, естественно, напортив себе. И пусть в ту январскую субботу 1963 года по количеству аплодисментов я оказалась в хвосте шестерки, — именно с того дня, как мне кажется, Инна возлюбила меня. Потому что товарищество, по кавказской ли, по русской ли традиции, было для нее главным в жизни. Положить свое благополучие, свой успех на алтарь братства-сестринства, считала она, такая же счастливая необходимость, как, скажем, любить своих родителей. А своего отца-кабардинца, военного летчика, и русскую маму Инна очень любила.

Десятилетия спустя она попыталась осмыслить свой и наш общий опыт публичного чтения стихов:

*Мы пробивались сквозь табу,
искали черный ход,
чтоб превратить ее, толпу,
опять в родной народ.
Мы поднимались в небеса,
парили в облаках...
Остались наши голоса
навек в Лужниках.*

Усилия шестидесятников, в том числе и нашей братии, оцениваются сейчас разными толкователями в прямо противоположном смысле, от сдержанного «да» до упрямо-скептического «нет». Про «да» Инна сказала. Если «нет» — все наоборот: сквозь табу на пробилась, толпу в народ не превратили. Парили в облаках — ишь какие Гагарины нашлись! Ничьи голоса нигде не остались, поэты-самозванцы только тешили свое самолюбие... Для Кашежевой не было худшего оскорбления, чем подобные выкладки.

Шестидесятые годы как сблизили нас с Инной, так и развели. Конечно, общее дело сводило еще не единожды. При рукопожатии тепло из ее крепкой ладони проникало в мою и доходило до сердца; то же, надеюсь, испытывала и она. Но при обилии новых литературных знакомств Инна оказалась для меня на обратной стороне луны. Она очень долго, гораздо дольше положенного срока училась в Литературном институте. Стала завсегдаем ЦДЛ. У нее появились «звездные» знакомства: Татьяна Самойлова, Владимир Высоцкий, Олег Даль, Геннадий Шпаииков и Инна Гулая... Я вышла замуж, родила ребенка. Узнав об этом, Инна немедленно купила коробку шоколадных конфет и послала моей дочке, которая еще и сосать-то толком не умела. Об ее личной жизни говорили глухо. Якобы пробыла замужем всего несколько дней и зареклась на будущее. Так ли это? Не знаю, не проверяла.

Перед нашей свадьбой мой будущий муж всю ночь читал первую Иннину книгу «Вольный аул», вышедшую в Нальчике в 1962 году. Кайсын Кулиев писал в предисловии к этой красивой, с оранжевой косулей на суперке книге: «Стихи своей свежестью произвели на меня такое впечатление, словно в жаркий летний день, в тени, я взял в руки только что расколотый арбуз или увидел заалевший на заре кизил в предгорьях». Очень точно сказано. Вся книга пронизана горько-сладким ощущением надвигающейся любви, ее нетерпеливым ожиданием. Как предсвадебное чтение она пришлась по вкусу и моему избраннику. Шутя, мы на-

зывали Инну нашей свахой. Она возликовала, когда я как-то на ходу упомянула об этом.

В то время сложился тандем: Римма Казакова и Инна Кашежева от Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы стали ездить по городам и весям нашей необъятной Отчизны. Они читали свои стихи, отвечали на вопросы любознательных слушателей. Даже одна облетевшая страну песня — визитная карточка поэта. А песен у Инны было в ту пору много. Знаю, слышала, что выступления двух поэтесс проходили на большом подъеме. Книги разлетались мгновенно, да ведь и стоили копейки... Забросила их гастрольная судьба и в Тирасполь, откуда был родом мой муж. «Мы никогда не были в вашем городе, — сказала со сцены одна из них, — но наша подруга Т.Ж. вышла замуж за вашего земляка...» Было названо его имя, весьма известное в небольшом молдавском городе. Зал воспринял это горячо. Началась буквально овация. Авансом, до чтения стихов. «Успех был нам обеспечен», — с юмором закончила свой рассказ Инна.

Впоследствии вспоминала эту историю и Римма. О своей напарнице отзывалась повышенно хорошо. В трудных обстоятельствах ее жизни Инна проявила себя по-рыцарски, вернула ей веру в талант, вдохновляла и поддерживала ее.

Кашежева была близорука, носила очки, которые то снимала, то надевала вновь. Коллеги-мужчины, Евгений Храмов и Олег Дмитриев, называли это «стриптиз по-кашежевски». В мужском кругу особенно ценили ее отзывчивость на шутку. Она подхватывала чужие остроты, придумывала свои. «Иду как по льду к Леопольду» — это о многолетнем ответственном секретаре «Юности», — все мы так ходили к Леопольду Железнову. «Грустно плачут Гек и Чук: где Лариса Румарчук?» — о нашей общей приятельнице, поэтессе. Когда Михаил Дёмин, поэт и прозаик, уехал на побывку во Францию и не вернулся, оставив тут безутешную жену и падчерицу, Инна так отозвалась об одной актрисе, перефразировав Лермонтова: «Прекрасна, как ангел небесный, / Как Дёмин, коварна и зла...»

Как обозначается в кино большой проскок времени? Просто пишется словами: десять, или двадцать, или тридцать лет спустя. Для наших судеб это реальная протяженность, а для вечности это ничто; поэт же, независимо от масштаба дарования, природой научен смотреть на все с точки зрения вечности. Инна знала:

*Поэтами рождаются, и это
там где-то в небесах предreshено.*

*И загодя налито для поэта
отравленное вечностью вино.*

Осенью 94-го кабардинский поэт Зубер Тхагазитов пригласил меня на свой юбилей. Все было по высшему северокавказскому образу: утопающий в зелени Нальчик на фоне гор, длинные столы со словоохотливым тамадой, здравицы в честь юбиляра и стихи, стихи — по-кабардински, по-русски... А там, на границе с Чечней, уже закипало ядовитое варено, уже разносился флюидами теплого воздуха дух братоубийства, который скоро унесет столько молодых жизней.

Вернувшись в Москву, я позвонила Инне, поделилась с ней своими впечатлениями, своей тревогой. Она обрадовалась моему звонку и тотчас выслала мне почтой свою новую книгу «Старинное дело» с эпиграфом из Блока: «Что ж, пора приниматься за дело,/ За старинное дело свое». К обороту твердой обложки были приклеены отпечатанные на машинке стихи. Поздравление с Новым 1995-м:

*Ах, Тамара!
Наша доля-кара.
Мы с тобой в прекраснейшей тюрьме.
Пусть богатство нас, увы, не встретит,
но зато нам солнце строчек светит,
светит даже в самой темной тьме.
Не грусти, старинный мой товарищ,
жизнь бессмертием не отоваришь.
Нет таких, как мы с тобой, окрест,
потому что мы из боли родом.
Милая подруга! С Новым Годом!
Бог не выдаст, а Свинья не съест.*

Что Бог с прописной буквы, это было мне понятно, а вот что Свинья... Видно, через Свинью Инна выразила все зло мира, видно, Она или оно сильно доставали мою коллегу все эти годы, хотя выходили у нее книги, пелись ее песни, была «выездной», завязывались и распадались, всегда распадались драгоценные дружбы.

Книга, напечатанная в Нальчике и совершенно не замеченная в Москве (к этому времени поэзия уже была жестоко разжалована из царицы в девку-чернавку), поразила меня горечью, упрямо-ребячливой верностью поруганным идеалам молодости. Хотя сама долгая и цепкая

молодость больше не держала ее в плену: «Моя блистательная юность,/ неоперенная душа./ Я не хочу, чтоб ты вернулась,/ я радуюсь, что ты ушла./ К вершинам вечного Парнаса/ твой путь безоблачный лежал./ А у меня иная трасса./ за перевалом перевал».

Когда-то москвичка-полукровка писала о Кавказе как о любимом человеке. Теперь от соседнего с ее прародиной Кавказа, уже примеряющего по-змеиному пятнистую военную форму, она обороняется по-детски беззащитно: «Кавказ, не бросай Россию!/ Пять почти что веков/ нельзя подделатъ, как "ксиву",/ дробя на силу курков.../ Ты не спеши мессию/ нового принимать./ Кавказ, не бросай Россию!/ ..Отец любил мою мать».

Да, в чем-то Инна осталась тем чудо-ребенком, что победоносно возник и укрепился на поэтической эстраде 30 лет назад. Основной раздел книги называется «Пожилое детство», так что на свой счет она не заблуждалась. Но теперь ей было не занимать мудрости и преждевременного, как показалось мне тогда, чувства скоротечности нашего века на земле.

*Жизнь-одуванчик, мы — пушинки,
дунь, и кого-то нет уже...
А если дунут по ошибке,
куда лететь моей душе?
Не знаю мира я иного,
любя земные рубежи...
Душа к полету не готова.
Поосторожнее дыши.*

Инна была очень начитана, в чем я позднее могла убедиться, но начитанностью в нашем поколении никого не удивишь. Удивляет другое... Когда человек не по ступенькам проходит всю божественную лестницу постижения важных и трудных вещей, а будто по наитию взлетает сразу на верхнюю площадку. «Церкви полны, а Христос одинок», — роняет она между прочим в одном из стихотворений, и за этим открывается бездонность.

Такие во всем разные, разойдясь на десятилетия, мы пришли к одному, и так не хотелось терять его! Только в Инне оказалось сильнее, чем во мне, чувство собственной греховности — верный признак того, что называют внутренним «анонимным» христианством (крещеной она не была).

*Сперва грешу, а каюсь после,
святых моля.
Поэтому в грехах, как в оспе,
душа моя.
Она лежала в колыбели,
спала, как ты,
а для нее уже кипели
в аду котлы.
Мы перед Богом все ответим,
ты погоди.
Но по количеству отметин
я впереди.*

Что я могла для нее сделать? Немногое: пригласить сотрудничать в газете старшего поколения «Достоинство», где тогда работала. Она согласилась. И за несколько месяцев сделалась «золотым пером» нашего авторского актива. О чем бы ни писала, — а чужих тем для нее не было, — складывала свои эссе, мемуары, как стихи, выходила к людям открытая, без брони, делилась самым сокровенным. Если наши бедные читатели-пенсионеры (а у многих не хватает денег даже на конверт и марку) присылали в редакцию свои отклики, то в основном Инне, искали понимания — у нее, дарили свои книги — ей. Сто сорок тысяч был тогда тираж у «Достоинства» — будем считать, что Инна Кашежева удесятерила против «лужниковского» число своих поклонников.

Об Отечественной войне писала со страстью, считала ее делом семейным: отец и мать встретились на фронте. Гордилась тем, что рождена 23 февраля — в день армии.

С неменьшей страстью размышляла о поэзии и Пушкине. Все «пушкинские страницы» были ее. Находила, как и в стихах, бьющие наотмашь образы: «Крахмальное жабо пушкинского фрака уже превратилось в белый круг мишени». Дерзко обобщала: «Поэзия не религия, но в ней есть свои святые, апостолы и великомученики». Вспоминая друзей-актеров, ставших знаменитыми (почти все ушли безвременно), гальванизировала их силой своей памяти, оживляла — силой любви. «От прошлого жизнь просторней,/ как комната от зеркал» — вот ее кредо..

Врезались в память некоторые наши телефонные беседы, ее возбужденные реплики.

— Мы с тобой цеховики.. Когда умирает поэт, остается вдова. Она, если баба стоящая, все написанное им соберет, постарается издать, вы-

колотит из друзей воспоминания. Когда умирает поэтесса... — тут она сделала паузу, и что-то забулькало на том конце провода... Неужели опять пьет? — ...муж, даже если он был, заниматься этим не будет. Поэтому надо писать о поэтессах...

И писала: о Юлии Друниной, о Светлане Кузнецовой, о тяжело больной Антонине Баевой.

К 850-летию Москвы в издательстве «Искусство» вышла антология женщин-поэтесс за 200 лет: «Московская муза». Участница и составитель сборника Галина Климова попросила меня провести в ЦДРИ вечер презентации. Участниц приглашала я сама. Инна, разумеется, не была забыта. Но вот придет ли? Обычно от «светских» приглашений она отказывалась, сочинив правдоподобную причину.

Пришла. Правда, с запозданием. Ей похлопали. Многие в зале видели ее после долгого перерыва. Некоторые, включая и выступающих, впервые в жизни. Да, она пришла, строго, не расхристанно одетая, но в каком состоянии?.. Сначала я не поняла, что с ней, подумала — хворает, но преодолевает хворь. Или чрезмерно волнуется. Неужто и в пятьдесят, как в двадцать?.. Поскорее дала ей слово. Господи, она едва держалась на ногах. Читала нечто малоразборчивое. Забывала, бросала, начинала что-то другое. На мое замечание грозно обернулась: «Ах ты, змея...»

Инна чуть не сорвала вечер. Уговоры знакомых типа: «она внесла оживление», «это была отдушина при общей серьезности» на меня не действовали. Я всерьез рассердилась на нее.

Прошло недели две. Звонок. Трезвейший, яснейший, как утро в горах, голос. И детские обезоруживающие слова: «Прости меня. Я больше не буду. Только прости». И снова начались наши деловые встречи.

Встречались мы с ней обычно на Шаболовке, напротив первого телецентра, столь гостеприимного когда-то для молодых поэтов. В костюме амазонки, в темных очках, с палочкой после перелома ноги, радостным выражением лица она опережала наш краткий разговор. Протягивала мне, всегда на белоснежной бумаге, требуемые форматом газеты шесть с половиной страниц.

Приходила и в редакцию. Всегда с подарками. Узнав, что интересуюсь историей гибели царской семьи, стала приносить редкие издания на эту тему, в основном зарубежных авторов. Мое пристрастие уважала, но не разделяла. «Я по природе разночинец», — говорила она. Для нее существовали лишь два Александра: Александр I — Пушкин, Александр II — Блок. Есть стихи об этом.

К себе домой не звала. Знали, что живет в тесной квартире с Наташей, которую называла сестрой, и ее дочкой Машей, студенткой. Догодавались, что несмотря на это — одинока.

*А мне еще так хочется
опять сойти с ума!
Страшнее одиночества
лишь только смерть сама.*

Сгорела от рака Наташа, врач по профессии, заботница, домохозяйка. И Инна резко пошла на спад. Отгороженная от мира и всех нас телефонным автоответчиком, она все реже выходила на контакт, жаловалась: «Ноги не ходят. Я — как Маресьев», в газету больше не писала. О том, что умерла на 57-м году жизни «от сердечной недостаточности», в редакции «Достоинства» узнали не сразу. А многие ее читатели и коллеги не знают до сих пор.

Если умирает поэт...

Если умирает поэтесса...

Если умирает...

Если...

— Поэзия — это самовыражение, а не самоутверждение. Автор же лезет вон из кожи, чтобы показать: вот я какой, вот на что я способен.

— Но Давид! — восклицает Вера Клавдиевна Звягинцева, пальцем прижимая к близорукому глазу одно очко, отчего вся оправа идет несколько вкривь. — Молодости так свойственна боязнь показаться неоригинальной!

— В поэзии надо быть, а не казаться...

«Молодость» — это в данном случае мы, участники переводческого семинара при МО СП СССР, горстка непонятно даже кого: то ли пробующих свои силы переводчиков, то ли непризнанных дарований, иные из которых возомнили себя поэтами. «Пробующим», а тем более «непризнанным» не платят или платят плохо, а жить нужно. Поэтому все мы худо-бедно, но состоим при деле. Сергей Поликарпов работает в издательстве «Молодая гвардия». Анатолий Якобсон учителствует. Я сотрудничаю в журнале «Крестьянка». Самая профессиональная из нас, пожалуй, Дина Орловская. Она перевела стихи из «Алисы в стране чудес» и детским голосом, хотя сама далеко не девочка, выкладывает перед нами такие безукоризненные кубики четверостиший, что даже язвительный Давид Самойлович, не найдя, к чему придраться, и явно заскучав, одним мановением руки как бы сметает все изящное строение и требует у Дины ее собственных стихов.

Наши стихи — для него богатая пожива. С костяка формы безжалостно сдирается мясо содержания. О чем пишет автор? Почему так мелкотравчаты его мысли и страсти? Самый костяк хладнокровно простукивается и просвечивается. Достается и за унылую интонацию и за бедные рифмы.

Семинаристы заглазно называют Самойлова Малюткой Скуратовым. Но считаются с ним, приносят на его суд чуть ли не каждое новое произведение. С похвалой учителя ходишь, как с орденской лентой через плечо.

— Ты чего рассиялась? Малютка приголубил?

Едва ли не самым ругательным в ту пору было слово «литературщина». Оно означало отказ от первородства чувств и впечатлений, следование в фарватере заемного поэтического опыта. Самойлов не любил вторичности, высмеивал потуги окультурить стих чисто внешне, насаждая вершки, а не корешки накопленного предшественниками. Однако плохую книжность отличал от книжности хорошей, которую впоследствии назвал причастностью к знаковой системе культуры.

За «литературщину» часто влетало Толе Якобсону. Несдержанный, гудящий, как встревоженный пчелиный улей, он был влюблен в поэзию и, как большое дитя, путал свое и чужое. Это от него я услышала ахматовское «За тебя я заплатила чистоганом...» — мгновенно запоминающиеся строки, напечатанные лишь недавно. Ранний лагерный опыт его жены, навалившийся ему на плечи, бескомпромиссность собственной натуры поставили его в семинаре, да и в жизни особняком. Чтобы найти адекватное поэтическое выражение пережитому, потребен был гений. Его отсутствие Толя переживал тяжело. На критику стихов и переводов обижался. Его матерински брала под крыло третий руководитель семинара: Мария Сергеевна Петровых. Кого-то она мне напоминала. Но кого? Может быть, гейшу со старинного японского чайника? Так хороша и так хрупка! Возраст не властен над ней. Наверное, потому, что в душе этой чудной женщины бьет, не иссякая, горячий природный источник. Если у кого-то из семинаристов буквально или фигурально глаза на мокром месте, Мария Сергеевна бросается на защиту. Самойлов только посмеивался, когда обе они, Звягинцева и Петровых, с двух сторон пытались оживить (ныне сказали бы «реанимировать») убитого его анализом молодого поэта, подобно Ленскому, завершающему златые дни своей весны в невидимых снегах хорошо натопленного Дома литераторов.

Но случалось и обратное: когда мягко обвиняли наши руководительницы, адвокатом же выступал Давид Самойлович, из Малютки преименованный в Дзика.

Бросалась в глаза, удивляла его дружба с Сергеем Поликарповым. Такие они были разные. Сережа — подмосковный кряж: диковатая красота, нависшие брови, бодучие лобные выпуклости. Стих крепкий,

забористый, восходит к Павлу Васильеву. Самозабвенно читает, «мы-
кая», а вернее «макая»:

*Пригляди за м-мальчонкой м-малым,
М-молодая м-мама м-моя!..*

Порой такое завернет, что Звягинцева и Петровых сконфужены:

— Сережа, дорогой, нельзя же так...

— Почему нельзя? — и Самойлов горой встает за Сергея.

Тот платил ему полной взаимностью.

Первая рецензия на самойловскую книгу «Ближние страны» при-
надлежит именно перу С.Поликарпова. Напечатана в журнале «Москва».

Когда я читаю «Цыгановых», на меня веет Сережиным духом.
Не столько от стихов, сколько от той многомерной, многокрасочной
«другой жизни», что встает за поэмой.

Вдова Сергея познакомила меня с шуточным стихотворением, впи-
санным нашим учителем в книжку Николая Асеева — подарок к Сере-
жиному дню рождения. Дата под стихами: 30 августа 61 года.

*«Читай стихи, Серега,
Нам это не во вред.
И вскоре понемногу
Сам станешь ты поэт.
За книжицу заплатишь
Всего лишь жалкий грош —
Там рифмочку подхватишь,
Тут образ подберешь.
А там — победу празднуй,
Успехами кичась, —
Хороший или разный
Ты будешь среди нас...
Ты станешь важной штучкой,
Красив и басовит,
И сам товарищ Слуцкий
Тебя благословит.*

А пока благословляю я, смиренный инок Д.Самойлов».

Вот тут можно ручаться: стишок никогда и нигде не печатался...

Переводческий семинар был задуман как мероприятие кратковре-

менное. Для галочки. Однако по мало изученным законам взаимного притяжения просуществовал более трех лет: с конца 1959-го по 1963 год. Собирались не часто, но довольно регулярно. Сделали сообща два сборника стихов, вскоре вышедших в издательстве «Художественная литература»: «Заря над Кубой» и «Поэзия гаучо». Зная нашу нужду, учителя, и в первую очередь Самойлов, подбрасывали нам и другую переводческую работенку. Для меня, например, «экзаменом» стал одноклассник литовского классика Миколайтиса Путинаса, выпущенный тогда издательством «Вага».

Двое из нашего семинара, Юрий Вронский и Натэлла Горская, стали признанными переводчиками. Марина Тарасова — известной поэтессой. Рано ушла из жизни Дина Орловская, но вот чудо под стать стране бессмертной Алисы: недавно купила книжку Льюиса Кэррола, изданную под грифом «Б-ка журнала «Юность», — там есть и Динины переводы! Безвременно умер Сережа Поликарпов, автор многих книг. О Толе Якобсоне — речь впереди...

Когда у меня вышла первая книга стихов и запахло приемом в Союз писателей, я, естественно, попросила одну из трех рекомендаций у Давида Самойловича. Дал он ее охотно, быстро, попутно вспомнив эпизод из своей биографии. Леонид Мартынов, к которому он когда-то обратился с подобной же просьбой, что-то буркнул в ответ. И это отдало вступление в СП на годы.

За рекомендацией я поехала к Дзэкику домой. На площадь Борьбы. Впервые была у него в гостях и озиралась, как в лесу. Старомодная мебель стояла тесно. Над обеденным столом свисала антикварная лампа, которую с нигилизмом комсомольской юности я окрестила про себя «радостью металлоломщика». Под люстрой восседали близкие и гости, пили чай с конфетами. Я была немедленно, по-московски, приглашена к чаепитию, разговорена, обласкана.

В той же комнате на письменном столе лежали стихи Незвала. Некоторые подстрочники еще раньше Самойлов приносил на семинар, мы переводили их как на конкурс: кому лучше удастся втиснуть весьма туманный смысл в немислимо строгую форму: сквозные рифмы, обязательные повторы...

— Вам не пишется, Давид Самойлович? — пожалела я его, представив себе, каково будет перелопатить всю эту пачку.

— Вообще-то пишется. Переводами я занялся, потому что денег нет.

По семинарской привычке я прочитала ему несколько новых стихо-

творений. Он задумался. Не спешил с приговором. Орехи строк, конечно, были, но, видимо, не настолько очевидные, чтобы лихо, но с юмором, перемежая гнев и обаяние, как он делал это всегда, положить меня на обе лопатки. Что-то иное заботило учителя.

— Вам надо поскорей все это напечатать и начать писать по-другому, — вдруг сказал он.

На рекомендации в члены СП его мнение, впрочем, не отразилось. Она была составлена тут же, в тоне, который обязателен для бумаг такого рода: «зрелая», «достойна» и т.п., написана его рукой. Приемная комиссия принимала только рукописные рекомендации.

Осенью 63-го года мы ездили в Литву, участвовали в Днях молодежной книги. Командировало нас издательство «Молодая гвардия». В бригаду входили Д. Самойлов, В. Осипов, С. Поликарпов, А. Румарчук, я... Маршрут был: Вильнюс — Каунас — Шяуляй. Выступали перед интеллигенцией, рабочими, студентами, школьниками. Дээзик держался с нами запанибрата. Вижу его глазами памяти в песочном пальто на фоне золотой литовской осени и карминно-огнистых исторических башен безусого, еще без очков, всеми статьями молодого. Молодого, как мы.

Стихи он читал тоже молодым, легким, гибким голосом, чьи модуляции передавали малейший поворот в развитии стиха: сюжетный или смысловой. К «поэтической эстраде», у которой уже появились закоренелые враги, относился... иногда казалось, всерьез, иногда снисходительно. Но от выступлений не уваливал. Читал везде, куда звали. И столько, сколько просили.

Многие стихи Давида Самойлова я запомнила с его голоса, и память сохранила из первых уст услышанный вариант. Так, в знаменитом стихотворении о поэте, Пестеле и Анне первоначально Пушкин утверждал: «В политике кто гений, тот злодей». В книге появилось иное: «На гения отыщется злодей». Знаменательное разночтение!

Тогда, в Литве, или чуть позже Дээзик весело поведал нам, как однажды ночью ему позвонил Маршак и сообщил: «Знаете, голубчик, на кого вы похожи? На Блейка!» Детский поэт-классик, сам того не ведая, приговорил нашего учителя к слепоте. «Бывают странные сближения»...

Весной 65-го в Москву приехала из Вильнюса строгая редактриса одноклассника Миколайтиса Путинаса. У нее накопились претензии к переводчикам, в том числе и ко мне. Малейшее отклонение от оригинала (неизбежное при переводе рифмованных стихов) воспринималось

ею как криминал. Очень не хотелось возвращаться к прошлогодней работе, тем более что у меня недавно родилась дочь — не до того было. Но редактрисса настаивала, и Самойлов, будучи работодателем и человеком ответственным, нашел выход: привел ее ко мне. В мою очень большую, но единственную комнату, из которой ширмой была выгорожена детская.

Шутя и играя, — такое впечатление оставляли многие его действия, — а на самом деле твердо и точно Давид Самойлович отмел необоснованные обвинения литовки, в упрощенной форме донес до меня обоснованные и кое-что с ходу исправил сам. Мне осталось совсем немного работы. А потом, к моему изумлению, попросился за ширму и поиграл с моей пятимесячной крохой, сказав с короткой задумчивостью:

— Таких маленьких я люблю больше всего.

Тогда я еще не знала, что скоро у него родится дочь Варя.

Наша поездка в Минск, несомненно, была плодом большого бюрократического воображения. Сдернуть двух писателей с места (меня-то ладно, а вот Самойлова за что?!), оплатить проезд, гостиницу, суточные, только для того, чтобы мы выступили, по полчаса каждый, перед библиотечными работниками то ли города, то ли области загнанными тетками, к поэзии абсолютно индифферентными.

Отвыступав, Дзизик пошучивал, пошучивал — и вдруг исчез. На весь день. А я так надеялась погулять с ним по Минску, пообщаться.

Появился он незадолго до вечера, такого же золотистого, как купленная мною на базаре связка белорусского лука — в утешение себе и на радость оставленным домашним. Объявил, что подлец, потому что бросил меня одну. Но он был в таком сугубо мужском обществе, куда даму неудобно и повести.

Мы бродили по незнакомым улицам и болтали.

Самойлов был в духе и за словом в карман не лез. Об одном коллеге отозвался так:

— Раньше всех понял, что из этого свинства можно вырезать хороший кусок ветчины. И сделал это.

О Ярославе Смелякове:

— Мне бы такой талантище! Уж я бы им распорядился.

На мой вопрос, почему Ахматова недолюбливала Ахмадулину, но восхищалась стихами Г., Д.С. мгновенно нашелся:

— Потому что Ахмадулина красивая, а Г. — нет.

Вспоминал хлесткие ахматовские характеристики. Сложному пи-

ту, снискавшему поздние лавры именно за туго поддающиеся дешифровке стихи, Анна Андреевна поставила диагноз:

«Хорошо разыгранная мания преследования!»

Поэтессу моего поколения мягко пощекотала: «Она пишет, что она зайчик. Вы представляете, чтобы Пушкин назвал себя зайчиком?»

Именно тогда Самойлов поделился со мной тем, что, как мне кажется, представляло для него некую бесплотную опору в этом движущемся, ненадежном, фата-морганном мире. Незадолго до окончания войны, в освобожденном городке, где стояли наши, ему гадала цыганка. И нагадала грозное, но по молодости его лет воспринятое легко. «Если ты не умрешь в ближайшие несколько суток, то будешь жить долго и у тебя будет много детей...» Кажется, на следующий же вечер, только он отошел за куревом от окна в глубь комнаты, стекло разлетелось вдребезги от шальной пули...

Приближалось время ужина, и Дзизик признался мне, что у него не осталось ни копейки. Нету даже на трамвай! У меня было сколько-то рублей. Я отдала их ему, чтобы в ресторане расплачивался учитель, а не ученица.

Кстати, слова «учитель», «ученик» (и даже «ученица») на разные лады варьируются в его стихах. У меня давно засело в памяти:

*Пуškai лукавый лавр примерит ученица,
И, дурней веселя, гарцует ученик!..*

Можно было бы принять первую, довольно лестную строку на свой счет. Но тогда не отмахнешься и от другой самойловской сентенции:

*Не верь ученикам,
Они испортят дело...*

Нет уж, не будем подставлять в поэтические уравнения с неизвестными живые имена.

...Итак, мы благополучно отужинали, сели в поезд и даже выспались на рублевом белье. Все вроде бы завершилось благополучно, Москва уже замаячила в окнах, и Давид Самойлович радостно предвкушал встречу с семьей и сыном Петей, который был в столь стремительном младенческом возрасте, что мог измениться даже за три дня.

Но дурное предчувствие томило меня.

Дэзик вышел из купе первым. В руке у него был увесистый портфель. Зачем я так поздно пробежала взглядом путь его следования? Зачем не сделала этого раньше? Какой-то осел поставил на коридорный выступ хрустальный стакан в подстаканнике. Примерно на уровне лодыжки. Мой спутник без промаха долбанул его своим портфелем. Зазвонили осколки...

Штраф платить было не из чего! На цыпочках, крадучись, он, а я за ним, выбрались из вагона и, как пишут денежные авторы, смешались с пестрой московской толпой.

— На счастье, Давид Самойлович?

— На счастье!

...Составляя вместе с Татьяной Бек московский «День поэзии 89», я позвонила Самойлову, попросила стихи для сборника. Он как раз приехал в Москву из Пярну. Тот же (да не тот!) омывающий далекими волнами голос, знакомая, заинтересованно небрежная интонация: как дела? что пишете? что-нибудь выходит?..

Стихи для ДП пообещал, но не дал. Спешил домой, в Эстонию. По счастью, у Владимира Корнилова, одного из членов нашей редколлегии, нашлось старое стихотворение Самойлова. Посвященное Анатолию Якобсону. Писал он его в конце 70-х без всякой надежды на публикацию. Тут все выламывалось из рамок: адресат — участник правозащитного движения, был изгнан из школы, где проработал 10 лет, эмигрировал в Израиль, работал в Иерусалимском университете и ... повесился.

Господи, как все страшно сошлось: наш семинар, надежды, споры, поэзия, любовь. И жизнь. И Родина. И гибель...

*Своей нечесаной башкой,
В шапчонке чисто бунтовской,
Он вламывался со строкой
Заместо клича.
В застолье. И с налету — в спор,
И доводам наперекор,
Напропалую пер, в прибор
Окурки тыча.
...Он создан был не восставать.
Он был назначен воздавать,
Он был назначен целовать
Плечо пророка.*

*Меньшой при снятии с креста,
Он должен был разжать уста,
Чтоб явной стала простота
Сего урока...*

Давид Самойлов уже не увидел этой красивой, с портретом старой Ахматовой на обложке, книги, где было напечатано его «непубликабельное» «Прощание».

Но им и с нами простился.

Мои воспоминания о Борисе Абрамовиче Слуцком не в первый уже раз комком подступают к горлу и просятся наружу.

«Подступать комком к горлу» — обычно так говорят о слезах, реже — о стихах. Все, что связано в моей памяти с благородным обликом Б.А., с его скрытым от чужих глаз пожизненным самобичеванием и мучительно-трудным уходом из жизни, может быть приравнено и к тому, и к другому.

В 57 году, вскоре после XX съезда коммунистической партии, опустошительного для старшего поколения советских людей и отрезвляющего для нас, молодых, разоблачения культа Сталина, — студентами Литинститута, где я тогда училась, зачитывались, что называется, до дыр два недавно вышедших сборничка стихов: зеленый, цвета весны, свободы, Леонида Мартынова и менее броский с виду Бориса Слуцкого. Последний назывался «Память».

Конечно, мы и раньше слышали оба этих имени. Двадцатилетний Евгений Евтушенко, взявший шефство над одной моей однокурсницей, приносил со своего второго на наш первый курс своеобразный самиздат: напечатанные на машинке, а то и написанные от руки стихи Марины Цветаевой, Николая Глазкова, «сидельца» Бориса Ковынева и других, искусственно загнанных в плотную тень русских поэтов. Были среди них и Слуцкий, и Мартынов. Впервые большую поэтическую подборку Б.А. я прочитала в малотиражном альманахе творчества молодых; к нашим стихотворцам-новичкам Слуцкого подверстали как бывшего, еще довоенного литинститутовца.

И все-таки книга «Память» явилась для меня откровением. Голая жестокая правда войны, обжигающий искренностью стоицизм автора (тогда принято было говорить «лирического героя»), стыдливо-целомудренный при всей своей броскости патриотизм, умение вслушаться

в горячайшие переживания современников и особенно современниц, небоязнь бытовой лексики и даже некоторое ее горделивое выпячивание, намеренно угластые образы, послемаяковский, но совершенно самостоятельный распев — все это завораживало одних, вызывало на спор других, поднимало негативные чувства, вплоть до ненависти, в душе третьих. Я относилась, скорее, к числу «замороженных»...

Прошло несколько лет. Я собрала и сдала в издательство «Молодая гвардия» (не путать довольно либеральную «МГ» начала 60-х с нынешней закоснело-языческой «МГ»!) свою первую книгу стихов: «Район моей любви».

И вдруг встречаю поэта Владимира Цыбина.

— Пляши! Твоя книга вошла в план. Внутреннюю рецензию, знаешь, кто написал?

— Кто?

— Борис Слуцкий.

На другой же день я была в издательстве.

— Покажи рецензию!

Показал. Скромный отзыв на трех страничках. Но с таким пониманием написанный, так доброжелательно. И, главное, рекомендует книгу к изданию. И столь уже высок его авторитет, что мой «Район» был издан меньше чем через год, — это при рутинной многолетней издательской очереди.

А вскоре я была Слуцкому представлена.

Строгий, совершенно несклонный к сантиментам, будто застегнутый на все форменные пуговицы, Б.А. отстранял от себя при первой встрече. Не знала, о чем с ним говорить, благодарить или нет за отзыв. На мое смущенное бормотание ответ был один: снисходительная усмешка из-под рыжеватых усов. Сколько он повидал нашего брата, нашей сестры на своем веку! Наверняка помнил иронический афоризм из «Дневника» Ренара: «Флобер был так добр, что принимал всерьез всех начинающих писателей».

Тут Слуцкий не был добр. Точнее, не был добреньким. Не тешил иллюзиями тех, кто дерзнул взять в руки поэтическое перо. После Пушкина, после Гумилева, после Ксении Некрасовой. Тем удивительнее, что одна из горячих статей Б.А. того времени была посвящена молодой женской поэзии. Главный упор делался на яркий дебют Светланы Евсеевой, а вокруг нее, как прозрачные головки ангелов вокруг недавно показанной Москве Сикстинской мадонны, группировалось еще несколько поэтесс, я в том числе. Одобрив нашу работу, Б.А. приводил стихи Уитме-

на о красоте старых женских лиц и почему-то ставил на их место лица молодые, — речь шла о наших фотопортретах, напечатанных в молодежном журнале.

Помню, я подумала: красота старых женщин — это здорово, а молодых — что в этом оригинального? Я не ведала тогда, что политрук, инвалид Второй отечественной, два года провалявшийся в госпиталях, страдавший жуткими головными болями, долгое время не печатаемый, долгое время одинокий в своей холостяцкой комнате, встретил, наконец, Таню — жену, любовь, товарища. Это о ней он писал:

*Надо, чтоб было куда пойти,
Надо, чтоб было с кем не стесняться,
С кем на семейной карточке сняться,
Кому телеграмму отбить в пути...*

Это ей, Тане, Татьяне Дашковской, посвящена книга стихов «Работа», где нет стихов о любви, но есть такое, в чем признаются только близким людям:

*Где-то струсил. И этот случай,
Как его там ни назови,
Солью самую злой, колючей
Оседает в твоей крови.
Солит мысли твои, поступки,
Вместе, рядом ест и пьет,
И подраживает, и постукивает,
И покою тебе не дает.*

Возможно, Б.А. был размягчен своим запоздалым домашним счастьем, и молодые поэтессы, почти Танины ровесницы, вызывали у него особое чувства — не по заслугам...

Когда меня принимали на бюро секции поэзии в Союз писателей, Слуцкий прочел вслух два моих стихотворения из первой книги: «Сказки» и «Четыре года». Показать товар лицом он умел. Его послушались. Я стала профессиональным литератором, а не «тунеядкой», по терминологии тех времен, занимающейся Бог знает чем.

Теперь я видела Б.А. только издали. Иногда случайно встречала в центре Москвы, — он вел подвижный образ жизни. Иногда слушала его четкие, смелые, по тогдашним меркам, выступления на собраниях,

на обсуждениях работы коллег. Что главное, роковое выступление на публичной казни романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» медленно сжигает его изнутри, я не догадывалась. Не о том ли и приведенные выше восемь строк?..

Год 68-й. Поздний осенний вечер. В коридоре нашей московской коммуналки раздается телефонный звонок, и сразу из комнаты напротив высовывается соседка: «Кто это глядя на ночь?» Мне (неодобрительно): «Тебя!»

— С вами говорит Борис Слуцкий. Я прочитал вашу новую книгу «Забота». Поздравляю!

Сейчас записала бы на диктофон, будь он под рукою. Законспектировала бы, в крайнем случае. А тогда — от волнения и неожиданности — первую половину вообще пропустила мимо ушей. Включилась где-то посередине. Говорил Б.А. интересно, расширительно. О нашем поколении в поэзии, о специфических чертах плеяды: «Симптомы высокой болезни налицо, но они сильно педалируются ...» («Высокая болезнь» — это Пастернак; значит, и тогда, во время разговора, думал о нем.) «За то, что вы этого избежали, вам расплачиваться недостатком славы. Но...» Со временем, утешает меня несклонный к утешениям Борис Абрамович, это может компенсироваться...

Еще пара лет отстучала. По поручению Владимира Цыбина составляю сборник «День поэзии» 1971 года. Совершенно неожиданно Слуцкий берет на себя роль моего главного советчика. Теперь он звонит мне чуть ли не ежедневно. Соседи по коммуналке уже смирились с тем, что я по полчаса торчу около общего висячего аппарата, вожу карандашом по прижатому к стенке бумажному листу, потому что шариковая ручка писать по вертикали отказывается.

Б.А. не представляет себе обстановки, в которой я живу, ни разу не был у меня дома. Наверное, думает: сижу за письменном столом и спокойно впитываю его информацию, делая для себя пометки. Информации много. Необходимо, считает Б.А., сделать наш сборник личностным, потому что в стихах, разумеется, талантливых, самое интересное, что за личность стоит за ними. Надо представить щедрыми подборками поэтов якобы второго, а на самом деле первого ряда: Елену Благинину, Семена Липкина, Марию Петровых, Варлама Шаламова, Аркадия Штейнберга (о каждом читает мне маленькую лекцию). Нужно дать место давно или недавно ушедшим классикам (из длинного ряда названных Б.А. мне удалось «протолкнуть» только М. Волошина и А. Ахматову: неопуб-

ликованные стихи последней я добыла с помощью Виктора Максимовича Жирмунского).

«Протоalkнуть», «пробить» — эти типично советские глаголы работали и тогда, когда речь шла о молодых, за которых ратовал Слуцкий: А. Величанском, Л. Губанове и совсем немолодых, забытых, полузабытых, с изъясном в биографии и т.п.

Не могу сказать, чтобы наш «ДП» был на голову выше предыдущих и последующих. Не все зависело от составителя. Предпоследнее слово оставалось за редколлегией и главным редактором, а последнее — за издательством. Но некоторые бои были выиграны. Всего же за время работы над сборником я прочитала около восьми тысяч стихов. К заслуженным авторам ездила сама; предуведомленные Слуцким, они встречали меня радушно, с готовностью выкладывали передо мной свое литературное хозяйство. Менее заслуженные старались выйти со мной на прямой контакт, засыпали почтовыми бандеролями или сами тащили в ЦДЛ, в комнату поэзии, свою ношу, которая, как известно, не тянет, а я все это регулярно забирала.

Б.А. предупредил меня, что занимаюсь я делом огнеопасным. И точно. Один из наших коллег, кстати, ровесник Слуцкого, тоже инвалид войны, не найдя своих стихов в сборнике, как-то ночью набрал мой номер и, услышав мужской голос (подошел мой муж), стал смешивать меня с грязью, материть, говорить обо мне гадости. Мне было стыдно перед мужем.

Я так «прониклась» к Борису Абрамовичу за дни нашего совместного служения Поэзии, что абсолютно перестала его бояться. Однажды мы встретились в присутственном месте, и я полушутя-полусерьезно попросила его показать мне обе ладони на предмет хиромантического анализа личности и судьбы. Он удивился, но выполнил мою просьбу. Таких розовых бугров, таких глубоких многочисленных линий, как у Слуцкого, я не видела никогда! Мысленно уменьшившись до микронного размера, я будто приземлилась на поверхности неведомой планеты, не нашей галактики, где вздымались горы, лежали цветущие долины, а их прорезали полноводные реки: мощная линия ума, жгучая — сердца, прямая, как стрела, — солнца, она же — таланта. Три сустава большого рулевого пальца, воли, логики и страсти, были уравновешены, и все-таки нижний, плавно переходящий во вздутый бугор Венеры преваляровал над другими. Линия судьбы, тоже чрезвычайно интенсивная, ломалась где-то посередине.

— Ух-х-х! — только и сказала я.

Мне бы остановиться на этом «ух», обратить все в игру, но под во-

прошающим взглядом Б.А. я стала расшифровывать эти недаром скрытые от смертных божественные письма.

Умнейшему человеку я самонадеянно объясняла, как он мудр и одновременно наивен до глупости, потому что, когда интеллект зашкаливает, природа умоляет о пощаде, об отдыхе и начинается процесс спада всех способностей. Стихийной натуре, которая со скрежетом зубовым научилась держать себя в узде, я рекомендовала время от времени отпустить себя в тургеневское «ночное». Я раскладывала по полочкам: вот тут у вас мужские, а тут женские черты, и все такие выраженные, что их переплетение сулит... не дай Бог попасть в такой переплет!.. Я чувствовала вдохновение. Немного фантазировала, но в рамках действительного узора, увиденного на обеих, — всегда смотрю и левую и правую, — ладонях.

— Это пекло! — заключила я отстраненным, несколько механическим голосом профессионалки. — Вы живете в пекле..

«Изменился в лице» — не дает представления о реакции Б.А. Он страшно надулся. Мне показалось даже, что его добрые, как у безбородого Деда Мороза усы, сердито встопорщились и острым, гневным стал его недавно благожелательный взгляд. С таким выражением лица он, наверное, поднимал своих бойцов в атаку, произнося в сотый раз слова, каким, скорее всего, уже верил только наполовину: «За Родину! За Сталина!»

Слуцкий быстро ушел. Я же корила себя за дурацкую старательность. С чего мне вздумалось препарировать большого поэта, как лягушку?

С тех пор в его отношении ко мне появилась некоторая настроенность. Что и говорить! Я бы предпочла, чтобы ее не было..

Литературная среда, — замкнутая среда. Каждый звук отражается, как от стенки, и доходит до слуха каждого, кто внутри. Так дошла до меня печальная весть о болезни жены Б.А. Тани. У нее, еще молодой женщины, обнаружили рак, и Борис Абрамович превратился в медбрата, сиделку, лицо, сопровождающее ее по больничным мытарствам.

Весной 73-его случайно узнаю, что Слуцкий проводит семинар молодых поэтов по адресу: ул. Горького, дом 12. Это мой адрес. Скоро он моим не будет. Восемилетнее, нудное и трудное, ожидание квартиры завершилось. Наша семья, состоящая из четырех человек, наконец-то переезжает на новое место жительства. Из коммуналки — в отдельную квартиру, из одной комнаты — в три, из сердца столицы в ее.. пятку, ибо как еще назвать рабочий район Текстильщиков, куда в моем отрочестве ездили, как за город, купаться в прудах?..

Счастливая возможность пригласить Б.А. в гости. Пойду на семинар

и там приглашу. Пусть хоть взглянет на затянувшуюся фантазмагорию послереволюционного быта: в квартире, где когда-то жила одна семья, у меня на глазах свершались судьбы двадцати двух человек.

В комнате перед переездом все вздыблено, вещи брошены в раскрытые чемоданы, книги втиснуты в коробки. Ничего! Так даже интереснее! Прошу маму, уже больную (она умрет от рака через четыре месяца) подготовиться к приему дорогого гостя. Она безропотно обещает.

В тесной и душной комнате, сбоку припека многокорпусного бахрушинского дома, собралось человек десять. Узнаю Олесю Николаеву, Алексея Королева, еще кого-то. Входит Слуцкий. Как всегда подтянутый, сосредоточенный. Страдания, пережитые с Таней, наложили печать на его молодцеватую внешность. Он как-то погас. Смотрит на нас довольно мрачно. Говорит:

— Всех вас давно пора убить на дуэли!

Имеется в виду средний возраст группы. Он приближается к тридцати годам.

Опять разговор о личности поэта. О том, что важны не только его стихи, но и биография, важно, как он живет, что любит, во что одевается. Существует иконография поэтов, но доверять ей нельзя. Ахматову рисовали великие художники. А Цветаеву с равной силой никто не нарисовал. Из этого не следует, что Цветаева меньше поэт, чем Ахматова...

Началось чтение стихов. Оно сопровождалось его хлесткими замечаниями. Я слушала рассеянно, все думала, как подойду к Б.А., приглашу на чашку чая, на руины полувековой жизни одной московской семьи. Мой отец получил покидаемую нами на днях комнату сразу после Гражданской войны.

Семинар кончился, и Слуцкий заторопился. Я постаралась, чтобы вышли мы вместе. Услышав мое приглашение, он привычно посуровел, стал отнекиваться: не может, не располагает временем, его ждет жена.

— Да тут пять минут! Мы скоро переезжаем. Хотя бы на четверть часа. Тане можно позвонить, — упрашивала я.

Нет и нет.

Мы воспользовались боковым выходом со двора, сразу оказавшись в Козицком переулке. Напротив скромно посвечивал периферийный подъезд Елисеевского гастронома.

Б.А. обрадовался:

— Зайду. Куплю какие-нибудь вкусности.

Домой я вернулась одна...

Пока была жива мама, особенно в последние годы ее жизни, Новый

год мы старались встречать дома, собирая у себя попеременно родственников или друзей. А 1975-й решили встретить по-новому. С дочкой-третьеклассницей выехали на зимние каникулы под Ригу. Оказалось, дом творчества писателей в Дубултах буквально оккупирован ребятей и родителями. Для детей, да и взрослых это — северная экзотика, с голубоватым замерзшим заливом, кострами на берегу, наряженной елкой неподалеку от маленькой станции, четырехгранными низкорослыми фонариками, которые матовым свечением предваряют яркоосвещенный холл высотной стекляшки.

В холле, под вечнозелеными пальмами и фикусами, сидят классики и не классики, бурлят профессиональные беседы. Дети, как им и положено, ходят на голове. Десятилетний сын известного поэта в темном саду подбирает окурки и на глазах у товарищей демонстративно затягивается. Дочка, трепеща, рассказывает мне об этом.

В столовой на сто человек уже составлены столы. Один из них — элитарный, за ним (это заранее известно) будут сидеть знаменитости. Мы с подругой-поэтессой облюбовали столик у окна. С нами дочери, десяти и четырнадцать лет. Нарядили их, как только смогли.

Полночь. Поздравительные возгласы. Все, как по команде, смотрят на стол №1. Оттуда несутся тосты, пожелания. Что-то нам принесет наступающий год?.. Наш единственный мужчина, мой муж Павел, берет на себя обязанности тамады. Мы выпили, нам весело. Впервые за свои 38 лет встречаю любимый праздник в таком большом, таком разношерстном обществе.

— Какая разница? — говорит подруга. — Мы же все равно в своей скорлупе...

— Смотрите! — показывает Павел.

Через весь зал к нам направляется Борис Абрамович. Он оставил тот стол, оставил Таню и идет на «ны» — так, кажется, по-старославянски? Он необыкновенно радушен. Я и не подозревала, что его «походное» лицо может излучать такую приветливость.

Он говорит нам приятные вещи. О стихах, о нашей работе в литературе. Он прочел мою последнюю книгу. Он знаком с публикациями подруги. Мы работаем интересно, но пишем непростительно мало. Девочки смотрят на него во все глаза. Они готовы загордиться, что у них такие матери.

Вокруг елки уже пляшут. Подросток Буля Окуджава (он упрямо называет себя Антоном) бежит к нашему столу за партнершей и на миг замирает, не зная, кого выбрать.

Я ловлю взгляд Б.А. Он смотрит на детей с таким вниманием, так напряженно. Видимо, перевыполнил план по нежным чувствованиям и вернулся в обычное трезвое и требовательное состояние. Он роняет несколько будничных фраз. О писательских детях — наших и вообще. Им приходится туго. Их заражают окружающее тщеславие, соперничество, вражда. С ранних лет они участвуют в конкурсе, чей папа, чья мама знаменитее, богаче. Молодняк устремляется к елке, а мы, четверо, еще какое-то время поддерживаем выцветающий разговор.

Я вспомнила эту сценку, когда годы спустя прочла одно из наигорчайших стихотворений Слуцкого, которое начинается так:

*У людей — дети. У нас — только кактусы
Стоят безмолвны и холодны.
Интеллигенция, куда она катится?
Ученые люди, где ваши сыны?*

Может быть, негоже касаться этой темы, но откуда-то пришло: Б.А. не хотел иметь детей, ссылался на плохую наследственность. Таня ему уступила. Если это так, то он должен был чувствовать перед ней страшную вину. Ее первоначальный женский рак ухватил его и без того израненное сердце железными клешнями...

В рождественскую ночь, с полным, как это почти всегда бывает, лушкоком звезд, мы, несколько человек, собрались в местную православную церковь. Она радовала глаз ухоженностью, европейской вылизанностью внутреннего убранства. Церквушка была махонькая, рассчитанная на горстку прихожан.

Б.А. и Таня сидели в холле, в одиночестве. Только тут, в Дубулатах, я увидела ее впервые. Темноволосая, продолговатолицая, тихо-внимательная ко всем проявлениям утекающей жизни. Она казалась почти здоровой, но я понимала: гладкость лица, румянец — ухищрения медицины. Супруги вели правильный образ жизни: регулярно гуляли, рано ложились. Если Б.А. звали вечером на литературные посиделки, он неизменно отказывался:

— У нас режим...

Однако ночь под Рождество бывает раз в году. Почему бы им не встряхнуться? До церкви десять минут пешком. По снегу. По двоякому свету — от звезд и фонарей.

— Таня! Борис Абрамович! Пойдемте в церковь! Такая красивая дорога! — весело предложила я.

Слуцкий находил. Ответил словами, которые порадовали бы издателей «Спутника атеиста»:

— Я не верю в Бога!

Несоразмерность нашего легкомысленного настроения и его резкой реплики была вопиющей. Таня промолчала.

Борис Слуцкий и религия — это особый, неизученный материал. Правда ли он был богоборцем, как и положено политруку, красному комиссару, партийцу-коммунисту с немалым стажем? После смерти Б.А. я спросила об этом критика Юрия Болдырева, хранителя и публикатора его весомого (2000 одних ненапечатанных стихов) архива. Вместо ответа он прочел мне стихи:

*Нас, неверов, на самую веру
руку поднявших среди толпы,
похоронят в церкви, наверно,
отпоют нас, наверно, попы.*

Закоренелые атеисты так не пишут...

Когда, через пару лет после того Рождества, Таню провожали в последний путь, процедура прощания затянулась. «Борис увидел всех тех, кто придет на его похороны», — бестактно заметил какой-то остряк. Мы стояли, не помню уже где — в морге или крематории, и к Б.А. периодически подходили сочувствующие. Жали руку, произносили слова. Он тоже отвечал по протоколу: сухо, коротко. Подошла и я. И тут со мной что-то случилось. Я вдруг представила себе весь ужас свершившегося. Он ждал ее полжизни. С ней, единственной, он мог «не стесняться». Она была ему дитем и матерью. Сначала больше матерью: утешала и оправдывала в его собственных глазах. Могла, говорили, и подначить, и высмеять. Дитем стала позже, когда часами не кончались ее операции, когда в домашнем словаре грозно звучали слова: «гистология», «метастазы», когда он бился рыбой об лед, чтобы выписать из-за границы редкое лекарство, чтобы отправить туда жену в тщетной надежде на медицинское чудо...

Я приблизилась к Б.А. и не смогла ничего сказать. Может быть, тихонько застонала? Не помню. Сама отошла или меня отстранили? Тоже не помню. Помню только правоту некогда сказавшего: «Как утешить плачущих? Плакать вместе с ними».

После смерти жены Слуцкий тяжело занемог: впал в депрессию, стремился к тому, о чем Цветаева сказала: «Я не хочу умереть. Я хочу не

быть». Но перед тем его посетила Эрато, по поверьям древних греков, покровительница любовной поэзии. Всю войну и еще тридцать с гаком послевоенных лет она обходила его дом стороной, как долговременную огневую точку. И вот подарила цикл любовно-прощальных стихов. Все — о Тане.

Я знала, что Слуцкий периодически лежит в больнице, никого не принимает, особенно женщин. Юлия Друнина, высоко чтившая как солдатскую, так и литературную дружбу, несколько часов просидела в вестибюле больницы, дожидаясь свидания с ним, да так и не дождалась. Исключений знаю два: жену брата и писательницу Елену Ржевскую, участницу войны, вдову друга молодости Павла Когана. Что касается меня, я даже не пыталась увидаться с Б.А.

Но однажды мне позвонили.

— С вами говорит Борис Слуцкий... — Дряблый, надтреснутый голос. А был — долгие годы — сплав серебра и стали. — Я все знаю. Одобряю ваше решение. Кто вами занимается?

Я к тому времени была исключена из Союза писателей. Меня не печатали. Имя мое не упоминалось. Такова была кара за мое намерение эмигрировать вместе с семьей. От намерения я отказалась сама, но в СП меня не восстановили, литературной работы не давали. По существу мной никто не занимался. Но две фамилии осведомленных функционеров я назвала. По мнению Б.А., мое «возвращение в строй» оказалось в ненадежных руках.

С трудом преодолевая невидимую мне стену, так же глухо, тем же не своим голосом Борис Абрамович вопрошает:

— Не пойти ли выше?

— Я подумаю. Можно мне вас видеть?

— Нет!

— Как ваше самочувствие?

— Ужасное. Кошмар за кошмаром...

Почему позвонил? Мне кажется, это был его ответ на ту мою скорбную окаменелость у гроба Тани, на то живое чувство сострадания, что испытываешь редко и еще реже выражаешь.

Кошмарам тянуться еще пять лет. И за грядущие годы — ни одного стиха! Казнь поэта — его поэтическое безгласие.

Если верить мемуаристам, Б.А. достаточно часто пересказывал разным людям историю осуждения и исключения Пастернака из СП, не скрывая своего в этом участия. На том собрании, обсуждавшем постановление «О действиях Б.Пастернака, не совместимых со званием

советского писателя», выступило достаточно так называемых порядочных литераторов: С.С. Смирнов, С. Баруздин, Л. Мартынов... Но Борис Абрамович держал себя так, как будто брал всю вину на себя.

Вполне допускаю такой психологический феномен. Чем сильнее он себя осуждал, чем правдоподобнее звучали в ответ на его покаяние адвокатские речи слушателей, тем жарче разгоралось в нем чувство вины. Все превращалось в горячий материал: его биография, которая так важна для поэта, его служение коммунистической идее, давно потерявшей для него свою абсолютность, его большой поэтический дар, несравнимый все-таки с гением Пастернака, даже его подчеркнутая мужская сдержанность, — она блекла, она теряла свою самооценку рядом с тем половодьем чувств, что позволял себе Пастернак, оставаясь и за пятьдесят, и за шестьдесят пронзительным лириком.

Это было нестерпимо! Это был тот «огонь палящий», о котором говорит Библия. Вот почему, думается мне, он так болезненно прореагировал на мое нечаянное слово «пекло», вырвавшееся во время полунаучного, полушарлатанского сеанса хиромантии...

Слуцкий умер 23 февраля 1986 года. Два месяца спустя я увидела его во сне, таком отчетливом, что он мог поспорить с реальностью. Как оказалось, сон был пророческим.

*В ночь на двадцать седьмое апреля
Мне приснился Слуцкий Борис Абрамыч:
Мы за длинным столом сидели,
Было светло, невзирая на ночь.
Гамма чувств в сновиденьях богаче.
Мне как будто по сердцу мазнули медом.
Я признавала, какая удача
Видеть того, кто считался мертвым.
Он не любил никаких комедий,
Но я не сдержалась: «Я так вам рада!»
Слуцкий поднялся, как по команде,
И с мерклым лицом зашагал куда-то.
Почему по-братски меня не обнял?
Почему уходил в строгом молчанье?
Три дня спустя мир узнал про Чернобыль.
А ведь он от младенчества харьковчанин.*

— Вы не родственница?

— Вы не дочь?

— Вы имеете какое-нибудь отношение к Виктору Максимовичу?

Эти вопросы я слышала много раз. Приходилось разочаровывать, объясняя, что с двоюродным братом отца я даже не знакома.

Но вот у меня вышла первая книга стихов, и мой муж, молодой филолог, предложил съездить в Ленинград, подарить книгу моему прославленному родственнику. Пусть у нас будет такое свадебное путешествие..

Лето 1963 года. Дачное Комарово. Ищем Кудринскую улицу. Идем в указанном направлении, утопая в сером песке, под почти безуханными северными соснами. Хозяин знает о нашем приезде — мы заранее созвонились. Встречают нас необычайно радушно: дядя, его жена (Сигал-Жирмунская Нина Александровна (1919—1991) — переводчик, литературовед, специалист по французской литературе), его родная сестра, приехавшая погостить из Италии, две его дочери, Вера и Аля, подростки.

— Так мы с вами, оказывается, в родстве? — внимательно смотрит он сквозь близорукие стекла очков. — Меня уже спрашивали, кем мне доводится поэтесса. А я не знал..

С этого началось наше общение, длившееся более семи лет.

В.М.Жирмунский, ученый-энциклопедист, олицетворял для меня целую культурную эпоху. Он вызвал интерес у Блока: сохранился дарственный экземпляр дядиной книги «Немецкий романтизм и современная мистика» (СПб, 1914 г.) с многочисленными пометками поэта; известны письма Блока к Виктору Максимовичу. Он дружил с Ахматовой. Учился вместе с Мандельштамом в Тенишевском училище и первый написал о нем..

О широте его профессиональных интересов можно судить по от-

рывкам из сохранившихся у меня писем: «... был в научной командировке в Берлине, откуда вернулся только три дня назад. В двадцатых числах октября мне предстоит поездка в Тбилиси»; «Я только что вернулся из Польши, где принимал участие в очень интересной конференции по вопросам теории стиха. Выступал с докладом о стихосложении Маяковского»; «... еду на десять дней в Белград как глава советской делегации на Международный конгресс по сравнительному литературоведению. Буду читать доклад — на этот раз на французском языке»; «... уезжал вместе с Н.А. (женой Ниной Александровной — Т.Ж.) в Прагу на Международный съезд славистов(...) Читал доклад о подготовленном мною Собрании стихотворений Анны Ахматовой, который собрал большую аудиторию и имел успех...»

Удивительно, какую активную жизнь вел этот грузный с виду, рыхловатый на петербургский лад человек не в расцвете сил — на восьмом десятке.

Знал он и лихие времена, лет за 14 до нашего знакомства. Ленинградский переводчик, бывший тогда студентом, рассказывал мне, как прорабатывали «космополита» В.М.Ж. на университетском собрании.

— И что же он?

— Признал некоторые свои ошибки, но держался так, что нам, юнцам, было стыдно за тех, кто принудил его к этому.

27 лет ученого с мировым именем продержали в звании члена-корреспондента Академии наук — рекорд, достойный Книги Гиннеса. Только в 1966 году был он избран, наконец, академиком.

Но вернемся на два года назад. Теплый май, для меня полный надежд: я жду ребенка, готовлю к печати вторую книгу стихов. Приехавший в Москву В.М. пригласил меня на вечер Анны Ахматовой в музей-квартиру Маяковского, в старое здание, что в Гендриковом переулке. Прошлым летом я была у Анны Андреевны, и она стоит у меня перед глазами, большая, особенно на фоне приземистой литфондовской дачки, которую она называет «будкой», по-своему красивая, с тяжелыми седыми волосами, с неистребимо восточным, веским, мгновенно улыбчивым, хотя и старым лицом.

На вечере она не присутствует — видимо, нездорова. Запомнившийся мне сочный, даже на нижних регистрах, голос заменяет подсушенная магнитофонная запись. Виктор Максимович, Арсений Тарковский, Лев Озеров говорят об Ахматовой как о крупнейшем русском поэте. Три доблестных мужа выстрадали право касаться вечно живых ран старшей сестры... Контрастом звучит чтение ее стихов очень юными ис-

полнительницами. Страстей — половодье, а вот ахматовской силы духа не хватает. Чтобы сказать так, как она написала, надо пережить хоть малую часть того, что пережила она.

Обсуждая все это, идем с дядей ... в ресторан «Националь». Я заказываю киевскую котлету, и он менторски поднимает палец:

— Будьте осмотрительны! Все мои дамы... (ах, у него и дамы были?) ... котлетой де'воляй пачкали себе платья.

В.М. очень интересуется взошедшей недавно на небосклоне русской советской поэзии плеядой молодых поэтов. Радует неожиданному взрыву лиричности. Расспрашивает меня об Ахмадулиной, Мориц, Вознесенском и других моих коллегах. С В.М. меня разделяют сорок пять лет, но я не чувствую этой разницы. Может, преклонный возраст — удел одряхлевших сердцем, фанатов и равнодушных, а все, кто сохранил душу живую, открытое сознание, — ровесники молодым?..

Прошло полтора года, мы обменялись несколькими письмами, и на крыльях любви (да простится мне эта банальность) я лечу в подмосковный санаторий Академии наук — «Узкое».

*Я в «Узком».
«Узкое»
такое русское,
такая всюду тишь и гладь,
что на закат, на солнце тусклое
вниманье
мелко
обращать.
Земля и этих красок простеньких
лишится, как последних сил.
Я здесь по приглашенью: родственник
меня на дачу пригласил...*

Лебедино-усадебным показалось мне «Узкое» в тот приезд. Правда, лебедей я не видела, но весь озерно-лесной уклад бывшего поместья как бы предполагал их. Дядя хорошо выглядит, собирается в Италию. Должен был ехать весной, но затянулось оформление. Непросто что-то откладывать в его-то годы.

— Они ни с чем не считаются, кроме хода своей имманентной машины, — говорит он.

В Италии В.М. будет читать лекции по-итальянски. В Генуе, в Риме,

во Флоренции. Первая тема — лингвистическая. Вторая — «Русский стих от Ломоносова до Маяковского». Откуда он знает итальянский? Учил в молодости. Полвека не было практики, а недавно взял несколько частных уроков — и все вспомнил.

Денег ему не дают. Жить должен на гонорары. С добросовестностью счетного работника В.М. делит и умножает итальянские лиры.

— Меня волнует только одно, — усмехается он, — хватит ли денег на поездки. Капри, скажем, Венеция...

Углубляемся в холодные аллеи парка, ступаем по сырому лиственному настилу. В.М. — посерединке, по бокам — мы с Ниной Александровной. Легконогая, моложавая, она привычно приспосабливает свой шаг к степенно шествующему мужу. Может быть, из-за появившейся седины, из-за дымчато-голубых бус, под стать этой седине, она особенно эффективна сегодня...

От аллеи естественно перейти к Бунину. Для моих друзей, особенно для Юрия Казакова, он — бог; а что думает о нашем идоле мой дядя?

— В юности я его не читал. Он считался у нас старомодным писателем. В последние годы самые разные люди говорили мне о нем с восторгом и преклонением. Я прочитал все, что вышло. Было и открытие, и разочарование. Он очень однообразен, утомителен. В его описаниях нет лаконизма и много слащавости. Мне претит и его специфическая эротика, тоже, кстати, слащавая. Знаменитая «Деревня» беспросветна, не нравится. При всем том он, конечно, большой писатель...

Заметив, что я подавлена таким его отзывом, В.М. меняет стиль разговора. Сначала он спрашивает мое мнение о том или ином литературном явлении...

Я радуюсь, если мы оказываемся единомышленниками. Глотаю горькую пилюлю, если нет...

— Паустовский? Я думал о нем раньше: ну еще один очеркист, пишущий на современные темы. В больнице мне попались его мемуары. Мне понравились. Было еще и потому интересно, что мы — ровесники. Что же еще, думаю, он написал? Спрашиваю у друзей — советуют читать собрание сочинений. «Романтики» — ходульная вещь и, как я называю, «роман о кальвадосе». Как у Ремарка — опустошение, пьют и спят друг с другом. Только менее талантливо. Зато «Блισταющие облака» — прекрасно. «Кара-Бугаз» очень хорош в первой половине. «Колхида» — отлично. Ну а «Золотая роза» — просто великолепно. Я понял, в чем его сила: он художественно воссоздает действительность на документальном материале...

Завожу речь о поэзии, о поэтах. Оказывается В.М. начинал со стихов, по рекомендации Блока попал «на башню» к Вячеславу Иванову. В стихах любит классическую ясность и совершенство формы. Признается, что пастернаковские раздерганные образы его раздражают. Про Цветаеву долгое время думал, что она крутится вокруг Блока, а это ему было неинтересно. Вообще московские поэты как-то выпали из его поля зрения.

Ленинградская школа — это прежде всего Ахматова.

— Она сейчас переживает... — привычно-обстоятельно начинает В.М.

— Свою посмертную славу! — не выдерживает Нина Александровна.

Причину колоссальной известности Ахматовой за границей мой собеседник видит в «Реквиеме» (ахматовский «Доктор Живаго») и в том, что она — единственная живая из западных кумиров.

— Она мне говорит: «Мы с вами дожили...» Я не принимаю этого «вы» на свой счет. Но она, действительно, не одна, а как уцелевший представитель целой группы.

О «Докторе Живаго», вокруг которого еще недавно шумели такие страсти, В.М. невозмутимо замечает, что так о революции мог бы написать один из персонажей «Дней Турбиных». Сравнивает Пастернака с американкой Митчел, «Доктора» — с романом «Унесенные ветром». И тут и там идеи реакционные, отвергнутые жизнью. А написано превосходно.

— Этого противоречия я объяснить не умею... — досказывает он.

Обосновав свою точку зрения, идущую вразрез с моей, В.М. не преминет добавить:

— Я понимаю, у вас есть свои убеждения. Я не хотел бы их оскорбить...

Господи, не сорок пять лет разделяют нас, а целая эра! Кто и когда говорил мне такие слова?

*...Нас разделяло все: Германия
до войн. И Блок еще живой.
И прерывающий дыхание
дух революций огневой.
И Марр в чести. И ноябрь весенняя...
И вдруг средь ясна неба гром:
разносы, чистки, объяснения,
размежевания платформ.
Та низкая, а эта шаткая,
ту или эту выбирай.*

*Наука — вещь сузубо штатская —
пылала, как передний край.
Какие рвы, какие горы вам
пройти с той армией пришлось?
Повычисляйте с Колмогоровым —
он знает все и вся насквозь...*

Стихотворение «Санаторий Академии наук», написанное совершенно искренно на уровне моего тогдашнего понимания, я послала адресату в Ленинград. Хотя оно заканчивалось на элегической ноте «За озеро два солнца катятся, / и над закатною водой / проходит академик Капица, / по силуэту молодой» и т.д., из моей новой книги его выбросили. В.М. среагировал на это неожиданно горячо.

«Почему запретили стихотворение «Дядя»? — спрашивает он в письме от 20 февраля 1967 года. — Это очень обидно и совсем непонятно!» Спустя полгода снова: «Как подвигается ваш сборник, и добровольно ли редакция исключила из него столь дорогого мне «Дядю»? Скажите им, что это очень глупо, в особенности если учесть, что тов. Чаковский, как передавало Канадское радио, сообщил в Монреале, что в Советском Союзе нет политической цензуры, а есть только «цензура нравов».

Одобрительно высказывался В.М. о моей книге «Забота» («Советский писатель», 68 г.): «Спасибо вам за сборник стихов. Он производит очень хорошее впечатление — большой зрелости и самостоятельности, которая, впрочем, была заметна уже с самого начала. У вас свой поэтический голос, который легко узнать. Вам присуща известная «интеллектуальность» — в хорошем смысле — разумеется, интеллектуальность поэтическая, которая, мне кажется, отчетливо определяет ваше особое лицо среди других «молодых» поэтов».

Дядя трогательно следил за моими литературными делами, особенно за отзывами зарубежной прессы. Прислал вырезку из газеты «Уни-та», где была напечатана беседа с Борисом Полевым, назвавшим в числе авторского актива журнала и мое имя. Прокомментировал отзыв на «Заботу» бюллетеня «Оклахома Пресс»: «...американский критик обрадовался изысканному модернизму вашей метафорике, оставшемуся незамеченным советским редактором».

В то время я стала собирать материалы для художественной биографии Ларисы Рейснер. «Политиздат» заключил со мной договор на книгу о женщине-комиссаре. Это официальное издательство вдруг начало

игры с «молодыми» писателями. Тогда были написаны и вышли «Глоток свободы» Б.Окуджавы, «Евангелие от Робеспьера» А.Гладилина, «Сказать не желаю» В.Корнилова и пр. У меня книга не получилась по объективным причинам. В издательстве испугались Ларисиних мужчин, а они были как на подбор: Гумилев, Раскольников, Радек. Где-то за кадром маячила и тень Троицкого... Много лет спустя, когда все стало можно, я сама потеряла интерес и к такой книге, и к ее героине. Но в конце 60-х почти год жизни отдала подготовительной архивной работе.

Рукописный отдел Ленинской библиотеки прилежно хранил архив Ларисы Михайловны, в том числе и письма к ней Гумилева. День за днем разбирала я драгоценные бумаги...

Прочитав в одном из гумилевских писем его сочувственный отзыв о статье Виктора Максимовича «Преодолевшие символизм» (1916 г.), я, естественно, сообщила об этом дяде, заодно задав ему кучу вопросов о Л.Рейснер и ее окружении. Привожу отрывки из его большого письма-ответа:

«С большим интересом прочитал высказывание Н.Г. о моей статье «Преодолевшие символизм» (...) С Н.Г. я встречался часто, но отношения у нас были скорее прохладные. Я и мои друзья, по-видимому, отталкивались от его чрезмерной мужественности и волевого склада характера, считали его не очень глубоким и тонким, не очень любили как поэта и предпочли бы видеть Ахматову за кем-нибудь другим. Я считал, что он не очень доволен моей статьей, т.к. в ней о нем говорится скорее с холодным уважением, а об А.А. с увлечением. Тем не менее однажды в 1919 или 1920 г., когда мы вместе шли нежным снежным вечером по Невскому, возвращаясь из горьковского Дома писателей, он сказал мне, что я единственный из современных критиков, который понимает и признает значение акмеизма как нового поэтического направления и что я мог бы стать «Сент-Бёвом» этого направления (...) Я отшутился, сказав, что для того, чтобы быть Сент-Бёвом, нужно иметь в своем распоряжении «понедельники» (критические статьи С.Б. выходили каждый понедельник в одной известной парижской газете (...), а у нас в то время с печатанием было очень слабо!

Ларису Рейснер я знал отдаленно, но довольно хорошо в годы ее ранней молодости (...), она издавала небольшой журнальчик «Рудин». В нем она напечатала свое первое литературное произведение — статью о поэте Райнер Мария Рильке. Для этой статьи она забрала у меня сборники Рильке, которые в П-ге не так легко было достать (...)

Ее роман с Н.Г. развивался частично на моих глазах. В стихотворной

драме «Гондла», написанной около этого времени и напечатанной в «Русской мысли» (позднее Н.Г. ее не переиздавал, хотя это одно из лучших его произведений), она отразилась именем Лери-Лари, которое присвоено героине. Я был на чтении этой драмы, на котором она, кажется, присутствовала (...)

Существенно для вас, что письма Н.Г. к ней она отдала Анне Андреевне — в порыве, вероятно, характерном для ее натуры (...)

Я сейчас сам приблизился к той эпохе, которую вы изучаете, времени моей молодости, потому что, по поручению изд. «Советский писатель», готовя для Большой серии «Библиотеки поэта» Собрание стихотворений Анны Ахматовой, которое задумано как более или менее полное. Задача эта — нелегкая, ввиду разбросанности ее поэтического наследия и трудных обстоятельств поэтической ее жизни. Но меня эта задача очень увлекает (...)

Везение из везений! Еду по поручению журнала «Юность» в Ленинград к В.М. — составить подборку из неопубликованных стихов Анны Ахматовой.

Инициатива принадлежит ему. Как явствует из письма В.М., он наконец-то «получил доступ в ее литературный архив, который находится частично в Москве (ЦГАЛИ), частично в Ленинграде (Публичная библиотека)» и нашел более двухсот неизданных стихотворений. Напоминаю мне, что в июне исполняется 80 лет со дня рождения Анны Андреевны, дядя спрашивает, не согласится ли «Юность» «помянуть великую русскую поэтессу хотя бы опубликованием ее стихов...»

Около года назад, когда я навестила его в Ленинграде, он был занят делом почти детективным, очень трудоемким. Не полагаясь на данную ему информацию, будто бы никаких неизвестных стихов от Ахматовой не осталось, он пытался создать «тень архива». В поисках неопубликованного объезжал ее друзей и знакомых в Ленинграде и Москве, и, прежде всего, конечно, тех, кого наградил евангельским именем «жен-мироносиц»: М.Петровых, Э.Герштейн, Н.Глен...

Он рассказывал мне обо всем этом на комаровской даче после обильной трапезы с таким вниманием к микроскопическим мелочам литературного толка (как то: варианты концовок, разночтения строк), с таким святым исследовательским жаром, каких мне уже не пришлось больше встретить ни в ком никогда. Он говорил — я внимала, а кошка Миссисипи — подарок Иосифа Бродского — терлась у нас под ногами. И.Б. как бы был передан ему Ахматовой по наследству. О таланте Иоси-

фа мнения он был превысокого и рвался рекомендовать его в Союз писателей.

И вот я снова здесь, в Комарово, опять Ахматова позвала меня сюда. А в глазах — солнце и неземная белизна лифляндского снега, сопровождавшие «академическую» машину, на которой мы добрались сюда из города.

По дороге заезжаем на могилу Анны Андреевны. Белой равниной смотрится комаровское кладбище, особенно в сравнении с переделкинским, «высокогорным». Сама могила — на коронном месте, дальше ничего нет. Правда, В.М. говорит, что это не по правилам, что нельзя запирать кладбищенские аллеи. Справа, на невысокой стенке, декорированной под кирпич, легкий барельеф поэтессы на заиндевелом квадрате. Не его ли в ознобе поэтического прозрения увидел давным-давно Мандельштам:

*Ах! матовый ангел на льду голубом,
Ахматовой Анне пишу я в альбом...*

По словам дяди, стенка с окошечком для будущего барельефа поначалу была воспринята всеми как тюремная. Вспоминали соответствующие строки из «Реквиема». Боялись за памятник. Однако установка барельефа сгладила опасное впечатление.

Грузный железный крест с безвкусным голубком раздражает В.М. Раньше, рассказывает он, был деревянный, и он подходил гораздо больше. Но Лева Гумилев настоял на этом. Бродский и Анатолий Найман грозились ночью вырвать крест.

— Но я их предупредил, — сурово шутит мой спутник, — что это будет истолковано как попытка сионистов надсмеяться над глубокими религиозными чувствами русского народа...

У могилы Ахматовой читаю наизусть посвященные ей стихи Гитовича («Дружите с теми, кто моложе вас...») и Смелякова. Со свойственной ему педантичностью В.М. делает замечание по поводу одной смеляковской фразы: «сам протодьякон в светлой ризе Вам отпущенье возглашал».

— Почему «протодьякон»? Это — не его миссия. Очевидно, «протоиерей»?.

Так как работа нам предстоит долгая, дядя заранее показывает мне место ночлега. Это — комната Веры и Али, «детская», где, как он с усмешкой обронил, «дети никогда не бывают, потому что им некогда». Теперь в «детской» царит Анна Андреевна. Количество папок с размно-

женными экземплярами ее стихов — огромно. Я сразу подпадаю под гипноз вариантов, черновиков, книжных и журнальных редакций — всего, чем живет хозяин дачи.

Сложность в том, что он готовит ахматовскую выборку еще и для «Нового мира», для Твардовского. И это, как я понимаю, для него сейчас главное.

Дней десять назад из нашей московской коммуналки В.М. звонил Твардовскому в больницу. Он звонил, а я набирала номер. Удивительно было слышать его покровительственную интонацию по отношению к поэту, на которого я и мои ровесники смотрели как на живого классика.

Твардовский за что-то благодарил его. Оказывается, В.М. публично ратовал за избрание его академиком. В ответ на мои вопросы дядя уверяет, что его заслуги в этом деле более чем скромны.

— Я только сказал, что, избрав Александра Трифоновича академиком, мы выиграем в общественном мнении.

К сожалению, этого не произошло...

Составлять две параллельные подборки не просто. Твардовский незримо присутствует за письменным столом, давя на хозяина своей личностью, авторитетом своего журнала. Я обретаюсь тут же, как говорится, живьем и непрерывно использую выгоды своего положения: «Это стихотворение — нам! Это — тоже нам! Что западает в отроческую память, остается с человеком навеки!»

Некоторые стихи В.М. непреклонно откладывает в сторону — среди них много сильных, сразу запоминающихся:

*Хулимые, хвалимые,
Ваш голос прост и дик.
Вы — непереволимые
Ни на один язык.*

*Вы самые свободные,
Хоть родились в тюрьме.*

Или:

*Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,*

*И пряталась в чужом овсе,
В чужой траве спала.*

В.М. объясняет, что не хочет нарушать тот относительный покой, который установился вокруг имени Ахматовой, избегает предлагать в печать какие бы то ни было компрометирующие стихи, касается ли это гражданского или женского «я» поэтессы.

Вообще мы все время переговариваемся. Дядя вслух комментирует многие стихи. Попутно рассказывает мне перипетии личной жизни Анны Андреевны. Передо мной встают как живые Гумилев, Шилейко, Пунин, Гаршин. Четверостишие, посвященное последнему:

*Глаза не свожу с горизонта,
Где метели пляшут чардаш.
Между нами, друг мой, три фронта:
Наш и вражий и снова наш.*

вызывает мое недоумение. О каких трех фронтах идет речь?

В свою очередь удивляется В.М.:

— Всякий ленинградец понимал тогда, о чем речь. Фронт был похож на слоеный пирог. Но раз выросли люди, которые не знают этого, я растолкую строку в примечаниях.

И растолковал. В однотомнике Ахматовой (Библиотека поэта. Советский писатель. Ленинградское отделение. 1976) нахожу: «Три фронта — защитники Ленинграда, блокировавшие город войска фашистов и советские войска, державшие последних в частичном окружении».

Работаем за полночь и на другой день — тоже. В результате две из «Северных элегий», стихотворения «Творчество», «Причитание», «Особенных претензий не имею», несколько четверостиший и еще много всего ложится в стопку для «Нового мира». Но и «Юность» не обижена: я увожу с собою тридцать неизвестных произведений Ахматовой, в том числе «Послесловие к ленинградскому циклу», «Четыре времени года», «Из цикла «Тайны ремесла»..

После моего отъезда В.М. шлет мне письмо за письмом. К составу публикации в «Юности», ее типографской подаче, к любым мелочам, обычно заботящим только технических редакционных работников, относится свято. Присылает вдогон свою вступительную заметку и примечания. Дает советы относительно портрета Анны Андреевны, по традиции журнала предвещающего стихи. Переписывает от руки и вкладыва-

ет в очередной конверт малоизвестные редакции ряда стихов, скрупулезно указывая выходные данные: «Свободный мир», 1918; «Свободный журнал», 1918... И со свойственной ему деликатностью еще благодарит меня за «материнские заботы» о нашем общем деле.

В 1969 году и «Новый мир» № 5 № 6/, и «Юность» № 6, и «Звезда» №8 почтили память поэтессы. В.М. чувствовал себя неважно, но продолжал упорно работать над книгой Ахматовой. Мало сказать «упорно». Со страстью, с какой-то юношеской алчностью.

В конце 69 года он пишет мне:

«Из очень чуткой и интересной статьи Л.Эйдлина «Иностранная литература» № 12 я узнал о выходе в свет сборника восточных переводов А.Ахматовой, под ред. С.Липкина. Вы представляете себе, как мне эта книга нужна, но достать ее в Л-де нет возможности! Мб., вы окажете мне помощь: позвоните С.И. Липкину от моего имени (мы были когда-то добрыми приятелями!) и попросите его дать вам для меня или послать мне экземпляр (...) Я был бы вам и ему очень обязан за такой новогодний подарок!»

В.М. тяжело переживал уход Твардовского из «Нового мира» и в марте семидесятого писал мне с горечью: «По-видимому не судьба нам иметь хорошие журналы, как и вообще — нешаблонные и неортодоксальные идеи. Трудно при этих условиях надеяться, что Собрание стихотворений Ахматовой встретит поддержку у «начальства» и скоро выйдет в свет».

Однотомник Ахматовой, как известно, вышел шесть лет спустя. Редакция «Библиотека поэта» выразила особую благодарность вдове составителя Н.А.Жирмунской за помощь при завершении работы над книгой.

Составляя московский «День поэзии» 1971 года, я попросила В.М. подсказать, кого из незаслуженно забытых поэтов начала века мы могли бы представить в мемориальном отделе.

Ответ его, как обычно, был незамедлителен: «... я очень рекомендую вам (...) Федора Сологуба. Это был действительно замечательный поэт, и так на него справедливо всегда смотрели его современники-поэты. По содержанию стихи его не содержат никаких специфических трудностей. Он оставил очень большое неизданное стихотворное наследие».

Увы, Сологуба мы так и не дали: среди членов редколлегии не было единодушия по этому вопросу. Зато напечатали М.Волошина и А.Ахматову, в частности одно из ключевых ее стихотворений: «De profundis... Мое поколение...»

В мае 1970 г. я с писательской группой побывала в Ленинграде. У нас была насыщенная программа — по несколько выступлений ежедневно. Вечером того дня, когда была запланирована наша поездка в Кронштадт, В.М. читал в Союзе писателей доклад «Блок и Ахматова». Я очень боялась, что на вечер мы не успеем. Но все получилось как по заказу. Мы вовремя вернулись в город, автобус подвез нас прямо к СП, и несколько человек из нашей группы перешли в полный и без того зал. Это была моя последняя встреча с дядей. 31 января 1971 года его не стало.

Со слов вдовы знаю, что последняя книга, которую он читал, «Былое и думы» Герцена. Последняя его речь — на банкете по случаю избрания Д.С.Лихачева академиком. Дмитрия Сергеевича он очень любил, помнил его студентом. И пожелал во всеуслышание, чтобы в академике Лихачеве побольше оставалось от юноши Лихачева, так похожего на Алешу Карамазова.

На похороны дяди я полетела на самолете. После людского водоворота на панихиде в Академии наук неправдоподобной показалась мне тишина комаровского кладбища. Я прочла стихи — ему, живому. Кто-то попросил меня взять несколько чайных роз из огромного букета у дядиного гроба и отнести на могилу Ахматовой.

Я так и сделала. Памятное мне надгробье, все в снегу, украшала могучая хвойная лапа. Я воткнула в нее свежие розы. «Ах! матовый ангел на льду голубом...»

Говорят, у покойников ничего нельзя отнимать. Но В.М., знаю, был бы доволен. Всю жизнь он отдавал. Науке. Литературе. Ученикам. Коллегам. Поэтам. Близким. Народу. «Что отдал — то твое» — не даром Ахматова поставила эти слова Шота Руставели эпиграфом к одному из своих стихотворений.

СПАСТИ ШМЕЛЯ

Апрель 1977 года... Еду с Тарковскими, Арсением Александровичем и Татьяной Алексеевной, на вечер Анны Ахматовой. С нами — поэт Марк Максимов. Всю дорогу — анекдоты, забавные случаи из литературной жизни. Юрий Олеша, рассказывает Тарковский, однажды приехал в Малеевку (в дом творчества писателей — Т.Ж.). Деньги на путевку достал для него друг, продавший ради этого дорогой музыкальный инструмент. Все были счастливы: наконец-то Олеша сядет за работу... Но через два дня увидели его с чемоданом у выхода. «Меня давят эти колонны», — объявил Ю.О. и уехал. Максимов подхватывает: встретил Олешу в Елисейском магазине. «Тс-с, — приложил тот палец к губам, — тут торгуют... трупами». У Марка глаза полезли на лоб: «Какими трупами?! «Разве сыр — не труп молока?!» — на полном серьезе ответил автор «Зависти» и брезгливо поморщился.

Едем на такси, и мне странно видеть за рулем не Татьяну Алексеевну, а какого-то незнакомого дядю. Обычно рулит она. По Минскому шоссе из Переделкина в Москву и обратно. По баковским и солнцевским (от Баковки и Солнцева) проселочным дорогам в поисках магазинчиков, где можно купить недорогую дефицитную одежду. К станции — отовариться чем-то вкусным для гостей, себя и Арсюши.

Иногда они берут меня с собой. Недавно проезжали мимо довольно обширного и глубокого переделкинского пруда, и Т.А. поведала мне, как будущий супруг чуть не утопил ее здесь.

— Он все грозился бросить меня в воду, а я смеялась — «слабо». Но он бросил. От хохота я чуть не захлебнулась. Выплыв, собрала кверху мокрые волосы. Новая прическа очень понравилась Арсению, и я долго ее носила. При этом присутствовал... — искоса взглянула на мужа, — Андрей. Было ему лет четырнадцать. Мне кажется, этот случай повлиял на него... — Т.А. отнимает руку от баранки и делает туманные круги над головой.

Вот так же уверенно рулит она и по жизни. Известная переводчица с английского Т.А. Озерская. Жена самого загадочного несоветского поэта советской эпохи. Мать обожаемого сына Алеши (говорят, он пьет, но она об этом ни полслова). Мачеха... Впрочем, об ее отношениях с взрослыми детьми А.А. мне ничего не известно.

Тарковскому скоро семьдесят. Сколько же ей? Она стройная, сильная, занимается гимнастикой, ездит в плавательный бассейн. Лет тридцать они уже вместе... Послевоенный бурный роман. «Жестокий», как я слышала от других, «увод» А.А. от второй жены. Татьяна же Алексеевна в наших женских уединенных беседах утверждает, что инициатива целиком исходила от него. Это он увел ее от мужа, засыпал цветами и посланиями. Не помню дословно, не хочу сочинять время и место, но живет во мне образ, талантливо, надо думать, переданный Т.А. Первое время их незаконной любви. Она — одна в какой-то мансарде наверху крутой лестницы. И по бесконечным ступенькам карабкается вверх почта-льон, доставляя ей через короткие промежутки времени телеграммы от уехавшего поэта. Они вместе были в Ашхабаде (А.Т. по переводческим делам) во время землетрясения 49 года. Уцелели тогда чудом...

...Мы уже въехали в черту города, миновали Рублевское шоссе. Прибудем в ЦДЛ часа за полтора до начала вечера. Вызванная к дому творчества машина примчалась за нами как на крыльях. Такси недавно по дорожали, многие — простаивают.

— Колеса должны крутиться, — говорит Марк Максимов, — иначе транспорт себя не оправдывает.

— Танюша, ты помнишь... — А.А. называет неизвестное мне имя. — Вот кто был настоящим маньяком такси. В семье нищета, а он берет авто, чтобы доехать от магазина до дому.

— Не всем везет, как тебе, — рассудительно замечает Т.А.

Одиннадцать лет прошло после смерти Ахматовой. Тогда, в мартовском Ленинграде, Арсений Александрович выступал на панихиде; слуховая память зафиксировала его надтреснутый, — щербинка с острыми несовпадающими краями, — ни на кого непохожий голос. «Мучительно выталкивал из себя слова...» — это прямо о нем, действительно, глубоко пережившем ее кончину. Был он и на отпевании у Николая Морского. Вот откуда:

*И эту тень я проводил в дорогу
Последнюю — к последнему порогу,
И два крыла у тени за спиной,
Как два луча, померкли понемногу...*

С Анной Ахматовой Тарковский познакомился в роковом 46 году, когда после Постановления ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград» пошла под нож готовая книга ее стихов, хорошо знал в годы официального затмения и полуофициального «воскресения из мертвых». Она дала ему чисто ахматовскую характеристику:

— Посмотрите на этого человека! Он кладет носовой платок в карман нескомканным!

Из-за наплыва народа вечер перенесли из Малого зала в Большой. Вел его Константин Ваншенкин. Он отнес Ахматову к той категории художников, которые создают вокруг себя мощное магнитное поле. Похвалил администрацию Дома литераторов за то, что отстояла (? — Т.Ж.) вечер от посягательств телевидения. С удовлетворением отметил, что налет ажиотажа, сенсационности вокруг имени Ахматовой рассеялся.

Тарковский выступал одним из первых.

— Сказать по правде, я боюсь воспоминаний... — так он начал, и я, не на шутку увлекшись этим огнеопасным жанром, по сю пору вижу предостерегающее выражение его глаз. Но так хочется вернуть из небытия хотя бы на миг тени дорогих людей, что переступаешь через табу, мобилизуешь мозг и сердце, листаешь старые записи, подвергая их единственно цензуре немилосердного отбора, склеиваешь выуженные островки живым веществом любви. Не посетуйте на меня, Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна!

Тарковский говорил о неприкосновенности личной жизни поэта. Его всегда пугало, когда публиковались письма Пушкина к жене. Если нельзя читать чужие письма, не следует ли из этого, что надо быть осторожным и с воспоминаниями...

Я оглядывала президиум. Согласно кивал головой Алексей Батов — в пике своей славы. Сопереживала с оратором Маргарита Алигер. Специально приехавшая из Ленинграда Лидия Гинзбург изучала спокойствие человека, великолепно осведомленного в предмете обсуждения. Несколько особняком держалась Наталия Ильина. Посвечивала лиловой сединой балерина Татьяна Вячеслова. Александр Тышлер и Владимир Медведев олицетворяли собой театральную и книжную жизнь страны с 20-х до 70-х...

Арсений Александрович уже перешел к стихам. Назвал поэтический голос Ахматовой благородным. Способность к гармонии, сказал он, была утеряна символистами и вновь найдена Ахматовой. У нее стихотворение возникает совершенно естественно, как будто его надиктовали. Такое присуще было одному Пушкину. Вот изумительное ахматов-

ское четверостишие.. (Тарковский прочел «И дикой свежестью и силой/ Мне счастье веяло в лицо,/ Как будто друг, от века милый,/ Вскочил со мною на крыльцо».) А потом читал свое: «Я кончил книгу и поставил точку..», «Когда у Николая Морского...», «Домой, домой, домой...», «По льду, по снегу, по жасмину...» и, наконец, «И эту тень...»

На обратном пути в Переделкино Татьяна Алексеевна критиковала мужа: слишком много говорил и читал, заткнул рот Эмме Герштейн.. Мы с Марком тщетно пытались восстановить справедливость. Защитил себя сам обвиняемый:

— Почему же заткнул? Герштейн и не собиралась выступать. Слишком много воспоминаний — трудно выбрать..

Поладили они на том, что нашли общего козла отпущения. Из стройного хора выступавших выбивался сотрудник ЦГАЛИ. Темные очки. Развязная манера стриптизировать великих. Он уличал в ошибках Виктора Максимовича (полуоборот Т.А. в мою сторону), Евгеньева-Максимова! Спору нет, в руках у него уникальный материал, но распорядился он им не по-хозяйски.

Переделкинский ужин мы, понятное дело, пропустили, но в холле, на подносе, стояли накрытые тарелками четыре порции — для Тарковских, Марка Максимова и меня.

Перед сном я попросила у Тарковского весь ахматовский цикл, и он дал мне свои стихи, целую тетрадь, на подержание, даже не сказав насколько. Благо мы жили визави в конце длинного узкого коридора писательского общежития, облагоустроенного красивым названием. Раза три, приехав на полный срок в дом творчества, я попадала в одну и ту же комнату №47. Помещение было неважнецкое, смахивало на узкий гроб, правда, под высокой крышкой. То, что напротив, в таком же 48-м, почти постоянно жил Арсений Александрович, а рядом с ним или через две стены от него стучала на машинке Татьяна Алексеевна, сбивало спесь. Ну уж если Тарковские..

Я не задержала стихов. Прочла в ту же ночь, переписала для себя самые пронзительные. Да, их надо читать глазами. Там, на вечере, я больше вслушивалась в модуляции голоса поэта, страдала вместе с ним, потому что он читал свои стихи, страдая.. А смысл? Такой прихотливый, такой пугающе-трезвый смысл ускользал от меня, и, наверное, не от меня одной.

*...Что, если память вне земных условий
Бессильна день восстановить в ночи?*

*Что, если тень, покинув землю, в слове
Не ждет* бессмертья?
Сердце, замолчи,
Не ли, глотни еще немного крови,
Благослови рассветные лучи.*

После одного разговора (речь о нем впереди) я считала А.Т. горячо верующим христианином. В этом качестве он интересовал меня не меньше, чем поэт. Но ведь христиане, насколько мне известно, верят в жизнь вечную. Даже Пушкин, о вере и безверии которого было столько споров, писал, что «душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит», а в заключительном стихотворении ахматовского цикла поставлены под сомнение и жажда бессмертья в слове, и сама посмертная память.

Впрямую задать А.Т. свои вопросы я стеснялась. Вот, подумает, дуручка, а еще племянница Виктора Максимовича! Понадобилось почти двадцать лет, чтобы, работая над книгой «Библия и русская поэзия», я поняла, что сомнения и метания едва ли не самого философского поэта нашего времени Арсения Тарковского разделяли Державин и Боратынский, Лермонтов и Блок.

Но в такие темные и глубокие воды ныряла я не часто. Обычно, сделав скромную ежедневную дозу литературной работы, больше во второй половине дня и только по приглашению заходила одна или с дочкой в комнату А.А. Боже! Чего тут только не было! Вазочки, шкатулки, картинки на стенах, сухие цветы, альбомы, расписной пузатый чайник, коробки с таинственными наполнителями. Все это напоминало мне почему-то «Игрушечную лавку» Герберта Уэлса — есть у него такой рассказ. Когда через десяток лет (Тарковские уже перебрались в дом ветеранов кино в Матвеевском) я за какой-то надобностью заглянула в №48 к новому постояльцу, голизна стен и казенность обстановки тяжело ударили по сердцу. Все прекрасное исчезло, будто и не бывало. Точно как в том фантастическом рассказе.

Тарковский нежно относился к моей дочери Саше. Было ей тогда 12 лет. Как-то раз мы наперебой принялись рассказывать ему, что решились остричь Сашины длинные косы, очень нравившиеся А.А.

* В книге «Белый день» (М., «Эксмо-Пресс», «Яуза», 1998) напечатано не «ждет», а «пьет». Оставляю, как было в рукописи.

— Надоело заплетать.. Сейчас модны короткие стрижки.. Волосы мы сохраним.. Оставим на память..

— Да, это очень важно, — откликнулся хозяин. — Можно будет сделать из них.. бороду и усы.

В другой раз он поинтересовался, долго ли растут девочки. Не будет ли Саша, или, как он ее называл, Александра Павловна, слишком высокой?

— Я всегда мечтал быть высоким. Но у меня ничего не получилось.

— Зато вы красивый, — утешила его девочка.

— Ну какой я красивый! Старый, дряхлый и плешивый..

Узнав, что у нас дома живет кошка, А.А. поделился с нами детским воспоминанием. Однажды он свою любимую кошку.. подоил в чайную ложечку. И попробовал молоко.

— Какое оно на вкус? — загорелась Саша.

— Соленькое..

Взаимная симпатия А.Т. и моей дочери увенчалась таким образом. Она подарила ему свое фото, где изображена в балетной пачке, покрытая, как святая Инесса, еще не остриженными волосами. А он дал согласие ответить на вопросы ее школьного дневника. Ответы, по счастью, сохранились.

1. Как тебя зовут? В каком классе и в какой школе ты учишься?

— Арсений Тарковский, класса нет и школы, увы, нет.

2. С кем ты дружишь?

— Мои друзья — девочка Уля Огородникова (7 лет) и Александра Павловна, она же Сашенька.

3. Цель твоей жизни?

— Моя цель жизни — достичь такого могущества, чтобы никто не имел права шлепать меня, ставить в угол и, вместо троек, писать у меня в дневнике двойки.

4. Твой идеал?

— Возраст: лет 12. Длинная. Худенькая. Ротастая. Зовут Сашенькой.

5. Кем ты собираешься стать?

— Покойником, довольно терпеливым.

6. Чего ты желаешь хозяйке дневника?

— Счастья, здоровья, колоссального богатства и, кроме всего этого, полнейшего исполнения всех желаний. И еще — иметь лошадь или хотя бы ослика и очень хорошую и умную собаку.

7. Какой у тебя характер?

— Очень плохой.

8. Кто твой любимый поэт?

— Пушкин и еще несколько не — Пушкиных.

9. Как ты относишься к поп-музыке?

— Поп-музыки не люблю, а хорошую музыку люблю, даже если она современная.

10. В каком кружке ты состоишь?

— В очень тесном кружке.

11. Твое хобби?

— Мое хобби даже не совсем хобби: музыка, астрономия, чтение книг по археологии, расшифровка древней письменности, стирка трусов и носовых платков. Глажение утюгом двух последних предметов одежды.

12. Любишь ли ты танцевать?

— Люблю, но у меня это плохо получается, хотя я стараюсь делать это, как Анна Павлова. Сносно у меня получается только «Умирающий лебедь» Сен-Санса.

13. Твоя любимая игра?

— Выборы Бюро секции переводчиков в Союзе писателей.

14. Твое любимое занятие?

— Читать в постели, что очень вредно.

15. Твое любимое блюдо?

— Пудинг с собайоном.

16. Когда ты родился?

— Очень давно: не успело пройти восьми лет с начала нынешнего века, как мой папа сказал: «Посмотрите, у нас что-то родилось новенькое!»

С глубоким уважением к хозяйке дневника — АТ (подпись).

В конце апреля Александр Межиров привез в Переделкино на встречу с Тарковским свой семинар с Высших литературных курсов «Игрушечная лавка» не вместила бы всех приехавших, — встречу перенесли в Красный уголок в помещении конторы, на второй этаж. Тарковский взбирался по лестнице с большим трудом. Весна еще не вошла в полную силу, рамы не выставляли. Между стеклами бился и жужжал крупный шмель. А.Т. сразу обратил на него внимание. Сначала своей палкой, потом линейкой попытался достать его. Оповестил всех присутствующих:

— Самое важное сейчас — спасти шмеля.

Некий великовозрастный литературный птенец, отогнув гвоздик, высадил раму, и шмель улетел на свободу..

— У-у-х! — облегченно вздохнул А.Т.

Межиров — только что с очередного писательского пленума, — по собственному признанию, повторил сказанное им в большой аудитории: сроки созревания поэта и внешние условия не всегда совпадают. Вспоминал Сквороду: «Старость — это награда». Цитировал Самойлова: «Спасибо тем, кто нам мешал,/ И слава тем, кто сам решал,/ Кому не помогали».

Все это было преамбулой к чтению Тарковского. Читал он много — сидя, по тетради. Нервична была его правая нога, и тем каменнее, неподвижнее выглядела левая — протез, доставлявший ему великие муки. Особенно запомнились мне «Жили-были» (Межиров тут же громогласно выразил свой восторг), «Тот жил и умер, та жила ...» (не знаю лучшего, более естественного и виртуозного сонета в современной поэзии), «В магазине меня обсчитали...» (редкий у Тарковского чисто бытовой зачин), «Просыпается тело...» О последнем — отдельно. Оно — об отречении апостола Петра...

Однажды я засиделась у Тарковских до позднего вечера, потому что А.А. был в ударе, Т.А. в добром расположении духа и беседа текла в самом желательном для меня направлении. У меня был с собой журнал «Америка», где шла дискуссия о человеческом мозге: что он такое — просто центральный отдел нервной системы или генераторная лампа, преобразующая в энергию мысли некую высшую духовную энергию?

А.А. и Т.А., к моей радости, оказались «идеалистами». Рассказывали: недавно в подмосковном Пушкине они беседовали с замдиректора Института белка. На их вопрос о моменте перехода неорганической материи в органическую и далее — в мыслящую органическую он ответил примерно так... Теоретически возникновение органической жизни и ее высшей формы не исключается, но практически равно нулю. Если телевизор разобрать на лом, сложить в мешок и бросить на свалку, сколько шансов, что части сами собой организуются в нечто целое, образуют прежнее единство?

Прежнее Единство — другое название Бога, я его больше не встречала. О Боге запредельном, ветхозаветном не говорили. Разговор перекинулся на Христа и его учеников, на «роковой треугольник»: Тиберий, Христос, Пилат. Пилат хотел отпустить Христа, но разве Тиберий, удачливый организатор Тайной полиции, мог смириться с заявлением «Иисус — Царь иудейский?» Почему-то А.А. был уверен, что И Х был «царем» в Кумранской общине, как и Иоанн Креститель, — там были приняты омовения, общая трапеза. А я была слишком мало подготовлена, чтобы это провергать. Да и зачем?! О Христе он говорил, как о реальном

человеке, горячо, заинтересованно, о поведении Его учеников — сокрушаясь сердцем. Апостол Петр, как известно, трижды отрекся от Христа, пока не пропел петух. Не забудем все же, что Петр вместе с Иоанном, чуть поотстав, сопровождали стражу, когда другие ученики разбежались.

Не знаю, как воспринял стихотворение о Петре межжировский семинар, — написанное за полгода до нашей беседы, оно для меня, как яркая комета с таким же ярким хвостом-комментарием и такое же непостижимое.

*Просыпается тело,
Напрягается слух.
Ночь дошла до предела,
Крикнул третий петух.
Сел старик на кровать,
Заскрипела кровать.
Было так при Пилате,
Что теперь вспоминать.
И какая досада
Сердце точит с утра?
И на что это надо —
Горевать за Петра?
Кто всего мне дороже,
Всех желаннее мне?
В эту ночь от кого же
Я отрекся во сне?
Крик идет петушинный
В первой утренней мгле
Через горы-долины
По широкой земле.*

Это, конечно, сказано о себе. От кого же отрекся автор и почему это его так мучило? Можно строить любые предположения, подставлять разные имена, от Христа до тех женских и мужских, что введены в орбиту поэта, все равно занятие это праздное. И не целомудренное. Тарковский вовсе не хотел, чтобы его расшифровывали. Иначе не написал бы за десять лет до того: «Мне бы только теперь до конца не раскрыться...»

Хочется успокоить поэта: его тайна не раскрыта, хоть и выпущена им на волю, доверена всей земле, если не всей вселенной.

Мне кажется, отстранение от сугубой конкретности, желание не посягать на прикровенную тайну бытия и отдельного человеческого су-

ществования роднит творения Тарковского-отца и Тарковского-сына, в другом жанре, другими художественными средствами подтвердившего свое двойное сыновство: религиозное и кровное.

На том памятном мне семинаре Арсений Александрович не только говорил, развертывая книгу своей жизни, но и слушал. Звучали имена новых поэтов, Межиров увлеченно читал строки Юрия Кузнецова об ошибочно выбранном историческом пути, о страшной подмене, которую тогда, в конце 70-х, мог не заметить только слепой: вместо рельсов под колесами движущегося состава оказались... змеи. Стихи — «ужастики» еще только входили в моду, и на меня, например, сильное впечатление производили строки: «Но колеса всего эшелона на змеиные спины сошли».

А.Т., однако, не клюнул на приманку. Признавая «физиологическую» (так и сказал) одаренность поэтов кузнецовского направления, он отвергал идею русского мессианства (как и любого другого: марксистского, немецкого, еврейского), сетовал, что прервалась связь времен, предупреждал, что экспрессионизм часто ведет к фашизму.

— Ничего более мрачного я не читал в своей жизни! — сказал он мне, возвращая книгу одного «гения», привезенную из Москвы.

Он пытался спасти не только шмеля, но и культуру — в поэзии, в слове, в отношении к женщине.

— Тушить окурки о тело своей любимой... Бр-р-р, — содрогнулся он как от боли.

— Да кто так делает, Арсений Александрович?

— Я слышал, мне говорили...

О «принципиальном бескультурии» вел речь не раз.

— Ну сел на своего конька! — отмахивалась Татьяна Алексеевна.

При всех своих неувядающих статях, она тоже служила культуре. «Почтовая лошадь просвещения» как нельзя лучше подходило ей, хотя вряд ли ей польстило бы это пушкинское определение. И днем и вечером стрекотала машинка в ее комнате. Той весной Т.А. Озерская переводила «Унесенных ветром» американки Митчел.

К 70-летию я подарила А.А. кожаную шкатулку для носовых платков со стихами, где были такие строки: «Пока жену уносит ветер,/ Который Митчел подняла,/ Кто, неизменно свеж и светел,/ Сворачивает женские дела?»

— А как он натирает полы! — воскликнула Т.А., милостиво присовокупляя к стирке и глажке платков — трусов и чисто мужское занятие.

Между Т.А. и мной завязалась что-то похожее на дружбу. По вечерам А.А. редко выходил на прогулку. Прохаживались по слабо освещен-

ным дорожкам и вокруг дома мы одни. Т.А. рассказывала о себе. Из дворянского рода. Дочь офицера. Старший брат — один из первых российских пилотов, летал на самолете «Русский витязь» и погиб, — это была незаживающая рана.. После революции одно время работала трамвайной стрелочницей, мерзла. Потом — машинисткой. Окончила Институт иностранных языков. Участвовала в составлении словарей. Мика Морозов дал ей перевести отрывок из «Саги о Форсайтах», и ее сразу приняли на второй курс Литературного института.

Что бы ни приписывала ей литературная молва, она была Арсению Александровичу подходящей парой. Он любил сильных женщин. Т.А. посвящены его страстные стихи:

*...Мне-то ведомо, какую —
Ночью темной, без огня,
Мне-то ведомо, какую
Неспокойной, молодой
Ты бываешь без меня.
...Был и я когда-то молод.
Ты пришла из тех ночей.
Был и я когда-то молод,
Мне понятен душный холод,
Вешний лед в крови твоей.*

Как радовалась она, когда поэт Павел Хмара привез журнал «Крокодил» с «поселковой повестью» А.Т. «Чудо со щеглом»!

— Вы знаете, Тамара, какой тираж у «Крокодила?»

— Мильона два?

— Арсюша, слышишь: она говорит «два миллиона». Не два, а восемь! — и сияет так, как будто муж получил госпремию. (Он и получил ее, — но посмертно.)

У них были разные кошельки, разумеется, условно, но им это нравилось, давало, к примеру, возможность делать друг другу подарки...

Прежде чем расстаться с Тарковскими, хочу привести отрывочные записи из моего дневника за апрель-май 1977 года.

..Гуляли после дождя. А.А. высматривал в траве водосбор — сильно разрезанные листики, присобранные в манжетку, на которых серебрились капли дождя. Нагибаться с палкой ему трудно. Я сорвала такое растение, поднесла к его лицу, и он блаженно втянул капельку. В благодар-

ность наломал мне веток с пушистыми «цыплятами», вспоминал о бедствиях в Елисаветграде, когда у его семьи отняли все, — остались одни матрацы и лира из воловьих рогов. Мать послала его к приятельнице взять денег в долг — для мальчика тяжелая просьба. И вдруг он нашел портмоне, набитое деньгами! Мать заставила его написать 30 объявлений о находке и расклеить по городу. Владелец не объявился. Жили на найденные деньги.

..Ездил с Тарковскими в Одинцово покупать А.А. джинсовый костюм. Купили. Он страшно доволен.

..Первого мая старая дама с неизжитыми комсомольско-молодежными замашками ласково мурлычет в ухо А.А.:

— Почему вы не смотрите по ТВ парад?

— Знаете, я предпочитаю другие наслаждения в жизни.

..Рассказывал о встрече с поэтом Александром Жаровым, который покровительственным голосом говорил ему: «Поздравляю тебя, Арсений...» — «С чем?» — «Ну, у тебя все так успешно складывается в последнее время...»

— Фу! Мне даже нехорошо стало. Вы знаете, кто он? Консультант КГБ по поэзии. Боюсь, похвалил меня не к добру...

И тут же, посмеиваясь над самим собой, придав лицу притворно-смирненное выражение:

— Мы — зайчики...

..С большим уважением говорит о польском Доминиканском монастыре, где недавно побывал. Колоссальная библиотека. Словари, энциклопедии. Там ему рассказали, как высший католический чин принимал одно духовное лицо из-за границы. Сидели за отлично сервированным столом, ели из серебра и хрусталя какую-то хреновину. На вопрос «почему?» последовал ответ:

— Я ем то, что ест мой народ.

Причину крепости католицизма в Польше А.А. видит в том, что церковь там всегда была с народом. В России, как правило, нет. Исключений немного. Таким исключением был патриарх Тихон.

..— Когда ко мне приезжает дочка, мне хочется покормить ее, уложить спать, рассказать сказку, как маленькой.

...У А.А. несколько иное чувство юмора, чем у нас. Узнав, что мой муж Павел работает в журнале «Советская женщина», он развеселился:

— Работает в «Советской женщине?» Ха-ха-ха.

Любившая молодых мужчин, Т.А. обиделась за Павла:

— Не понимаю, что тут смешного!

— Как ты не понимаешь? Павел знает, что делать с советской женщиной. В ней надо работать. Ха-ха-ха.

...Много рассказывал о Блоке.

— Я его очень любил, но теперь он мне все меньше нужен.

В числе немногих А.А. хоронил в Ленинграде Любовь Дмитриевну. Ее живую описывает с юмором: величиной со шкаф или комод, красное лицо в белых узелках... Тогда на кладбище заглянул в могилу: вода стояла в яме. Брат Л.Д. стал доказывать, что хоронят не Блок, а Менделееву («Блокам мы ее не отдадим!»). Ее воспоминания считает ужасными. Мне — строго:

— Вам нельзя их читать!

О Марине Цветаевой.

...Как-то А.А. навестил ее дома. Жила она тогда, кажется, в Телеграфном переулке. М.Ц. сидела на полу над листом газеты и счищала грязь с дорожных, на толстой подошве туфель. Сказала, что ходила в этих туфлях по Парижу, это парижская грязь, она ее соберет и будет носить в ладанке на шее.

...А.А. ездил с ней в Тарусу к старшей сестре Валерии (Лере). М.Ц. послала его на разведку. Лера мыла пол шваброй. Вот ее слова: «Передайте ей, что, если она сейчас же не уберется, я ее этой шваброй смажу»

...Мур допекал ее, что вернулись. Он был полный, обрюзгший, ходил в коротких штанах, то ли подросток, то ли мужчина. Она ему жарила без конца яичницу (съедал за раз по десять яиц) и стирала рубашки.

...После начала войны была настроена пессимистически. Видела, как немцы прошли по Франции и Чехии. Думала, то же будет с Россией.

...Подарила Тарковскому носовой платочек, а его жене (А.А.Бохоновой — Т.Ж.) малахитовые бусы. Та была уверена, что Марина заговорила их и поэтому они ее душат...

В Чистопольской тетради Тарковского не случайно, думаю, упоминается «платочек»: «А все платочек комкаешь кровавый». Имя Марины названо только в последнем X стихотворении. Весь цикл, в особенности же VIII стихотворение, — крик души:

*Я не ревную к моему врагу,
Я не страшусь твоей недоброй славы,
Кляни меня, замучь, но — Боже правый! —
Любить тебя в обиде не могу.*

Цветаева обиделась на Тарковского за то, что он (в стихах, конечно) «накрыл стол на шестерых», забыв ее, седьмую. В «Осколках зеркала» М.Тарковская объяснила всю неправомерность этой обиды: «Как-то в гостях, в присутствии Марины Ивановны, папа прочел свое «балладное» стихотворение «Стол накрыт на шестерых...», обращенное к дорогим теням — к умершим отцу, брату, любимой. Папа написал его 30 июля 1940 года, за несколько дней до годовщины смерти его Дамы, женщины в «немодных синих шелках», которую он «горше всех любил» и которой посвятил около двадцати стихотворений, в том числе и «Первые свидания».

Как следует из приведенного выше четверостишия, «в обиде» любить ее он не мог..

Десять лет прошло. История переломилась. Я написала верлибр к 80-летию Арсения Александровича.

«В день Вашего юбилея/ (а Вам всегда будет тридцать) / с одной небольшой компанией/ я забрела к Вам на дачу./ Конечно, она пустовала,/ ведь Вы тут почти не живете,/ приезжали на съемки, как мне рассказали,/ но длились они недолго./ Что сняли телевизионщики?/ Общее захламление?/ Ваш холодильник «Север»/ в глубине застекленной террасы?/ Или сад, сырой, неухоженный,/ но обадающий свежестью, / как ветка жасмина, что высунулась/ из пышного зеленого рукава?/ Чем больше общество занято/ борьбой хорошего с лучшим,/ а также плохо-го с худшим,/ экономическими проблемами,/ идеологическими проблемами,/ искоренением пьянства,/ «Памятью» на грани беспамятства,/ диалогом двух формаций, / ремонтом подземных коммуникаций,/ который никогда не кончается,/ тем больше оно нуждается/ в таком как Вы, поэте./ Сложном, как сложно все сущее,/ от атома до универсума,/ упорно держащемся за понятия,/ поставленные под сомнение:/ День творенья, душа, воздаянье, Страшный суд,/ красивом во все возрасты,/ воистину созданном/ по образу и подобию.../ Будьте же благословенны и долговечны,/ ибо, если мы Вам наскучим/ и Вы хлопнете дверью, / обнаружится такой дефицит поэзии,/ который может привести к удушью,/ еще живых.»

Летом 87-го вместе с дочерью мы поехали в Матвеевское к Тарковским, повезли не столько стихи, сколько лекарство для А. А. Достал его (тогда это было не просто) детский врач Дмитрий Дегтярев.

Арсений Александрович был какой-то странный, нас или не узнал, или не хотел общаться. Зато Т.А. была сама предупредительность. Усадила его за стол, дала две книги стихов, ручку: «Подпиши!» Он подписал, очень аккуратно, — одну книгу нам, другую Диме.

Т.А. была уверена, что его подкосила смерть Андрея. У нее тоже умер сын. Единственный. Но она держалась. По ее совету мы с Сашей решили посмотреть фильм «Дама с камелиями», который демонстрировался в доме творчества.

Услышав название, А. А. усмехнулся:

— Дама с камениями? — и больше ни звука...

Отпевали Тарковского в Переделкинской церкви. На Переделкинском кладбище рядом с могилой поэта было оставлено равновеликое место для... мы думали, жены, его неразлучной в течение 40 лет подруги, но в воздухе витало: Андрея... После похорон Т.А. устроила пышные поминки в Дубовом зале ЦДЛ. Пригласила тех, кто, действительно, был связан с покойным, за начальством не гналась. Была она в торжественном трауре, волосы высоко подняты и гладко причесаны, на лице — строгий макияж. Но моя Саша, которую не забыла позвать внимательная вдова, шепнула мне:

— Она красивая, как Смерть...

Еще раз собрав нас в Георгиевском зале Кремля по случаю получения Тарковским Государственной премии за книгу стихотворений «От юности до старости», Татьяна Алексеевна последовала за Флегетон — реку, опоясывающую Царство мертвых, по зову своего мужа.

ПРОГУЛКА ПОД РАДИОАКТИВНЫМ ДОЖДЕМ

— Как вы себя чувствуете, Юлия Моисеевна ?

— Чувствую ..

Не раздражение, а ирония — по отношению ко мне, задающей банальные вопросы, к себе, как-никак перевалившей 80-летний рубеж, ко всему этому подвялому, но еще свежему мгновениями, неистощимому на ошеломительные новости расточительно-скупому миру.

Об эпохе, выпавшей ей на долю, Юля говорит в настоящем времени: «Смотрим захватывающий спектакль, но у нас плохие места ...

Квартирка маленькая, заставленная сверх меры, на столе и стульях папки не первой молодости — с рукописями, с подстрочниками. Но все-таки двухкомнатная, на Аэропорте — этом склерозированном сердце советской литературы. Через день приходит прислуга, дама норковистая. Отдельно, но недалеко живут дочка, внучка, обе с мужскими половинами. Внучка уже нянчит сына.

— Хотя я редко его вижу, я рада, что у меня есть правнук, — говорит хозяйка.

Поэтессу Юлию Нейман я запомнила с 1956 года, когда студенткой прочла в Литературной Москве №2 её благородно-сдержанный 1941. Переводчицу Юлию Нейман знала, наверное, вся читающая Россия. Стихотворная продукция Давида Кугультинова, Расула Гамзатова, при всем своем калмыцко-дагестанском изобилии, не была бы так популярна в народе, если бы под стихами и поэмами не стояло короткое, в три слова, но разрешительное, как виза: перевела Юлия Нейман. Оба — генералы от национальной поэзии. А скольких стихотворцев среднего состава и просто рядовых повела за собой Юля на приступ безымянной, но вождеденной высоты...

*Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова —*

это Арсений Тарковский, старинный товарищ, еще по литературным курсам, сменившим Брюсовский литературный институт. Может быть, больше чем товарищ, — студенческая влюбленность, кумыкский княжич, до того красивый, что даже не знаешь, что с ним делать.

— В молодости у него были такие красные губы, — вспоминает Юля, — что все думали, он их красит. Я передала ему это, и он демонстративно, рукавом, стал их тереть.

— И не стер?

— Конечно, нет!

— Несмываемой помады тогда еще не было?..

Юля посмеивается. Мы обе посмеиваемся, как заговорщицы. Ведь и старый Тарковский такой красивый, что просто непонятно, что с ним делать.

Но жизнь есть жизнь. На золотом пяточке переводной национальной поэзии бывшие однокашники не могли не сталкиваться. Какое-то нарушение издательского договора, какая-то несправедливая делёжка литературного гонорара. У Юли, как она мне признается, с Тарковскими сейчас сложные отношения. С Арсением и его супругой Татьяной.

Тут многое намешалось. О первой жене Арсения Александровича Марусе Вишняковой (в фильме «Зеркало» ее играла Терехова) Юля всегда говорит с любовью и болью. Прокатывается насчет последующих жен: «Первая жена, говорят, от Бога, вторая — от людей, а третья — от дьявола».

— Ну, к Татьяне Алексеевне это не относится!

— Вы думаете?.. — Пауза. — Давайте чай пить! — приглашаюсь я к самообслуживанию.

Юля плохо ходит, у нее пухнут и болят ноги, и мне, разумеется, сподручнее, по ее указаниям, даваемым из комнаты, поставить на плиту чайник, достать из шкафчика именно эти, а не другие чашки, блюда, ложки, из холодильника — сыр и масло. Потом она приходит на кухню, и мы разговариваем. О чем? Ясное дело, о перестройке. Ей уже дан полный ход. У нее свой «Взгляд», похлеще взгляда Чумака и Кашпировского. Он гипнотизирует полстраны. Юля — в этой половине. Вообще-то она скептик, но скептик, открытый всему новому.

*Поверх старых вер,
Новых навыков.
В завтра, — Русь, — поверх
Внуков — к правнукам!*

Где опрометчиво новое, там Марина Цветаева... Подумать только: я жила в десяти минутах хода от Трехпрудного и лет до восемнадцати гуляла по нему без трепета. Никогда не слышала ее имени. Но Юля должна была его знать.

— Конечно, знала! — включается она. — Но видела один раз в жизни. В Москве, после ее возвращения. На литературном вечере.

— Она выступала?

— Нет, она слушала. По-моему, Дмитрия Журавлева. Рядом с ней сидел Мур. Я подумала: сразу видно, что его привезли оттуда. Здесь таких мальчиков не делают.

— Молодые поэты тянулись к ней?

— Мужчины — да: Тарковский, Липкин.

— В ней был женский магнетизм?

— Она рано постарела. Но магнетизм был. Гений всегда притягивает.

— А женщины — поэтессы знали ей цену? Алигер? Петровых?

— Маргарита витала тогда в других сферах... — моя собеседница делает размытый жест рукой, чтобы определить эти сферы, не постыдно низкие, но и не так, чтобы очень высокие. — А Маруся...

Мария Сергеевна Петровых — вторая Маруся в обиходе хозяйки дома. Тоже однокашница, тоже любимая. Ее я неплохо знала, ее я хорошила в 1979 году в негустой, но сплоченной единым чувством утраты толпе. Когда там, в старом крематории у Донского, торчащие из гроба стебли живых цветов грубо, до хруста, придавили неуместной голубой крышкой, показалось, что казнили Красоту.

— У Маруси, — вы, наверное, знаете, — муж, Аришин отец, был в лагере. Даже вообразить не могу, за что его посадили. Поэт, не имевший к политике никакого отношения. Не буян — тихий гордый интеллигент. Она, бедная, билась как могла. На руках маленький ребенок. Надо заработать на хлеб, на посылку мужу. Она ездила к нему в такую даль, уставала страшно. Добиралась на перекладных по сибирскому морозу. Поэзия в ней всегда жила, но в те предвоенные годы, боюсь, ей было не до Цветаевой, не до стихов. Оставались только переводы. Чтобы выжить.

О том, как ездила Мария Сергеевна на свидание к мужу, я слышала давно. В конце 60-х театральная художница, ученица А.Я. Головина Вера Евсеевна Айзенберг писала гуашью мой портрет «в серых перламутровых тонах», как сама определила, и, чтобы модель не каменела, рассказывала страшную сагу, как две хрупкие женщины, поэт и художник, только силой своей любви прошибали неприступные стены казематов.

— Аришин отец не вернулся?

— Где там! Загинул, как и многие другие. Уже потом возник Фадеев: «Назначь мне свиданье у синих глаз».

— Он ее любил?

— Он всех любил.

— Но Манделъштам-то... «Ты, Мария, гибнущим подмога...»

Юлия Моисеевна морщится. Чувствуется, что ей надоела эта неблагодарная тема.

— Она тяготилась его любовью. Боялась его.

— Она знала его стихи о...

Юля искренне возмущена. Как я могла такое подумать? При чем тут стихи о Сталине? При чем страх в его примитивной биологической форме?! Она боялась болезненных преувеличений страсти, напора чувств, на которые не могла отвечать.

Я так и не привыкла к резким поворотам ее природы, когда на глазах она превращалась из доброго духа дома в стреноженный ураган, готовый хлопнуть окнами и дверьми этого дома.

Так постоянны ее возвраты к прошлому, что однажды я говорю:

— А вы сядьте и напишите...

— О чем?

— О Тарковском, о Петровых, о литературных курсах, вообще о вашей жизни.

— Я уже все написала.

— Вы написали в стихах, стихи читают далеко не все, а то, что вы видели и помните, интересно всем.

— У меня столько неотложной работы, — упрямится она.

Опять эти прожорливые подстрочники! Ими забиты все ящики письменного стола, — не найдешь нужного листочка, они лезут из всех щелей, из полутворенной дверцы тумбочки. Недавно Юля мне прочла один свежепоступивший подстрочник. Полная голизна смысла. Ни одной зазубринки, чтобы зацепиться интерпретатору. Я давно знакома с переводческой эквилибристикой, сама ей занималась, прижатая безденежьем. Но, когда в следующий мой приход Ю.М. протянула мне свое, уже отпечатанное на машинке переложение этого «шедевра», я просто онемела от удивления. Гладильную доску превратить в лесенку, неуклонно ведущую вверх!

На мое недовольное ворчание «на что вы тратите свое время» хозяйка кротко возражает, что все вокруг: и эта уютная мебель, и небогатый, но устойчивый, при ее-то нетвердой походке, быт, — обязано своим существованием именно перелопаченным подстрочникам.

Да, собственные строчки (по-маяковскому) не накопили ей и рубля. Первую книгу, «Костер на снегу», она выпустила в 67 лет! Вторую, «Мысли в пути», издала Элиста, где, кстати, есть даже улица Юлии Нейман. Спасибо братьям-калмыкам и за книгу, и за улицу! Третья за 80 лет жизни книга, «Причуды памяти», вышла в издательстве «Советский писатель» в 1988 году. Полная перворазрядных вещей, написанных за столетия, она сильно запоздала.

— Стихи не могут опоздать, это не поезд! — утешали ее добрые друзья — поэты: Елена Николаевская, Лев Озеров, Яков Хелемский. Но горькую пилюлю невозможно было позолотить ни отзывами доброжелателей, ни персональным творческим вечером, состоявшимся в музее Неждановой.

И в наш компьютерный век могут найтись истинные ценители «книжно-бумажной» литературы, своего рода археологи от поэзии. Они извлекают культурные фрагменты из-под позднейших наслоений, невидимыми кисточками обметут прах времен, сочленят разрозненные части и скажут: это прекрасно! Но к живому литературному процессу, из которого Нейман была выброшена на десятилетия, это отношения не имеет.

Поэтому так хочется возместить достойным авторам несправедливо утраченное, так вздрагиваешь душой, когда их оставшиеся втуне стихи вдруг резко высвечиваются лучом истории.

В дневнике мальчика Юры, будущего знаменитого писателя Юрия Трифонова («Дружба народов», 1998, №№ 5, 6) есть такая запись: «В этот же день приехала бабушка и привезла письмо мамы, оно было завернуто в какую-то бумажку. Мамочка писала, что она подъезжает к Свердловску, велит не унывать и о себе не беспокоиться. Еле видны буквы, письмо написано на маленьком клочке бумаги. И сбоку приписка: «Товарищи, кто найдет эту бумажку, пусть отправит по адресу: Москва 72, ул. Серафимовича, д.2, кв. 137. Юрию Трифонову».

А на конверте надпись детским почерком: «Мы нашли эту бумажку на переезде гор.Свердловска».

Хорошие ребята. Бедняжка мамочка, и так мне ее жалко.

А вот стихи Юлии Нейман «Письма»:

Все-таки они доходили.

Все-таки их находили.

Не истлели они на италах!

Славлю, славлю старых и малых —

*Тех, кто все-таки подымал их
Под рябым недреманным небом —
Письма, залепленные хлебом.*

Но есть в поэтическом хозяйстве Ю.М. и такие вещи, которые не устарели нисколько, наоборот, с годами как будто набирают силу, не потому ли, что их питает источник вечной энергии — библейская, или, как выражались раньше, священная история?

Я долго не знала таких стихов Юли. Они не печатались. Она мне их не показывала, а показала, вернее, доверила незадолго до смерти, узнав, что у меня есть своя машинистка, с неожиданно-настоятельной просьбой — как можно скорее перепечатать с ветхих мало разборчивых страниц. Помнится, альманах «Апрель» в лице Хелемского попросил у нее стихи для публикации. Они и были там частично напечатаны, в №8 (1995г.)

Однако ненапечатанных еще много.

О том, что Юлия Нейман болеет «еврейством», я могла бы догадаться и раньше. Читала и даже была причастна к публикации ее «Хрустальной ночи» («День поэзии». М., 1989).

Но это было другое. Голос крови. Голос тысячелетней истории. Вопль Иова в юбке: Боже, я любил Тебя... За что?!

В последние месяцы жизни, стесненная со всех сторон в своей квартире племенем младым, знакомо-незнакомым, узнав, что мой муж едет в Израиль проведать своих родственников, Юля возжелала ехать вместе с ним! Там жили ее кузины. Под ее диктовку я написала им письмо. Она просила вызов! Поэт и интеллигентка, русее многих русских, по произволу билетера попавшая в задние ряды, но неутомимо-страстная зрительница и участница «захватывающего спектакля» современности, она готова была покинуть Родину. Болезнь и смерть сделали ее в либеральнейшие времена вечной отказницей.

А подарил мне дружбу с Юлией Нейман подмосковный дом творчества «Голицыно». В послечернобыльском мае 1986 года. Мы встречались и раньше, на «старушечьих посиделках» у поэтессы Елены Благиной, на ее, Елены Александровны, 70-летнем юбилее. «Благише», которая ушла раньше, посвящено одно из последних стихотворений Ю.М.

Голицыно как будто сомкнуло вокруг нас обруч. Почти тридцатилетняя разница в возрасте не мешала. Весна была ранняя, все начинало зеленеть и благоухать. После недавнего пожара старый «коршевский» дом был полностью перестроен, приобрел черты современности и даже

советского модерна. Юля жила на первом этаже, я на втором. До обеда мы обычно работали в своих «кельях», впрочем, с удобствами, а потом встречались, сидели в саду или, если моей старшей подруге позволяли силы, гуляли по проспектам (в Голицыне улиц нет — только проспекты), а то шли на станцию «отовариваться» в местных магазинчиках.

Юля была разборчива в одежде, одевалась у «спекулянтки», то есть втридорога покупала заморские тряпки у какой-то ловкой московской бабы. Так что в голицынских «Промтоварах» приобретала только второстепенные аксессуары.

— Юлия Моисеевна! Айда на станцию!

— Острая нужда в новых панталонах?

— Да нет, просто пройтись...

— Ну, пройтись можно и в старых...

Здесь, в Голицыне, она приоткрыла для меня плотную завесу, скрывающую ее женскую, сугубо личную жизнь.

Это нынешнее поколение молодых женщин выбалтывает свои интимные секреты с такой же легкостью, как поглощает «чудо-йогурт». Мы были сдержаннее, а наши матери почти никого не допускали в святая святых своей души.

В середине 30-х Юля вышла замуж за военного, уехала в гарнизон, чуть ли не на Дальнем Востоке, родила дочь. Гарнизонная звезда — фonetически удачное, но дикое по смыслу словосочетание. Разлюбилась, вырвалась, умотала. Дочку воспитывала бабушка, Юлина мать. А потом пришла настоящая любовь...

В предвоенные годы Михаил Осипов был главным редактором молодежного журнала «Смена», а Юля — его сотрудницей. Казак, рожденный, как сам любил выражаться, «в Сальских степях», он не очень-то хорошо разбирался в художественных достоинствах и недостатках художественных произведений. И всецело передоверял это ей, окончившей к тому времени МГУ. Доверие человека некомпетентного к профессионалу встречается не столь уж часто. Оно говорит о недюжинном уме и немалом мужестве.

Любовный роман вспыхнул неожиданно и протекал бурно. Встречались в кафе «Националь», еще имевшем незамутненную репутацию, на улицах, площадях и бульварах Москвы. В комнатухе на IV Мещанской, где Ю.М. ютилась в те годы. Миша был человеком «с прошлым». Тогда в это слово вкладывался горький смысл — опыт ареста, следствия, суда, тюрьмы или лагеря. Они никогда не говорили с ним об этом. Однажды, обидевшись по-женски, она чуть не дала ему пощечину. И, уже

занеся руку для удара, почувствовала: его били. Не дамочки — это не в счет: умело и страшно били те, для кого битье, издевательства над ближним стали профессией.

Осенью 41-го редакция «Смены» срочно эвакуировалась из Москвы. Юля уехала к матери и дочке в Уфу. Миша и другие ее коллеги — в Куйбышев. М. Осипову посвящены самые горячие любовные стихи Юлии Нейман, в том числе и распевно-горькая «Заплачка»:

*Мое солнышко, мое красное,
Светлый месяц мой молодой,
На кого меня в ночь ненастную
Кинул-бросил ты сиротой?!
На какую боль немилучую?
На какой земной неуют?
Люди злые здесь да колючие,
Чуж-чужане кругом спуют...
...И досталось мне, горькой, мыкаться
По чужим дворам без любви...
Не доплакаться, не докликаться —
Хоть зови тебя не зови...
Все равно позову по имени —
Встань, приди, как в былые дни!
Обними меня!.. Отними меня!..
От чужих людей заслони!*

В Голицыне выяснилось, что у нас есть общий, теперь никем не читаемый, любимый писатель: А. Амфитеатров. И общая любимая его книга «Жар-цвет».

— Первый раз, Юля, встречаю человека, потрясенного на всю жизнь «Жар-цветом». Я нашла его в отцовской библиотеке лет в тринадцать, читала, только когда дома кто-нибудь был, и то дрожала от страха.

— И я. Тоже в тринадцать или двенадцать лет. Еще в Уфе.

— Помните эту фразу: «Мертвые только днем мертвы, ночи же принадлежат им, и эта луна, восходящая на небе, — их солнце?»

Она все помнит. Как вызывала Лала с неба на землю огромного змея: черная точка росла, росла и превращалась в отвратительную гадину. Как полуживая-полумертвая красавица Зося бродила по заброшенному парку в надежде на воскрешение. Как влюблен был в нее герой: ему

нужно было только схватить в июньскую ночь цветок папоротника — и злые чары пали бы... «Будет и на нашей улице праздник!» — так заканчивалась эта сказка ужасов. Только ли ужасов? А сколько в ней поэзии! Поэзия, как и ужасы, нетленна.

— Писатели занимаются бессмертным делом, — говорит Юлия Моисеевна без пафоса. — Если я в Уфе очень давно, если вы в Москве много-много позже прочитали одну и ту же книгу и запомнили навсегда...

— ... будет и на нашей улице праздник! — заключаю я.

В местный кинотеатр, на какой-то пиратский фильм, мы пошли вдвоем. Нас объединили «мальчишеские вкусы», как выразилась Юля. Было, если не ошибаюсь, шестое мая. Моросил дождик, но зонта мы не взяли: проходными дворами идти недалеко, да и дождь приятный, теплый, освежающий... Зато обратно бежали трусцой — дождь лил как из ведра, — трусца, разумеется, условная, применительно к Юлиным пешеходным способностям. Я поддерживала ее, как могла, только бы не упала.

Много времени спустя (начиналась эпоха гласности) я прочла, что тот дождь был особенный, радиоактивный: Чернобыль, о котором так скупо сообщили СМИ, излил на легкомысленных человечков всю свою злобу, особенно свирепствуя в северо-западном направлении. В Голицыно мы ездили с Белорусского вокзала.

Я ничего не сказала Юле. Хватало на ее век радиоактивных дождей!

РАНЕНЬИ ЖЕМЧУГ

Руа Ретиро дос Артиста, Жакарепагуа... И, не зная португальского, я догадалась, что речь идет об актерах или художниках, о каком-то уходе («ретироваться») или возврате в прошлое.

Когда в Москве всесведущий в делах русской зарубежной литературы Евгений Витковский дал мне бразильский адрес Валерия Перелешина, я стала мысленно проращивать влажные, романски закругленные слова, вытягивая из них факирским жестом лазурную лагуну, рекламнo-курортные пальмы, длинную аллею с ослепительным просветом в конце, марципановый домик где-то посередке под навесом из райски плодовых ветвей.

Немного смушало, что поэт, как объяснил мне Женя, живет в доме престарелых. Ну и что?! У нас — так, а у них — по-другому. Да и у нас порой неплохо: всех бы бездомных и малосильных туда, под сень яблочкинской богадельни...

Прежде чем ехать в неведомое Жакарепагуа, я позвонила из квартиры, где остановилась. На мое затверженное приглашение «дона Валериу Перелешин» ответом была... вата. Точнее, ватный тампон, забитый в мое ухо. Не только у нас обслуга остро нуждается в переподготовке. Я решила ждать. И ждала вечность. Наконец кто-то взял трубку. Началась телефонная мука. На том конце провода почему-то упорно не понимали ни моего русского, ни английского, ни даже местного наречия (подоспела помощь квартирной хозяйки). Вдруг меня озарило: я говорю с глухим. В лучшем случае с тугослышащим, который не хочет признаться в своем дефекте. Перешла на крик и — ура! — объяснились, одноязычные. Дон Валериу пожелал, чтобы я приехала сейчас. Просто взяла таксомотор, и через 40—50 минут моторист доставит меня куда надо. Финансовую сторону я освещать не стала, но громко, по слогам, объявила, что сегодня не смогу — завтра.

— Это жестоко! — воскликнула трубка с качаловским глоссандо.

Еду... В лазурную лагуну, в марципановый домик. Как, оказывается, убого мое воображение!

Пробег, что «мотористу» не составил бы труда, три автобуса, вонючих, как керогаз из военного детства, угрюмо передавая эстафету друг другу, одолели за два часа с лишним. Город кончался и начинался вновь. Усеченные небоскребы переходили в пятиэтажки знакомого образца; ухудшенные близнецы архитектурных шедевров Северной Пальмиры соседствовали с коттеджами-черепахами, где так мало не одетого в панцирь из черепицы. Многоэтажность исчезала и появлялась снова.

Живописный бразильский мусор, выметенный из центра сотнями щеток, за городской чертой (а их было несколько) брал у отцов города реванш, образуя на больших пространствах множество бесснежных горок и безмуравьиных куч. К счастью для эстетов, общая запакощенность была не так заметна, как у нас; все застилал и талантливо вуалировал цветочный ковер из ярко-малиновых звездочек — родственниц нашего «огонька».

Возникший оазисом на серой улице бело-синий храм не храм, но по виду здание «культового назначения», в окружении бюстов, оказался декорацией. В нем никто не жил, внутри располагался то ли склад, то ли подсобка. Престарелых артистов поселили позади нарядного фасада, в одноэтажных фанерных домиках. Утлых. Без приусадебного участка, без зелени. Перелешинская хибарка значилась под номером пять.

Стучать не пришлось. Дверь отворена, чтобы не сказать условно, заходи, жди хозяина, который, как показал знаками сосед, в столовой на обеде.

Надоело толчение воды в ступе: должны или не должны походить стихи на автора, автор на стихи? Что значит «должны»? Что за дурацкая детерминированность? Если уж вам, читатель, выпала честь быть современником двух-трех поэтов (не всех, слава Богу, успели укокошить!) и вы получили невысказанную возможность увидеть одного из них вблизи и даже беседовать с ним, оставьте за порогом всяческие претензии. Смешной нелепый человек? С плохо заклеенным стеклянным кружком в бухгалтерской оправе? Тугоухий? Припадающий на одну ногу, как лорд Байрон?

Зажмурьтесь и вспомните, что он — поэт. Русский Поэт. Большой Россией до такой степени, что эта высокая болезнь, с ее прекрасным бредом, подбьет его над географическими широтами, над временными координатами; ему воистину возвещено нечто из иных сфер; и в ли-

хую для Родины годину он вдруг оказывается участником сегодняшней борьбы, огненным носителем нынешних гражданских страстей, к голо-су которого не грех прислушаться:

*Клич обиды и мщениа брошен:
о Россия, вернись на Восток!
Бредил Белый, и верил Волошин.
Сгорал серафический Блок.*

*К богдыханам, каганам, калифам
под охрану меча и копья
прибеги потревоженным скифом,
Россия, Россия моя —*

*Под защиту к распутицам, к топям
или, лучше, к пустыням нагим:
раздурачим тебя, разъевротим,
разниконим и распетрим!*

Телесная оболочка — тлен, слетит, и поминай как звали. А вот словесный автопортрет останется — в не тесно увешенной добротными холстами галерее, называемой отечественной поэзией. Какой высоко-родный чекан, какое самоиронией загрунтованное, клиньями света и тени испещренное полотно:

*Да, я Салатко и Петрище,
я двойственный и с юных дней
чем глубже увязал в грязнице,
тем небо делалось ясней.
Всю жизнь качаюсь на качели:
то блеск небес, то сумрак щели,
то выше облака взлечу,
то... Но, пожалуй, промолчу...*

*То вертолет, то чурбан,
то Ариэль, то Калибан...*

Салатко-Петрище — родовая фамилия отца поэта. Родился дон Валериу в Сибири в 1913 году. Ребенком был вывезен в Харбин. Потом

жил в Шанхае. С приходом «красных китайцев» (его выражение) покинул вторую любимую страну, — первая, конечно, Россия, — обосновался в Бразилии. Грамматику нового языка выучил еще на пароходе. Подготовил для нас с вами сплошь из незнакомых имен составленную, за исключением, пожалуй, Томаса Антонио Гонзаги, которого отметил единственным переводом еще Пушкин, антологию бразильской поэзии «Южный крест». Есть в ней прелестные штучки:

*Тереза, ты красивее всего, что я видел
в жизни, красивее даже морской
свинки, которую мне подарили,
когда мне было шесть лет.*

Мануэл Бандейра

Перелешин многоязычен. Но язык, который, смею сказать, он знает лучше огромного количества россиян, на котором он пишет, грезит, зло вышучивает, философствует, читает летучие лекции по поэтике, призывая меня и всех нас к абсолютному поэтическому слуху и «формальному совершенству», — это материнский язык, русский язык...

Пока он азартно утешает меня стихами чуть ли не из каждой своей книги, а их, т.е. книг, у него полтора десятка, внимание слушательницы я невольно прославляю впечатлениями очевидицы. Гипертрофируя, можно назвать его жилье квартирой: что-то вроде кабинета, что-то вроде спальни, кухня. Есть и «удобства», но лучше бы их не было: с того конца веет полями орошения.

Сегодня дождливый день осенней весны (вот где, в Южном полушарии, реализуется этот поэтический образ). И в доме сумрачно, зябко. Как же он живет здесь круглый год, 75-летний щелкунчик, очень одинокий после смерти матери, терзаемый молодыми и старческими недугами, запертый, как отслужившая фигура в углу шахматной доски?

Вот я сказала «отслужившая» — а правильно ли это? Перелешин — не дипломат, не резидент, отыгравший свою игру. Поэт, если и фигура, то на другом биоэнергетическом поле, «на небесах» или еще дальше... Нет, он и на этом свете фигура. Не для многих, но хотя бы для некоторых. Написал же Семен Карлинский (знаю его книгу о Цветаевой!) из Штатов, что получил неожиданные деньги и хочет его издать. И издал. «Поэму без предмета», написанную, подумайте только, онегинской строфой, — веский, как буханка хлеба, том. Себестоимость чуть ли не 6 тысяч долларов.

— А гонорары вы получаете?

— Какие гонорары?! — смешок сквозь неровную прорезь рта. — Я благодарен издателям, что с меня не берут. За бумагу и краску.

Я жадна до поэтических новинок. Няню «Поэму», как младенца.

Сквозь надвигающуюся слепоту хозяин дома замечает это и, соболезнуя, разводит руками:

— Презентовать не могу. Имею единственный экземпляр. Но другие книги подарю. Возьмите стул, доставьте сама. Видите ту стопку? И вот эту, над креслом? И еще две правее?

Высота потолка, знакомая до слез: два с половиной метра. Стоило облетать полземли, чтобы поднятой рукой привычно-легко дотянуться до верхних книжек?

По углам кабинета — гамаки из паутины. Навесные полки скособочены, книжные зиккураты грозят обвалом. Но как-то держатся. Удерживаюсь и я на шатком сиденье. Честно беру из каждой пачки по одному экземпляру. По просьбе автора вкладываю ему в руки шестую книгу стихотворений «Качель» («Посев», Франкфурт-на-Майне, 1971).

Он декламирует из нее, изредка прикладывая перечеркнутое очко к тексту:

*Овца, отставшая от стада,
И я иду не за толпой,
Иду туда, куда не надо,
Туда, где волчий водотой.
Что ж, Пастырь добрый, разве ныне
Тех девяносто девяти
Уже не бросишь ты в пустыне,
Чтоб одного приобрести?*

«Святой Георгий», «Колокол», «Заупокойный канон», «Поэма о мироздании», «Крестный путь» (венки сонетов), «Корковадо» (гора, неподалеку отсюда, где колоссальным железобетонным распятием застыл 20-метровый Христос) — красноречивые названия стихов избавляют меня от многоглаголения по поводу главной поэтической стези Перелешина. Я слушаю удивительного старца, и нет уже вокруг нас убогой запустелости. Нет и прибитого жизнью очкарика, который ползком пробирается через собственные сочинения.

О, извечный, такой русский мотив заколдованного молодца и тающих под лучом любви вредоносных чар!

Место, где бросил якорь, дон Валерию называет старинным полуза-

бытым словом: убежище. В убежище убегают? Или утекают? Его утекли... Не благостный старичок. Не удобный. С библейским жалом в плоти и язвительным умом.

— Если бы фельдфебели писали стихи, — ерничает он, — то как... Гумилев. У него слово всегда имеет единичный, жесткий смысл. Не как у Мандельштама...

В стихах — другое отношение к Николаю Степановичу. Правда, изящной вещице «При получении стихов Гумилева» скоро минет полвека! Взгляды меняются. В теплой гнилостной атмосфере благословенного Рио все процессы протекают быстрее и более бурно:

*Гордого кудесника и мага,
Господи, простишь ли Ты его?
Оживала под пером бумага,
Он творил, как Ты, из ничего.
Нынче я не наслаждался вдосталь
Книгой — завтра к ней вернусь опять:
Эту книгу надо, как Апостол,
Маленькими главками читать!*

Хозяин подтверждает мое предположение, что я первая из нынешних русских пиитов добралась до него.

— А Евтушенко? Он же тут был. Не нашел вас?

— Это я его не нашел! — и ухмылка в ладонь.

На мой вопрос относительно одного популярного «по ту сторону» коллеги:

— Читал Ерундистика.

Отзыв о свежей «совписовской» книге поэтессы:

— Замечательная наблюдательность. Именно женская. Но слишком много разговорных форм. Спотыкался о слова, которых нет в русском языке.

— Какие же?

Листает сборник. Хоть шрифт крупный, четкий. Слепой дать не посмела бы — ему, с его-то зрением...

— Вот! — нашел и торжествует, что не голословен: — «Вскорости нет такого слова! «Может» вместо «может быть», «может статься».

Спорить, цитировать как аргумент в защиту стихи великих бесполезно... После какой-то реплики он призывно посвистал.

— У вас собака? — обрадовалась я.

— Собака... которой нет. Но которая была.

Радость от его недавно вышедшей книги подмочена:

— Ужасающее количество опечаток! Вместо «не» всегда «ни».

За такое в Сибирь ссылают!..

Кстати, о Сибири пишет всегда с горечью. У «Блудного сына», «Изгоя», «Возвращения», «Возвращенцу» финал один: возврат невозможен, потому что его Ангары, его Сибири, его России давно нет. Узнаю антисоветские клише. Но боль не клиширована. Боль, она его, перелешинская:

*...Чита. Я на второй площадке
дом незабвенный разыскал:
в саду — картофельные грядки,
а во дворе — обрезки шпал.*

*Охранник сторожит ворота
винтовкой, саблей и штыком:
тащить и не пущать кого-то
он собирается в партком!*

*От дома уцелели стены,
от лиственницы — черный пенъ.
Зачем же гнали мне сирены
про ту, нетленную сирень?*

*Так вот родное пепелище:
дом обесчещен, сад изрыт...
Бездомен возвращенец нищий,
по-детски плачущий навзрыд.*

А раз так, лучше никуда не трогаться! Даже теперь, когда, казалось бы, можно. Когда приглашают, даже печатают. «Новый мир» и «Огонек» с его стихами, вырезка из «Вопросов литературы», где немного о нем, — всегда под рукой. Рядом с банкой кофе (роскошь, которую он себе позволяет — это в Бразилии-то!), горкой чистой бумаги, стопочкой конвертов — корреспонденты у него по всему свету.

Бытовые подробности его жизни печальны. Но не так, как могли бы быть, не безысходны. И он этим счастлив. Ежемесячное пособие из США: 45 долларов. Маленькая бразильская пенсия. Иногда денежные

присылки от старых друзей. Этого хватает на бумажные и почтовые расходы, на кофе и конфеты. Фруктами не балуется.

Пребывание в доме престарелых обходится ему в 40 новокрузадос (примерно 8 долларов). Это — дешево. Все же крыша над головой и питание. Увы, на борьбу с домовыми крысами он ухлопал почти все свои сбережения, но избавился, похоже, надолго. Распорядок дня такой: рано утром кофе с хлебом, в 12 — завтрак, в 17 — обеда, в основном суп. В 19 запирают ворота.

— А если вы где-то задержались?

Судя по лукавому выражению лица, он задерживается частенько. О, у него тут пестрое общение. Спириты — старики и старухи. Дамы-патронессы. Красивые юноши.

— Если я возвращаюсь с опозданием, я должен предупредить. Но это уже... услуга.

Глобальные политические вопросы, что так мучают нас, вечных шестидесятников, его как бы не касаются вовсе. Ариэля-Калибана волнует другое. Степень дозволенности того, что рвется в стихи из подполья. Надо ли что-то отметить и стоит ли ломать над этим голову? После Кузмина, Софьи Парнок то, что казалось когда-то дерзновенным, не становится ли ординарным?.. На фестивале поэзии в Амстердаме он встретил японку, которая обогнала его на 500 лет! Именно в смысле раскрепощенности, разрешенности себе абсолютно всего. Для нее даже нет такой проблемы...

В следующую встречу я прочла ему свои стихи.

*Копакабана... Копакабана...
Путь вдоль Атлантики неспешен.
Меня встречает, как ни странно,
поэт Валерий Перелешин.
Он большеухий и большеносый,
живет в скворечнике, как птица,
но с панскою цевницей росса
ему назначил Бог родиться.
В убежище, куда посмели
засунуть крошку Гуинплена,
продернут млечный звук свирели
жемчужной ниткою сквозь стены.
Здесь, где проблематичны двери
и где проблематичен ужин,*

*я с полу подыму, Валерий,
одну из раненых жемчужин.*

Горделиво, но с ноткой конфузливости, он спросил:

— А кто такой Гуинплен?..

Валерий Перелешин скончался 7 ноября 1992 года в Рио-де-Жанейро, где провел, пульсируя стихами, последние 39 лет своего земного существования.

«Я ИЗ ГЕРМАНИИ
НЕЧАСТНОЙ...»

*** *** ***

Потомки тех, которые
Екатериной званы,
подставлены историей,
зализывают раны.

Алтайские и омские,
такие и сякие,
с каталками-котомками
тикают из России.

Трудились, что-то нажили,
дивясь сибирской шири,
но на вопрос: «Вы наши ли?»
ответили: «Чужие!»

И вот бросают кухоньки,
а с ними и коттеджи,
где сладко пахнет кухоном,
да попораны надежды,
где память об изгнании
с чужбины на чужбину,
как знания сакральные,
дарила немка сыну..

Недавний житель Мюнхена,
одна из многих «гоим»,
я кухона не нюхала
и не слыла изгоем,

но были озабочены
глаза судей суровых:
в анкете червоточина,
она из полукровок.

На солнце дети нежатся.
Общага как общага.
У контингентных беженцев
туз козырной — бумага,
что хоть один из троицы,
благословив природу,
принадлежит по совести
к еврейскому народу.

Социаламт, полиция
и Арбайтсамт впридачу,
как будто взят с полочным — и...
и клянчишь передачу.

Отцы общины, брезгуя:
«Платить? С какой же стати?
Не юдиш — смесь вселенская».
Но платят всем: «Врастайте!»

Врастем прочнее прочного,
прибиты сытной пищей,
и вдруг, как отзвук прошлого:
не коренной ты — пришлый.

Ну ладно, мы-то пожили
на черно-белом свете.
Хозяева хорошие,
ребятушек не метьте...

НЮРНБЕРГ. 1999

«Не Нюренбёрг, — поправляют, — Нюрнберг!»
Тут не хватает лишь лингафона.
Среди российских штанов и юбок
мелькнет немецкая униформа.
А может, это глаза ребенка,
что к взрослым жался в недетском страхе,
германцев видят так однобоко,
из красок мира запомнив : хаки!
В казарме тихо. Я не сказала,
что, как кормушка в железных прутьях,
за изгородкой видна казарма
в двух корпусах под названием «Грюндик».
Символ дерзання и досягання.
Техникой бредили и арийцы.
«Тьфу, инородцы кишат под ногами.
Нужно «ненужными»* распорядиться:
«Айн, цвай...»
Но те, кто, устав от торга,
жиды — хорошо это или худо,
сюда приехал, не будут строго
думать, куда, а скорей — откуда.
Нары.. Белье, хоть и обветшало,
видно: стирали его на совесть,
не пожалев порошка и крахмала,
к встрече законных гостей готовясь.
Перед осмотром чтобы помылись,
крупными буквами объявление..
Неблагодарные тут же смылись,
а благодарные в умиление:
«Хорошее дело затеяли бурши.
Да, были допущены перегибы.
Кадили идолу.. Что мы, лучше?»

* Nötige juden — евреи, могущие быть полезными для третьего рейха. Unnötige — ненужные.

Но протрезвели... А мы могли бы?
И почему молодым, умелым
надо внушать, что они виноваты,
раз не причастны они ни к расстрелам,
ни к этим газовым аппаратам?»
Но «Нюренбергский процесс» — не просто
фильм, что когда-то снял Стэнли Крамер, —
он, как невидимая короста,
кожу кровавыми рвет клоками.
Все еще тянется век насилья.
Перелистнуть бы эту страницу!
Те, что приехали, не забыли.
Тем, что встречают их, не забыться!

ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ. 8.11.1938.

Бить, сокрушая, зеркала,
бить стекла — окна и витрины...
Толпа, зверя, прокляла
иуд — они одни повинны
в том, что нищает бедный люд,
жиреют толстосумы. Немцы
на горбоносых спину гнут.
Всем заправляют иноверцы.
Еврейские гешефты — вдрызг!
Звезду Давида — за решетку!
Я слышу окаянный визг,
как прокаженные — трещотку.
Бить все, что отражает свет,
вбивать осколки в мрак и сырость...
Темнее ночи в мире нет,
навек солнце закатилось.
Одумайтесь! Сквозь блестящие слез
в соборах и Пинакотеке
на вас глядит еврей Христос...
«То Бог, а это — человек».
Для лжехристиан не сыщешь злей
врагов, чем те, в чьем доме Тора.

Благословенный город сей
был как Содом и как Гоморра...
Господь народ свой отстоял,
хоть многие ушли до срока...
Один таинственный кристалл
во тьме светился одиноко.
Не вечен мрак, не вечен страх,
вот-вот, пока еще не поздно,
к ногам подростшей Анны Франк
он упадет и вспыхнет звездно.

*** **

В старой церкви, прогнав невеселые
мысли,
зажигаю свечу по Раисе.
Там, где лики святых прозреваешь заране,
пусть и в греческой раме,
где Спаситель с Афонской
спускается выси,
зажигаю свечу по Раисе...
Что любовь не игрушки, не девичьи слезки,
знала в отчете Рубцовске.
Огляделась, поставила на Михаила
и за то полюбила.
Поначалу, как все мы, молилась Ваалу,
юный пот проливая.
Дочь пощады не ведавшего режима
вдруг добру послужила.
У истории нету другого оружия —
только сильные души,
только смелый не видит стыда
в компромиссе.
Зажигаю свечу по Раисе.
Не парттетей явилась с улыбкою кислой —
Вечной Женственностью, Раисой,
протянула два пальчика, нет, не генсеку,
а грядущему веку.

У Берлинской стены ни конца, ни начала,
человечество с ней одичало;
Михаил и Раиса ее повалили,
дух жены в Михаиле.
От Берлина до Мюнстера желтые листья...
Мир скорбит по Раисе.

ХВАЛЕБНАЯ ОДА

Есть мания величия,
есть мания преследования...
Все отговорки лишние,
к чему пустые сетования?
Германия-гурмания* —
есть и такая мания.

Из Шри-Ланки и Косова,
из Киева и Витебска
толпа разноголосая:
— Дашь нам вид на жительство! —
раз правильно оформлены,
вы будете накормлены.

Не то чтоб всем по ложнице —
кому-то и по ложечке,
не то слизнут чудовища
со всех пирожных розочки.
Расчетлива Германия
и тем она гуманнее.

Окурока — пионами,
а розы — сливки взбитые...
Все кажутся влюбленными,
лишь потому, что сытые.

* Выражение принадлежит поэтессе Нине Красновой.

Поверишь, вкусно кушая,
в хозяйское радушие.

С немецкою балладою
сравнимы кексы-пончики.
А с лагерной баландою
здесь навсегда покончено.
В Дахау и освенцимы
вбит кол (беседа с немцами).

Как не хвалить Германию
с халявными обедами?
Про случай с кашей манною
нам братья Гримм поведали.
Кто знал, что доиграемся:
той каши нахлебаемся?

Пока ее я славил,
Германия-кормилица
цветных под душ поставила,
велела дольше мылиться,
дала приют отверженным,
а всяким необрезанным
из племени Давидова
бессрочный паспорт выдала.

ПАРК НИМФЕНБУРГ ЗИМОЙ

И боги, и богини, и герои
упрятаны от стужи в короба,
щитами крыты, как стволы корою,
заключены в стоячие гроба.

Обманутым январской стрижкой веткам
не зацвести, и ты их не тревожь.
Как из седых волос, ушла с пигментом
вся их упругость, лепота и мощь.

Не бьют фонтаны, не пылают розы,
изрыл газоны кропотливый крот,
земля черна и даже не промерзла,
что так привычно для иных широт.

Удобно быть одной из иностранок:
идешь и говоришь сама с собой...
Белеет снег салфетками на ранах,
зимою нанесенных, как судьбой.

*** *** ***

Эмиграция — такая суета,
в суете проносишь ложку мимо рта,
не упомянешь ни дворцов, ни базилик,
как насмешка над родным, чужой язык.

Эмиграция идейною была,
била в «Колокол», во все колокола.
Эмигрантом был и сам великий Дант.
Измельчал наш престарелый эмигрант.

Так устал от груза пройденных дорог,
изболелся, исстрадался, изнемог,
что решился: «Закругляться буду тут,
где дожить по-человечески дадут».

Интересно, посещал ли грозный Дант
многошумный, как базар, социаламт,
получал ли кучку фунтов Искандер*,
будто вышедший в тираж пенсионер?

Наш везде поспеет... Зная что почем,
растолкнет сородичей плечом,
экономит, чтоб не только есть и пить,
но на мир взглянуть и книжицу купить.

* Литературный псевдоним А.И.Герцена.

Эмиграция, конечно, суета,
но открылись проржавевшие ворота,
и в чужое небо впаян, как бриллиант,
битый жизнью, но живучий эмигрант.

ПИСЬМО

Я из Германии ненастной
тебе пишу, мой друг пристрастный
(пре-страстный в силу двух кровей),
сперва по-черному гулявший,
потом всего себя отдавший
малышке с челкой до бровей.

Твой выбор одобряю, ибо
малышка плотью — духом глыба,
скала и умница к тому ж,
не мне чета. Нашла же ключик
к твоей душе. «Я подкаблучник, —
ты говоришь, — я женин муж».

Да, но, уничижаясь сладко,
ты, не из робкого десятка,
за всех за нас в Роландов рог
трубил, готов в огонь и воду
за Сахарова, за свободу,
поставил на кон все, что мог,
и был обыгран кем попало.

Малышка за двоих пахала,
а ты стыдился, что поэт..
Поэт — ведь это первородство,
а диссидент — иные свойства,
у диссидента музы нет.

Послушай: может, диссидентство —
немного возвращенье в детство,
мечта, что можно жить без пут?..
Афганец, турок, чернокожий —
все диссидентствуют похоже
и все в Германии живут,
а ты в России. Зимостойкий
и до, и после перестройки,
воюет за тебя твой стих.

Стих предпочтем любым идеям,
ну а любовь свою поделим,
как злое зелье, на троих.

*** **

*Но ты полюбишь иудея,
Погибнешь в нем — и Бог с тобой!
О. Мандельштам*

Иисус, но не Христос, а Навин,
который к солнцу «Стои!» воззвал, —
с ним, дерзким, Гавриил Державин
себя недаром рифмовал.
Не жены, чьей красе семитской
красы небесной отблеск дан,
омытые и древней миквой,
и погруженьем в Иордан,
а их прамамери... Не тесно
в шатре, где лишь она и он,
разверсты нежные ложесна,
чтоб множить семя сих племен..
О иудеи! Вас не может
никто спокойно перенести.
Вас будут гнать, корить, корезить,
петь дифирамбы в вашу честь.
Отец на два тысячелетья
отпустит вас, но у ворот

все будет ждать: «Я с вами, дети!»
и снова дома соберет.
Здесь Дух Святой... О нем радея,
опять ковчег воздвигнет Ной.
Я полюбила иудея,
и гибну в нем, и Бог со мной.

БОЛЬНИЦА

Тугие пружины дверей,
тугая струя из-под крана,
тугая — рукою погрей —
зашитая крестиком рана...

Когда мой багаж дорогой
потащат от ада до рая,
я вольтовой выгнусь дугой,
два полюса соединяя.

СПРАВКА О НАХОЖДЕНИИ В ЖИВЫХ, ИЛИ СРЕДСТВО ОТ СКЛЕРОЗА

Зендингер Тор. Ворота старого города. То же название у одной из станций метро, «убана» по-здешнему, с ударением на первой гласной. Построено в начале 70-х, к Мюнхенской олимпиаде.

Без десяти час (а поезда тут ходят строго по расписанию) эта оживленная станция становится еще оживленнее. Рукава толпы, длинные, как рукава смирительной рубашки, протягиваются снизу вверх сразу по нескольким эскалаторам. Самый вытянутый — в сторону Гете-института на Зонненштрассе, Солнечной улице.

Солнечная не всегда оправдывает свое название. Если близкие Альпы, круглосуточно работающая кухня погоды, заливают город холодной манной кашей зимней промозглости, меркнет и Зонненштрассе. «Совсем как у нас в России», — говорят студенты, мои земляки, пряча от колкой сечки обманутые вчерашним теплом лица. Если же альпийское варево курится прозрачной голубизной и ты поднимаешься из преисподней убана прямо в погодный рай, райски выгладит и Зонненштрассе. Мейсенским фарфором — парцелланом сияют чашечки в витрине кондитерской, переливаются на стоячей вешалке целлофаны с неновыми, но как новыми вещами за окном химчистки; даже мелкий гравий на тротуаре, своего рода пресс-папье при избытке влаги, стреляет алмазными искрами. Солнечная спит. Солнечная празднует весну света.

Сам институт ничем не выделяется из ряда соседних магазинных и банковских зданий. Разве что стайками молодежи перед входной дверью. Как и полагается стайкам, они шумят, они щебечут. На каком языке? На всех — и ни на каком. Разве щебету требуется язык?

Когда я впервые поднялась по четырехмаршевой лестнице невеликого Гете-института и для храбрости выбила в автомате за одну марку десять пфеннигов одноразовый стаканчик с душистым кофе «Капуччи-

но» (сначала откуда-то вываливается коричневый ребристый стаканчик, потом в него бьет, тоже сверху, пенистая струя), знала ли я, в какую западню попаду? Понимала ли, что нравственно-беззаконно выписываю в небесной канцелярии командировку в собственную молодость, которая давно отшумела?

1953—1956: что ни год, что ни месяц, то новый шум, переходящий в грохот. Дело врачей-«кубийц» (прошло мимо моей семьи, потому что высокопоставленных медиков в ее составе уже не было; был когда-то один, гордость старших, но того расстреляли заблаговременно, еще в 1937 году). Смерть Сталина: мама плакала, я плакала, отец молча смотрел в тарелку, не хотел сбивать с панталыку десятиклассницу, пребывающую в мечтах о литературном будущем. Дело «шпиона» Берия и его приспешников: в его «шпионство» родители не верили, но казни сочувствовали, хоть и говорили вполголоса, — а я, как всегда, подслушивала, — что после Ягоды и Ежова при нем вышло некоторое послабление: стали меньше сажать, кого-то выпустили, но не наших, не наших. Двадцатый съезд партии и «закрытое» письмо Хрущева («по секрету всему свету») о злоупотреблениях культа личности, читай: геноциде собственного народа. Самоубийство советского писателя № 1 Александра Фадеева и восстание в «дружественной» Венгрии. А мне 17—20 лет, а я пишу гражданственно-лирические стихи и в Литературном институте «чучсь на поэта». Брысь, дура!

Лучшее создание Божие, человек, — система пластичная, но не до такой же степени, чтобы с юности в некрасивой позе кариатиды подставляться под свод истории и не нажать себе трещину, грыжу, рак души, не вернуть душу Создателю в неузнаваемо исковерканном виде. «Эхма! Мой замысел о тебе, дочерь моя, был совершенно другой...»

Какой же? Мне интересно. Я еще жива. Может быть, смогу что-то исправить. Все говорят: молодость не вернешь, поезд давно ушел. Это они потому говорят, что думают о житейском, об амурном, о сексуально-половом. Альпы, что ли, тому виной, горный ветер, переменчивый климат, сушь в схватке с влажностью, перенасыщенная кальцием питьевая вода — так, что проведи пальцем внутри чайника и пиши на доске, как мелом, или причиной всему хваленая немецкая бережливость — жалко денег на косметику, — только многие баварки за... выглядят гораздо старше своих лет, поражают кельтской первобытностью лиц. Уступы скул, отроги морщин, ущелья складок. Себя со стороны не видишь, но представить такую музейную мымру молодящейся, вообразить ее

десант в гушу студенческой жизни — бр-р-р! Как встреча двух геологических эр.

Но у души-то человеческой нет возраста. Вернее, возраст есть. Каждой душой, я думаю, фиксируется время ее расцвета — месяц, год, десять лет, если цветение долгое. Наша душа помнит, на что она способна, и готова, как спортсменка-профессионалка, повторить свои высшие достижения.

Я — первоштуфница («штуфа» — ступень), я смотрю вокруг себя теми же природно близорукими, впрочем, на полторы диоптрии более зоркими глазами, чем когда-то. Рядом со мной, чтобы не забывалась, будет учиться моя дочь Саша, как и положено дочери, на поколение моложе меня. Она-то считает, что старовата для института, сетует, что и без того учеба с финским и французским языками съела у нее девятнадцать лет жизни. Что же тогда говорить мне?

Машет рукой как на безнадежную больную.

— Учите: в институте преподают немецкий как иностранный исключительно на немецком, — предупреждал Павел, наш ангел-хранитель, но одновременно и «коварный искуситель».

— Как это будет, когда мы языка не знаем? — наивно, точно Дева Мария в Евангелии, спрашивала я.

— А вот увидите! С вами будут играть, общаться на языке жестов. Вы будете петь, танцевать. Вас вернут в детство. Преподаватели там — мастера своего дела.

Саша смотрит скептически. Возвращаться туда, откуда не так давно вышла, ей не хочется.

— Правда ли, что в день надо заучивать по сто слов? — это я, уже запуганная знакомыми «гетевцами».

— А по-английски ты сколько за урок запоминала?

— Пять-шесть. Не помню уже...

— Если каждый день по пять-шесть, сколько же будет за полгода?

— Да... Но английский я учила... м-м-м... несколько десятков лет.

— И не выучила. Не ты одна. С нами занимались по неправильной системе. Вспомни: чтение классиков со словарем. Сдача ничемных тысяч знаков. Мы не слышали, как это звучит на чужом языке. Почти не говорили. Наше закрытое государство было не заинтересовано в том, чтобы молодые граждане слишком шустряли на иностранном.

— Положим, в инязах, в институте военных переводчиков все было окей.

— Считайте, что «Гете» — ваш иняз. Вам будут давать с лихвой.

Другое дело — научиться брать. И не забудьте записаться в медиотеку. Там словари, учебники, кассеты, художественная литература на немецком, и все разложено по полочкам: I грундштуфа... IV грундштуфа... I миттель-штуфа и тэдэ.

Честная Саша с вызовом:

- Я даже прочесть не смогу, что там написано!
- Сможешь. Не будь глупее себя самой.
- Ауф-видерзейн!
- Чю-ус!

По-немецки я знаю шесть слов, которые знают все. «Чю-ус» седьмое. Оно означает «пока».

Когда-то Максимилиан Волошин уверял, что объясниться по-французски можно, умело оперируя лишь двумя словами: «мадам» и «мосье». Произнесенные с разной интонацией, повернутые то так, то этак, они открывают все двери, дают иностранцу возможность вписаться в новую среду обитания. Кстати, сам Макс, судя по воспоминаниям современников, говорил по-французски чудовишно. Тонкий ценитель французской поэзии и живописи, он, видимо, так и не преодолел барьера устной речи.

Палочкой-выручалочкой при беседе с англичанином может служить лаконичное «ай си» — «я вижу», «я понимаю». Некий говорун обрушивает на вас каскады труднопостижимых фраз, а вы приводите лицо в притворно-сочувственную готовность и равномерно, как жующий мерин, киваете головой: ай си, ай си...

Нет, тут такие штуки не проходят. Если собираешься отлынивать, сразу скажи: я — пас, с голого взятки гладки. Сошлись на военное детство, на хронический недостаток фосфора, питающего мозг, на здоровье Павла, ради которого вы оказались тут, а не на Рязанском проспекте, на восемь вышедших из-под твоего пера книг (их что, Пушкин писал?), на то, что ты — член Русского ПЕН-центра, а не какая-то шавка. Да мало ли на что! Но зачем тогда сунулась? Зачем, замерев в коридоре перед парадным портретом Гете, незаметно чмокнула его в плечо: «Помоги, небожитель, залетной поэтессе из России!» Отказаться от последнего, может быть, дара, припасенного для тебя судьбой? Стыдно перед Гете (с шестнадцати лет его имя ведь что-то говорит твоему сердцу?), перед дочерью, перед знакомыми и незнакомыми. Помнишь, как двадцать с хвостиком лет назад Москва взапрос читала «Жизнь после жизни» врача и философа Мууди (вообще-то Муди, но для русского слуха сие небла-

гозвучно). Какие земные деяния, считает он, не теряют ценности и за порогом бытия? Всего два: любовь и накопление знаний. Ну, любовь — тайна: была и отлетела, отлетела и вернулась. Или не вернулась. А знания не проходят бесследно. Сказано же кем-то: культура — это то, что остается, когда человек все забыл. Но чтобы забыть немецкий, сначала надо его выучить. «Кто не знаком с чужими языками, ничего не знает о своем собственном». Это гетевское изречение. Намотай его себе на ус — и на старт...

Не звонок, а такой переливчато-механический звук, вроде андерсоновского соловья. Скорее приятный, чем раздражающий. «Извините за беспокойство, — как бы говорит он, — я знаю, что вы не какие-нибудь школяры, которые учатся из-под палки; вы — серьезные, солидные люди, вы поднаторели каждый в своем деле, среди вас есть настоящие «профи»; но в середине жизни или даже на склоне лет вы возжелали приобщиться тайн великого языка — языка Гете, Шиллера, Томаса Манна, Белля, Фриша, Гюнтера Грасса (хотя последнего мало кто читал). Забудьте о своих регалиях, если они есть, забудьте о своих летах, если они неудержимо тянут вас вниз; свободные, юные душой и духом, воспарите, откройтесь для нового знания, для неожиданного постижения привычных вещей...»

Кажется, я забылась, выпустила джинна из бутылки — дух самовнушения, а это разрушительный дух, с ним нужно держать ухо востро...

— Мама! — трясет меня за плечо дочь. — Очнись! Училка вошла.

Я пытаюсь приподняться (школьный рефлекс), но быстро соображаю: тут это не принято. Все остаются на своих местах, а «училка», улыбчивая, рыжеволосая, с пышными формами, слегка утрамбованной аэробикой, уже стоит на фоне белой классной доски и буквально заливает нас взглядом горячей заинтересованности. «Мы» — это полтора десятка человек — сидим за столами, сдвинутыми в виде буквы «П». Саша и я, по близорукости, под носом у преподавательницы.

— Грюс Готт! — по-баварски приветствует она первую «А» грунштупфу и, повернувшись к доске, красным фломастером выводит свое имя: Augusta.

Потом раздает цветные листки бумаги. У меня желтый, у дочери — зеленый. Прямо кружок «умелые руки». Аугуста показывает нам, как сложить листок крышей домика.

— Ви хайст ду? (Как тебя зовут?) — не гася зарева улыбки, произносит она.

Крупно, для всеобщего обозрения, мы пишем на листках, как кого зовут. Познакомились.

Да, возвращение в детство, но и глазок в будущее, в следующее тысячелетие, которое нам еще предстоит встретить. Каким оно будет? Таким же нетерпимым, как прошлое, к инакоговорящим, думающим, верующим? Или в агрессивном по-рысьи (сси — сыи) человеческом сознании вдруг произойдет домашняя мутация и каждый, с опаской выйдя из джунглей самости, подойдет, подкрадется, подползет, любопытствуя, к чужому очагу? А что такое вкусное там варится? А нельзя ли это попробовать?..

Гете-институт — интернациональное учебное заведение. Вместе с нами, русскоязычными, занимаются две итальянки, американка, поляк, араб родом из Египта. С одной хрупкой дамой я уже познакомилась. Узнав, кто я по профессии, Лючия подняла на меня свои итальянские звезды и восторженно пролепетала: Марина Цветаева. А я вот не знаю не одной итальянской поэтессы. Помню только «Могла ли Биче, словно Дант, творить...» Ясно, что не могла.

Учебник у нас тоже интернациональный, яркий, с картинками, как продукция издательства «Малыш», в свое время наводнившая Россию. Учебных текстов я, конечно, не понимаю, однако, будучи дочерью своей страны и своего времени, кажется, неплохо улавливаю подтекст. Авторы учебника явно рассчитывают на иностранных технарей-интеллектуалов. Возраст безразличен (сюда приезжают и семидесятилетние), но предпочтение отдается молодым. В эру компьютеров и электронной почты, сверхскоростных лайнеров и доступных каждому из вас экзотических путешествий, неужели вы будете, о студенты-гетевцы (фантазирую я по картинкам), заниматься такой чушью, как национальные и прочие распри, вражда и крайнее ее выражение — война? Вы приехали в Германию со всех концов земли, у вас разные обычаи, специальности и «хобби», но общего гораздо больше. Недаром все вы решили изучать немецкий язык. А знаете ли вы, что (тут включается реальный урок), на нем говорит 81 миллион человек только в Германии, 88 миллионов в Европейском Союзе и почти 100 миллионов в мире? Известно ли вам, что Германия раскинулась на 366 тысяч квадратных километров — это почти вчетверо больше какой-то там Австрии? Знаете ли вы, что... Уф! Переведу дух. О немецкой воле к могуществу писал еще Николай Бердяев. Всякое национальное превозношение мне чуждо. Любые статистические данные, даже из области географии, для меня подозри-

тельны. Куда роднее мне немецкая литература! Я без ума — именно так — от личности Рильке, потому что мне ее открыли, вознеся собрата до седьмого неба, Борис Пастернак и даже маленькой итальянке Лючии известная Марина Цветаева.

Похоже, наша веселая Аугуста разделяет мои симпатии. Она читает наизусть стихи не известного мне поэта Джозефа фон Айхендорфа «Лунная ночь». Какая красота звучания! А ведь у меня аллергия на немецкий язык. Из семи известных мне слов три, по меньшей мере, мне глубоко противны: «хальт», «яволь», «хенде хох»... Я накладываю их на силуэт виселицы, где стынет обломком льда Снежная королева моего детства Зоя Космодемьянская... Зоя... Сначала кусочек из поэмы Маргариты Алигер в детском отрывном календаре над моей кроватью: я утонула ступнями тридцатого размера в клетчатом одеяле и, срывая очередную листок с датой, читала по слогам, что там на обороте. Потом коллективный поход всем классом на «Сказку о правде» в Театре юного зрителя. Потом я сама исполняла памятное: «Стала ты под пытками Татьяной / Почернела, замерла без слез. / Босиком, в одной рубашке рваной / Зою выгоняли на мороз...» — в пионерском лагере, у костра. Кто-то накинул на мой сарафанчик телогрейку, получилось очень впечатляюще. Первое мое напечатанное стихотворение так и называлось — «Моя Зоя». Журнал «Смена». Год — тысяча девятьсот пятьдесят...

— Мама! Тебя вызывают! — кажется, впервые в жизни дочь принародно стыдится меня.

— Варум зинд зи зо таурихь? (Почему вы такая печальная?) — спрашивает меня Аугуста.

— Потому что я далеко отсюда...

Моя соседка Наташа с Украины переводит сначала вопрос, потом мой ответ.

— Коммен зи, битте, цурук! (Вернитесь, пожалуйста!)

— Я постараюсь...

Вместе с Аугустой рассматриваем ослепительный, на разворот большого формата коллаж из учебника, где причудливо переплелись кафедралы и мосты, пляжи и парки, дредноуты и порты, а между ними всажены скромные, как на паспорт, портретики не последних людей Германии: Лютера, братьев Гримм, Эйнштейна, Томаса Манна, Марлен Дитрих, Кафки, Вилли Брандта. Нам предлагается ответить, кто есть кто. Лидируют наши, из СНГ: Наташа, инженер Миша из Кременчуга, молодой Ванюша и его премилая женушка-украинка. Иностранцы отстают. Впрочем, Лючия шепчет имена одними губами, а сказать вслух, ви-

димо, не решается. Отца Реформации узнали многие. Певицу и актрису — почти все. Томаса Манна первая назвала я. Как мне его не узнать! В одну из первых в жизни командировок от журнала «Крестьянка», зимнюю, суровую, с пересадкой и бессонной ночью на станции Раздельная, я взяла с собой пухлых «Будденброков» и, прорвав, наконец, галдящий заслон соотечественников, внесенная попутной силой на крутые и скользкие ступени плацкартного вагона, прежде завтрака и стакана мутного дорожного чая стала глотать страницу за страницей из тех пятисот или шестисот, что были в книге. И портрет был, очень похожий.

— Правильно! Это Томас Манн! — стимулирует меня Аугуста. — А что он написал?

Не зная других слов, сыплю именами собственными: Будденброки, Иосиф, Леверкюн, Круль-авантюрист... Учительница сражена.

В общезжитии (ибо мы с ней живем в общезжитии, *хайме* по-немецки) дочь предлагает мне «имидж» для Гете-института: интеллектуалка.

— Тебя будут хоть немного уважать на курсе, а так получается, что ты хуже всех.

— Ты тоже не блещешь!

— Меня это не колышет...

Из такта Саша умалчивает о главном. То, что сходит с рук молодой и симпатичной, не слишком лестно говорит о менее симпатичной и куда менее молодой.

Когда-то Владимир Войнович сформулировал программу идеалистов своего поколения: «Хочу быть честным». Вот и я хочу того же, поэтому сразу признаюсь: в интеллектуалках я не удержалась. Еще только раз блеснула я своей эрудицией, слишком слабой для телеигры Дмитрия Диброва «О, счастливычик!», но достаточной, как оказалось, для международного толковища Гете-института. Следующий учебник, еще более красочный, еще менее постижимый, чем на первой ступени, закидывал удочку в информационное море Земли:

— Сколько костей у человека?

— Сколько планет в нашей солнечной системе?

— Кто сочинил «Волшебную флейту»?

— Какова длина экватора?

— Кто нарисовал «Гернику»? и т.д.

Про «кости» я не знала, а про планеты, флейту, экватор, фашистами погребенный в руинах испанский город ответила без запинки.

— Откуда твоя мама все знает? — спросила Сашу молоденькая норвежка.

— У нас это учат в школе, — возгордилась за меня дочь.

Землячка Гамсуна была задета.

— Мы такие умные, такие образованные, — имея в виду наш общий социум, говорит врач-лаборант Наташа. — Мы и работающие и добросовестные. Разве нет?.. — взгляд в широкое, во всю стену окно, выходящее на Солнечную улицу. — Почему же у них все идет путем, а у нас такое творится, что достойные люди, с мясом отрывая сердце от всего любимого, едут на чужое иждивение, на квартирные мытарства, на социал, где все высчитано до пфеннига? Почему?..

Как и Гоголю, обращавшему к родной стране, в другую эпоху, с другим настроением, другие вопросы, Наташе нет ответа..

Ничего не знаем, ничего не понимаем — просто ужас!

Аугуста, «ротхариге» (по-немецки красноволосая), в тугих черных легенсах и коротенькой юбчонке, каждый день другого цвета, буквально скачет перед нами, пытаясь вбить в тугодумные головы основы дойча, а мы ни в зуб ногой. Сколько слов горячим гейзером низвергается с ее радостно-подвижных губ за академический час? Тысячи? А за неделю? Десятки тысяч? Доходит же до нас только международная лексика. Если учесть, что немцы и радио, и аэродром, и телевидение называют по-своему, и здесь особенно нечем поживиться.

— Мать и дочь учатся одновременно? Это прекрасно, — высказалась в письме одна московская дама. — Это почти то же самое, что мать и дочь одновременно рожают.

Лично я «рожаю» в муках. И дело, думаю, не в возрасте. Просто с наскоку такой труднейший язык, как немецкий, не возьмешь. Иностранцы приехали сюда совершенствоваться. Наши, почти все, записались на первую штупфу, чтобы вспомнить забытое. А мы никого не обманывали. Мы действительно пришли на нуле.

Я всегда скептически относилась к возрастным причинам ослабления памяти. Склероз? Во-первых, он не у всех. Достаточно вспомнить Федора Тютчева и Льва Толстого, в преклонные лета с успехом изучавших иностранные языки. Во-вторых, развивается склероз, по-моему, не от нагрузки на память, а от недостатка нагрузки. Представим себе памятливым аппарат чем-то вроде пчелиных сот. Ячейки забиты тяжелым медом пережитого. Чтобы он не стал прогорклым, не засахарился, надо его пробить свежими впечатлениями бытия. Всякий новый «взяток» идет ему на пользу.

Говорят, усвоение чужого языка начинается тогда, когда заученное

слово переходит в подсознание. Но кто знает, сколько шлаков, сколько ненужного сора увлекает оно за собой? Мусор обращается в прах, а слово остается...

Однако все это — теория. Переворачивая афоризм из «Фауста», можно сказать, что она «пышно зеленеет», а вот практические результаты сухи и неубедительны.

Умная Аугуста понимает наши трудности. Поэтому, выдав блок нового учебного материала, она устраивает разминку. Откуда-то извлекает теннисный мячик и бросает его ученику. Сегодня это смуглый, с подвижным, как у мима, лицом, доброжелательный ко всем Доди.

— Вохер коммст ду? (Откуда ты прибыл?)

— Аус Эгипет. (Из Египта.)

Египтянин в свою очередь мегит в американку Дорис:

— Вифель киндер хаст ду? (Сколько у тебя детей?)

— Нуль, — отвечает та для упрощения и попадает мячом в нашего увертливого поляка.

— Кенст ду руссишь? (Знаешь ли ты русский?)

— Айн бисхен. (Немного.) — кокетничает он. Мы уже убедились, что русский он знает, как дай нам Бог знать когда-нибудь немецкий. Но... Лелеемый, как цилиндр на месте треуха, имидж европейца заставляет этого пятидесятилетнего бизнесмена из Кракова скрывать то, что лет 15 назад было для него, возможно, предметом гордости.

— Либст ду Шопен? — спрашивает он мою Сашу, не сомневаясь в ее «я, я, я».

Уж такие-то простейшие фразы мы запомним наверняка.

Чего только не делала Аугуста в эти блаженные, в эти необходимые для нас паузы в учебном процессе! Ди штилле — тишина. Хлопок в ладоши. Берем интервью друг у друга. Доди — у Дорис. Наташа — у маленькой итальянки. Миша из Кременчуга — у меня. Ответы бывали разные, от сугубо реалистических до... Фантастике не ставились пределы. Мне как поэтессе позволялись любые фокусы. По-немецки «комиш» — и комический, и странный. Не вытянув на интеллектуалку, я сделалась комическим персонажем.

А было так. Как-то на занятиях нам раздали бумажные листочки с изображением всевозможных рожиц: папы, мамы и целой кучи детей. Надо было определить, кто на кого похож — упражнение для развития речи. Называлось: «Лицо одной семьи» (ди гезихте фон айнер фамилие). Я же прочла «гезихтэ» (лица) как «гешихтэ» (история) и принялась, обливаясь потом от усердия, рассказывать вслух «историю одной семьи».

— Тамара сочиняет новых «Будденброков» — снисходительно пошутила Аугуста.

Гомерический хохот был ей ответом. Теперь от меня ждали только одного: чтобы я посмешила аудиторию. И я, как могла, отвечала этому желанию.

— Кто ты? — спрашивает меня не ожидающий подвоха Миша.

— Я бедный испанский гранд.

— Что ты делаешь в Мюнхене?

— Ищу невесту.

— Что ты хочешь ей подарить?

— Фляйш (мясо) убитого быка.

— Где ты его взял?

— Я работаю уборщиком на корриде.

— Так ты вор?

— Да! Но я скажу себе «стоп», когда найду богатую невесту...

Все были мной довольны: и Аугуста, и соученики. Я же к концу дня выбивалась из сил. Зачем мне дан такой крутой поворот судьбы? Разминка перед грандиозными литературными трудами? Но я давно не ободряюсь на свой счет. И в тридцать лет, когда писала «Дай Бог, чтобы осталась пара строк / ото всего, чем я листы мараю», — не ободрялась. Так что же это — школа смирения? Я-то думала, что долгое супружество, хроническая, тяжелая, какая-то безысходная болезнь мужа отшлифовали в гальку мой ребристый характер, а бессрочное материнство сделало из вчерашней выскочки робкую посетительницу родительского собрания долготой в четверть века. Ан нет! Потребовался еще и Гете-институт, чтобы паром вышли из души вечно клокочущие в ней страсти: снобизм, тщеславие, любоначалие, то-есть желание командовать, диктовать, начальствовать... А индивидуальность?.. Не увлекли ли они за собой и твою индивидуальность?.. Возможно. Но не волнуйся: она (и они) вернуться.

Каждый день открываю для себя кого-то из своих одноштурфников.

Маленькая итальянка. Приехала сюда с мужем. Он участвует в одном международном проекте, а она, чтобы не терять зря времени, решила позаниматься в Гете-институте. Лючия знает английский и французский, свободно читает на обоих языках. Немецкий пока плох. Но она надеется «фербессерн» — улучшить его настолько, чтобы читать классиков в оригинале.

— Даже «Фауста»?

Смушенная улыбка, которая ей так идет.

— Швирихь! (Трудно!)

— Переведен ли «Фауст» на итальянский?

— О да, и не раз! А на русский?

— То же самое. Лучший перевод — Бориса Пастернака.

Она знает Пастернака. Читала «Доктора Живаго». Смотрела фильм.

Какое мнение у русских об этом фильме?

— За всех русских сказать не могу..

Она смеется.

— ..мало кто вообще видел эту картину..

Она удивляется.

— ..Актеры мне нравятся, но некоторые эпизоды.. — хотела бы сказать «развесистая клюква», но как это выразить на другом языке? Нашла! Нашла! «Фальшь». Немецкое слово, между прочим. Не так образно, но по сути близко.

Лючия все ясно. Между нами заключен союз. Жаль, ненадолго. Через месяц они с мужем возвращаются домой.

— Куда?

— В Венецию.

Боже, мечта моей жизни — Венеция! Покататься на гондоле. Пройти хемингуэвскими маршрутами. Увидеть Дворец Дожей, из чердачной тюрьмы которого бежал великий авантюрист и не менее великий (это мое личное мнение) писатель. Побывать на Острове мертвых, где похоронен Иосиф Бродский.

Все эти имена известны Лючии. Наш союз скрепляется общностью интересов. Лючия приглашает меня и Сашу в Венецию. Даю слово, что приедем, как только.. Наскребем на дорогу — не годится, тут не принято говорить о деньгах. Сбросим бремя учебы — еще хуже. Для нее это — сладкое бремя. Итак, приедем.. как только сможем.

Пренебрежение к некоторым, ни в чем неповинным профессиям — черта советского менталитета. Возможно, сейчас, в пору перетруски всех привычных представлений, дети в России и отвечают на вопрос «кем ты хочешь быть?» «хочу быть барменом», — раньше такое было непредставимо.

В Гете-институте бармен — уважаемая фигура. Начать с того, что о своем «барменстве» на первом же занятии с гордостью заявил египтянин Доди. Есть у нас и барменша: Стефания. Успевает она неважно. После занятий Аугуста подходит к ней и частично на словах, частично на пальцах пытается втолковать тот языковой минимум, что, очевидно, по-

надобится ей в Италии для общения с немецкими клиентами. Но во всем остальном Стефания — богиня и предмет вождения для Дона Жуана... если бы он у нас был. В ниспадающих на античный манер одеждах, в сиреновом или бледноизумрудном шифоновом шарфе, закинутом за спину, эта неуспевающая ученица ступает по коридорам института, примагничивая взгляды не дон-жуанов всех оттенков кожи. Она — феллиниевская героиня. Ее место там, в «Сладкой жизни», а здесь она в краткосрочной командировке — показать рвущейся на воздушной подушке в третье тысячелетие Германии, что в мире существуют вещи, неподвластные всеобщей компьютеризации и экономическому кризису.

Любимец Аугусты — сливочно-шоколадный, с небольшой зеленцой, Доди. Он не совсем араб, во всяком случае не считает себя только арабом. Он — представитель великой страны, которую изучают в школах всего мира. За ним — шелест папирусов, в елочку перебинтованное послание тысячелетий в виде мумий, шелковое цветение лотосов, каменные шифровки пирамид. Но арабские цифры, наши, да не совсем наши, он выписывал на доске с нескрываемым торжеством.

От своей жены-немки Доди знает много специфически немецких выражений, которые радуют Аугусту. На днях мы проходили тему «Семья». Она заставила нашего соученика разговориться. Вместе с родителями, дедушками-бабушками, дядями-тетями клан Доди насчитывает 28 человек. Все они лепятся друг к другу в одном четырехэтажном доме. Живут дружно. Делятся новостями и секретами египетской кухни. А вот урок «Свадьба» его слегка смутил. На плодородных нильских равнинах не осталось ли у него невесты? В четырехэтажной коммуналке не проживает ли его первая супруга-арабка в траурном платке, не цепляются ли за подол ее цветастой марлевки дети с тонкими подвижными личиками, словно вымазанными соком грецкого ореха?..

Сегодня Аугуста принесла пятнадцать повязок на лоб. На каждой — имя мировой знаменитости. Вы не видите своего имени, а окружающие видят. Все посмеиваются, потому что среди нас появились Мария Стюарт, Элвис Пресли, Борис Ельцин, Марадонна. Спрашивать можно что угодно. Отвечать только «да» или «нет». На разгадку — пять минут.

Доди — Наполеон. Его оливковое лицо выражает все оттенки чувств, от нетерпения до предвкушения близкой победы.

- Я жив? — спрашивает он по-немецки.
- Нет! — стройный хор голосов.
- Политик?
- Да!

- Немец?
- Нет!
- Европейец?
- Да!
- Француз?
- Да! (на лбу у себя он, что ли, читает?)
- Умер на острове?
- Да!
- Наполеон...

Семь ходов — и он у цели. Молодец Доди! Я бы так не сумела.

Интервью, игры и прочие лингвистические ухищрения, конечно, обогащали наш язык, но иногда возникала неловкость, особенно если речь заходила о причине приезда в Мюнхен и предполагаемой длительности пребывания. Когда Миша из Кременчуга сказал, что он инженер, несколько лет назад потерял в автокатастрофе любимую жену и приехал в Мюнхен «фюр имма» — навсегда, по аудитории прошел шепоток недоумения. Его высказал вслух все тот же Доди. Ведь жить в Мюнхене очень дорого, сказал он. Дорогие квартиры. Высокая плата за учебу. Приезжие могут позволить себе оплатить одну, от силы две штуфы. Неужели украинские инженеры получают так много, что Михаэль может себе позволить роскошь остаться тут навсегда?

Миша растерялся. Наши иностранцы, оказывается, ничего не слышали об еврейской эмиграции в Германию. Для них все мы — русские, раз прибыли из СССР (СНГ не пришло к их сознанию). Они воспринимают нас как сотоварищей по вспыхнувшей в середине жизни или на склоне лет лихорадочной любви к немецкому языку, утолить которую можно единственным способом: за большие деньги денно и нощно штудировать дойч по новейшим учебникам, с учителем, носителем этого языка. Они не знают сердца проблемы. Во время Второй мировой войны фашисты уничтожили 6 миллионов евреев. Германия перед лицом всего мира покаялась в кровавом грехе антисемитизма. Прием на постоянное жительство евреев и членов их семей из Восточной Европы, Сибири, Средней Азии — наглядное тому подтверждение.

Бедного Мишиного языка не хватило бы, чтобы просто и доходчиво объяснить Доди и половине класса, на каком основании он, малоимущий инженер из Украины, оказался вдруг в центре Европы. Да еще на старости лет снова сел за парту. На помощь ему поспешила Аугуста. Она не была бы немкой, если бы не повернула ситуацию во славу своего Фатерлянда. Германия, сказала она, всегда готова протянуть руку помощи

нуждающимся. Миллионы людей со всего мира пользуются ее социальной помощью. Нет ничего особенного в том, что переживший большую личную трагедию Михаэль на склоне жизни попал в это число.

Так я ее поняла. Так ее, наверное, поняли и другие. Курсовые страсти улеглись, не разгоревшись.

Две штUFFы пройдены. Прощаемся с Аугустой. Всегда буду благодарна ей за те ростки неведомой прежде «шпрахе», что насадила она в кору моих еще не склерозированных больших полушарий. Серое вещество — это же подзол, неплодородная почва. Чтобы ростки не захирели, постараюсь обращаться с ними по-хозяйски.

Расстаемся не только с преподавательницей, но и с ними: Доди, обими итальянками, поляком, американкой Дорис. О ней мы узнали немного. Примчалась из-за океана по зову сердца. Пережила тут трагедию разочарования, поди, не первую. С особым жаром изучала тему «Любовь» — все эти «ферлибен», «ферлобен», «ферхайратен» (влюбиться, обручиться, выдать замуж).

— Смотри, как похоже звучат в немецком «ферлибен» и «ферлирен», — говорит мне чуткая к слову врач-лаборант Наташа. — «Влюбиться» и «терять, проигрывать».

Да, это, видимо, постоянная рифма, как у нас «любовь» — «кровь»...

Но прежде чем расстаться с товарищами, — по традиции Гете-института, — идем всей группой в ресторанчик. Китайский. Самый дешевый. Выпуклые, опыленные, как зубные коронки золотом, древние маски, наивно-устрашающие драконы, фарфоровые вазы в человеческий рост, красные фонарики — все это тут очень популярно. В сравнительно новом Вестпарке есть даже китайский павильон в виде пагоды, китайский садик, китайские фигуры и фигурки, отделанные эмалью и лаком.

В ресторане «Азия» самообслуживание. Из дюжины глубоких судков накладываешь себе на большую белую тарелку всякую всячину; не сразу понятно, где тут креветки, где салат, где куриные крылышки, — все золотисто-желтое, пересыпанное помидорами и зеленью. С носа — десять марок. За напитки — дополнительная плата.

Расселись. Закусываем. Мужчины тянутся за добавкой. Возвращайся к судкам сколько хочешь раз. Миша и возвращается. Как видно, холостяцкое жилье, даже при социальной поддержке, — не сахар.

— Я могу спеть, если... — просительно смотрит он на Аугусту, — тут это позволено.

В «Азии» все позволено, и Миша поет.

Поет он чудесно: украинские песни по-украински, итальянские — по-итальянски (Лючия и Стефания онемели от удивления), французские — по-французски. Заканчивает советским шлягером 30-х «Мы так близки, что слов не нужно...» Мы подпеваем ему.

Больше всех взволнована Дорис.— Хойте ист майн гебуртстак (сегодня у меня день рождения). — Дас ист фюр миох айн гешенк (это для меня подарок), — чуть не плачет она.

Все бросаются ее поздравлять. Саша передаривает ей роскошный цветок в прозрачном коконе, преподнесенный поклонником с другого курса. Итальянка-барменша, как и положено феллиниевской героине, стягивает с плеч скользящий шарф (на этот раз он розовый) и окутывает им зябкие плечи товарки. Все поют хором по-английски «Хеппи бездей».

Вот оно, человеческое единение. Как представляли его идеалисты всех времен и народов. В центре Германии, в китайском ресторане, студенты из разных стран, изучающие дойч, утешают побитую жизнью американку на ее родном языке.

Идеалисты всех времен и народов по существу были правы, но они не учитывали такого мощного нарушителя, как вторжение супротивных сил. Теологи связывают их с грехопадением и сатаной. Ученые говорят о неравновесных процессах в изолированной системе. Политикам всюду мерещатся происки идейных врагов, исказивших первоначальную стройность замысла. Я же все привыкла объяснять, исходя из своего скромного опыта.

Сколько раз, играя с маленькой дочерью, я приводила в идеальный порядок наше с ней игрушечное хозяйство: снимала с этажерки немецкую, из ГДР, чрезвычайно тщательно сделанную коробку-комнату, расставляла внутри миниатюрную мебель. Куколок-малюток — за стол, бэби из целлулоида — в коляску, мишку из махровых ниток — поглубже в кресло, чтобы не упал.

— Теперь так и будет, мама? — спрашивала пятилетняя Саша. Она с пеленок любила гармонию и уют.

— Да, если ты ничего не испортишь, — назидала я.

— Я не буду трогать, — соглашалась девочка.

Ночью, тайком, когда все мы спали в нашей большой, но единственной комнате, на этажерку вспрыгивала кошка, и все мои старания летели к чертям собачьим.

Если уж мирное домашнее животное способно выступать в роли разрушительного фактора, что говорить о первородных стихиях хаоса, которые никогда не дремают?..

Единение в стенах Гете-института тоже вскоре было нарушено, и нарушено совершенно неожиданно. Но сначала — о нашем новом преподавателе, высоком и стройном, круглолицем и светлоглазом, похожем на молодого Евтушенко, настоящем арийце, как виделся он идеологам третьего рейха.

С самого начала он держал себя с нами на равных. Германия — демократическая страна. Тут не должно быть учителя и учеников. Тут идет взаимообмен знаниями, умпостижениями. Мы будем говорить о том, что волнует всех мыслящих людей в мире. О свободе и о насилии. О цивилизации и дикости. Дер барбар — варвар — фигура, которая не ушла с исторической сцены. Она возникает снова и снова при любой экономической формации, при любом раскладе сил.

Аудитория притихла. Все это, конечно, интересно, но при уровне наших языковых знаний... Не идем ли мы, если вспомнить знакомую всем русскую терминологию, с большим опережением графика?

Каждый учебный день теперь начинался с небольшой лекции. Не знаю, что делали другие, но я то и дело бегала в медиотеку, в русскую библиотеку, едва поспевая за пестрой панорамой проблем, что развертывал перед нами неиссякаемый учитель.

Саша скоро объявила, что ее немецкий не соответствует высоким требованиям третьей штуды и по собственной инициативе вернулась на вторую. Это было в порядке вещей. Так поступали самые самокритичные. Я загрустила. Меня покинула моя наперсница, мой компьютерный ассистент, моя лакмусовая бумажка (по ней сверяла я свою нынешнюю память с прежней, молодой). Мне же предстояло карабкаться вверх. Если буду переходить со ступени на ступень, закончу шестимесячный курс второй «миттельштуфой». Это приличный уровень. Больше полугода Арбайтсамт* мне не даст: подпирает возраст. Да я и не возьму. Надо еще кое-что успеть помимо долбежки чужого языка.

Учебный процесс шел своим чередом. На одном из первых занятий мы получили задание составить письменный портрет соседа. Мне достался Мэт, рыхлый, добрый по виду, шалопаистый парень из американской глубинки. На все мои вопросы он отвечал «нет». Давно ли в Мюнхене? Нет. Женат? Нет. Любит ли читать? Нет. Имеет ли «хобби»? Нет. Как я поняла, его сюда послали родители-фермеры, чтобы он хоть чему-нибудь научился.

* Биржа труда.

Любопытно, помогает ли ему его оклахомский немецкий понимать страстные речи нашего преподавателя? У меня возник такой образ: нами выстрелили, как из пушки, и мы, со всей нашей немотой и глухотой, понеслись в зенит языкового неба. Неизвестно, приземлимся ли благополучно или уже никогда не вернемся.

Все чаще раздаются голоса:

— А что это значит? Повторите, битте! Не так быстро, пожалуйста! — Все это, разумеется на немецком языке, потому что светлоглазый полиглот русского, увы, не знает, а на десяти языках, которые он знает, задавать вопросы не разрешено.

— Как? Вы не понимаете? — несказанно удивляется наш лерер — учитель. Он вознесся на такую высоту, а мы его за джинсовую штанину предательски тянем вниз. Как известно, спускаться с горы труднее, чем подниматься. Он демонстративно отдувается. Медленно произносит несколько фраз. Потом берет цветной мелок и испещряет белую классную доску письменами на которые мы смотрим, как на произведение искусства, — почтительно, но отдаленно. — Ну вот! — снисходит он к нашей непонятливости. — Ганц кляр! (Совершенно ясно!) Кайн проблем! (Нет проблем!)

Так и прозвали его: Кайнпроблемчиком.

(Моя ученическая судьба сделала полный круг. Вот таким же, всезнающим и не понимающим, как другие могут не знать и не понимать, был мой учитель физики в седьмом классе).

В начале декабря пошли с Павлом в наше Российское консульство в Мюнхене и получили. Я не сразу поверила своим глазам: «Справка о нахождении в живых». Справка нужна всем россиянам за. Без нее шиш получишь на Родине свою, сорокалетним трудом заработанную пенсию. Правда, с момента отъезда на ПМЖ ее более чем ополовинели, отстегнули все «лужковские» надбавки. Но скажи спасибо и за такую. Вон Наташа и Миша с Украины ничего не получают, хотя рабочий стаж, как у меня: сороковка.

Павел очень болеет — уже несколько лет. Кластерная, или пучковая, головная боль. Нестерпимые приступы и днем, и ночью. До слез. До нежелания длить такую жизнь. Из-за этой адской болезни, по зову родной его сестры, мы и приехали сюда. Здесь хотя бы лечат бесплатно. А в Москве, страшно вымолвить, один день в клинике, где он раньше регулярно подлечивался, стоит столько, сколько вся его месячная пенсия.

Павел знает немецкий лучше, чем любой «гетевец», даже с высшей ступени — «хохштуфы». Кроме школьных и университетских знаний

ему очень помогает идиш дедушки-бабушки. Там, в многоязычном Тирасполе, где он вырос, родители говорили по-русски, а старшее поколение хранило верность языку Шолом-Алейхема, искаженному немецкому. Впрочем, Кайнпроблемчик говорит, что идиш древнее языка немцев. Германские племена многое позаимствовали у народа, который приютили, успешно старались ассимилировать, с которым вели финансовые дела, вместе поднимали науку и искусство до мировых высот и который потом так жестоко предали на поругание и уничтожение.

Учитель волнуется, рассказывая об этом. Мучается чувством личной вины, хотя родился в послевоенные годы. Особым вниманием окружает Наташу и Мишу, единственных «чистых» евреев на курсе.

Наташа узнала, что еврейка, в пять лет. Жили они тогда в Киеве, мать и дочь. Началась война. Эвакуироваться не хотелось: жизнь была налаженная. Перед отправкой на фронт забегал дядя, мамин старший брат, и стал страшать фашистами: они — вандалы, они ненавистники евреев. Мать, учительница, отказывалась верить: «Что ты, Сема? Разве Сталин и Каганович заключили бы пакт с антисемитами?» «Дура!» — сказал он ей на это. И они решили ехать. Девочке запомнилось: бежали с мамой по улице, и осколки били по крышам. Еще одно: когда она выглянула из теплушки последнего состава, люди шли от Киево-Печерской лавры и крестили уезжающих.

— А твой дядя жив? — спросила я.

— Жив. Вчера получила от него письмо. Он меня простил...

Оказывается, дядя-ветеран на дух не принимал самой идеи эмиграции в Германию. Хмуро приговаривал: «Хороший немец — мертвый немец». Настаивал: «Если уж ехать куда-то, то в Израиль». У нее же тут дети. Это их выбор. С детьми обожаемые внуки. На ней — восьмидесяти-трехлетняя мать и больной муж. Там, на Украине, гривны зарабатывала она, высококвалифицированный врач-лаборант. Тянула всех. Но выдохлась, больше нет сил. И так семь лет переработала! Сослуживцы удерживали: куда ты? зачем? Но, любя, благословили. Письмо от дяди боялась вскрывать. А он пишет: «Ты, Наташка, без единого выстрела вошла туда, куда мы прорывались с боями». Отпустило...

У Кайнпроблемчика расовая теория вызывает физическое, до брежневского дрожания губ, отвращение. Он, если я правильно его поняла, сторонник моноцентризма, то есть происхождения человека от одного общего начала. Расовая неполноценность народов вытекает из полицентризма...

— Неандерталец — не человек! — восклицает он с кафедры, как

с трибуны. Кафедры условной, потому что никакого огороженного возвышения для преподавателя в нашей небольшой аудитории не предусмотрено. — Неандерталец — хомо сапиенс, но он не человек! Кроманьонец — эссе хомо! — переходит наш полиглот на латынь. — Кроманьонец, хомо сапиенс сапиенс, — это мы с вами, это тип современного человечества.

Уважаемый лерер напоминает нам, что останки неандертальца были найдены в долине Неандерталь, недалеко от Дюссельдорфа. Недочеловеки имели большой мозг, не были чужды интеллекта. Управлялись со сложными орудиями труда, уважали ритуалы, культуры. Никто не знает, куда девались неандертальцы. Не исключено, что они рассосались между людьми. А почему не предположить, что фашизм коренится в головах и душах их непосредственных потомков? Догадываюсь: учитель говорит о фашизме не только в прошедшем времени. И тут, в Германии, стране, кажется, испившей до дна чашу посрамленного агрессора, бесчинствуют бритоголовые и иже с ними. Маршируют, взрывают, оскверняют. Не проходит дня, чтобы против евреев и вообще против иностранцев не сотворилась бы какая-нибудь пакость.

Как было бы хорошо, если бы это делали явные потомки неандертальцев. Их можно было бы вычислить, изловить, посадить в клетку. Но в том-то и беда, что это творят люди, такие же, как мы с вами. Хомо сапиенс сапиенс давно потерял третье слово, а может, его и не было.

Полет мысли Кайнпроблемчика смущает даже меня, падкую на самые крайние гипотезы. Обложилась научпоповскими брошюрами по темам, не предусмотренным учебником, — поэтому что-то соображаю. А как остальные? Американец, бразилец, никогда не игравшая в викторину норвежка, испанец, ливанец? О составе их крови нам ничего не известно. Они, как выражается моя дочь, не закленины на этом. Проще же пареной репы: кто прибыл из Бразилии, — бразилец, из Испании — испанец (хотя он баск), из Ливана — ливанец (хотя он араб). Новенький, Али, нисколько не похож на душку Доди. Острое лицо. Жгучие глаза. Не выгорающие на средиземноморском солнце волосы цвета воронова крыла. Он никак не мог объяснить своему «портретисту» Мише, кем же он работает на родине. Что-то связанное с электричеством, оптовыми закупками в Германии. Не мог или не хотел?.

Сегодня «герой дня» на курсе — мой Мэт, мой тюфяк-парень из американской дыры (есть «дыры» и в Новом свете!) Подхлестнутый воспаленными речами учителя, он съездил на экскурсию в концлагерь Дахау и на довольно сносной «шп्राхе» поделился своими впечатления-

ми. Оказывается, он ничего этого не знал: ни про нары, ни про голод, ни про газовые печи. Теперь он это знает и никогда не забудет..

Я была в Дахау.. Не зимой, как Мэт, а цветущей весной, когда при рода пыталась своими клейкими листочками замаскировать то, что на творили люди, ее восставшая на порядок творения, более всего подвластная бесноватым регулировщикам часть. Меня поразило, что концлагерь так близко к городу. Подгулявшая пивная компания запросто могла добрести до колочечной-проволочной, под смертельным током, паутины. Не меньше меня удивило, что уже в середине 30-х о Дахау трубила международная пресса. Так что все увертки типа «не знали», «не слышали», «даже не подозревали» имеют мало общего с правдой.

В тот день отмечалась годовщина освобождения лагеря. Играл оркестр. Около обелиска с шестиконечной звездой шел митинг. На зеленом лужке рядом с нарядной деревянной часовней громогласно, сияя парчой облачения, поминали убиенных православные священники. Полуоткрытым кольцом, точно каменное объятие, смотрелся главный памятник, то ли удерживая, то ли отпуская в небо католические ли, протестантские ли души. В маленьком крематории народу было немного. Всего четыре печи — подумаешь! Смазанные машинным маслом, чтобы не скрипели, заслонки. Железные носилки-салазки, которые так легко, так глубоко входят в огненное жерло..

По случаю годовщины в бывший концлагерь съехались сотни людей. В ажурном «стакане» — букет государственных флагов. Приглушенная в музейных помещениях и, наоборот, открытая, даже раскатистая на открытом воздухе разноязыкая речь. Люди без перевода понимали друг друга, как во времена Пятидесятницы, на 52-й день после распятия Христа.

Только два раза в Германии я переживала это драгоценное чувство человеческого единения. Тогда, в ресторанчике «Азия» на дне рождения американки Дорис, и теперь — в окультуренном, срытом до фундаментов фашистском концлагере Дахау..

Кайнпроблемчик задал нам такую высоту, что предложенная им в конце третьего академического часа игра в путешествия была воспринята всеми как белый флаг сдачи. Ну не тянем мы на равных собеседников в демократической стране Германии, не по нищете умственной, а по бедности словесной, — что с нас взять?!

«Путешествовать» поехали с радостью. Кто куда. Мы с Наташей — в Испанию, прихватив с собой для более глубокого ознакомления с местностью вежливого баска. Наши молодожены, Ванюша и Панночка,

не убоявшись здорового раздора в семье, пригласили в Италию красавицу-норвежку. (Панночка она потому, что вырвана из самого сердца какой-нибудь Диканьки. Все при ней: фигурка, хрупкая стать, «черные очи — очи дивочьи»... На родине работала детским врачом. Кем станет здесь — неизвестно. Мюнхенский врач должен быть гражданином Германии, а гражданство она получит, если очень постарается, только через семь лет...). Наш замечательный певун Миша, непосредственный, как ребенок, не придумал ничего лучшего, как отправиться «в одной лодке» с бразильцем и ливанцем в... страну Обетованную. Бразилец-то вел себя лояльно: Израиль так Израиль. Похож, между прочим, на Бразилию. У нас Христос стоит огромной статуей, а у вас Гроб Господень. У нас океан, а у вас море. У нас негры и у вас негры, только наши, если не крещены, имеют свой культ — макубу, а ваши когда-то давно приняли иудаизм.

Мы с интересом прослушали этот сравнительный рассказ, восхитились богатым немецким «митшулера» (соученика). Он объяснил: у него немецкие корни; в Бразилии есть целые немецкие колонии.

Одинаково далекий и от христианства, и от иудаизма, Миша согласно кивал головой, потом кое-что добавил к предыдущему рассказу из собственных впечатлений: два года назад побывал в Хайфе в гостях у брата.

— Продолжай теперь ты! — соученическим, ободряющим жестом дотронулся он до ливанца. — Ты же рядом живешь, природа похожая, климат похожий, — не отставал наш Михаэль от помрачневшего Али.

Тот молчал.

— Ты же небен, небен (рядом, рядом) — Расскажи!

Али вскочил с места. Ощетинился. Непроизнесенное, еще слышнее прокатилось по аудитории красивое слово: «интифада».

— Небен? — возмущился ливанец. — Геген! Геген! (Против! Против!)

Кайнпроблемчик употребил все свое педагогическое искусство, чтобы не запялал ближневосточный конфликт...

Почему это в немецком таким почетом окружено сослагательное наклонение? Так называемый конъюнктив со всеми его временными формами: презенсом, имперфектом, перфектом, плюсквамперфектом, футуром и совсем уж обезумевшим кондиционалисом? Мы на них зубы сломали. «Вен их цум яре 2023 лебен вюрде... (если бы я дожил до 2023 года...), я бы...» и тут шли всякие нелепые предположения, не имеющие с реальностью ничего общего. Все они начинались одинаково: «вюрде их герн...» (я бы с удовольствием...)

Мэт: — Работал бы в райских условиях и все мои коллеги были бы ангелами...

Испанец-баск: — Купил бы себе остров, где жил бы на свободе с женой и десятью детьми...

Молодожены: — Справили бы серебряную свадьбу, на которую пригласили бы 300 человек...

Не этой ли склонности к неумеренному использованию конъюнктива мир обязан Германии зарождением и развитием нежизненных и потому находящихся в жестокой схватке с человеческой реальностью учений — от марксизма до фашизма?

У них страсть к изощренной грамматике, а мы расхлебывай...

Заучились, совсем заучились... Надо бы встряхнуться, на экскурсию хотя бы сходить. Вон их сколько предлагается: в разное время, на все вкусы, бесплатно. Поднимаешься на второй этаж — по правую руку от лестницы попиптр, на попиптре листы-приглашения: Старая и Новая пинакотека (картинная галерея то есть), каток, бассейн, дворец «Нимфенбург»... А это что такое? «Классическая архитектура и политическое движение». Любопытно. И время подходящее: 18—30. После занятий. Пойдем!

Саша отсеялась: нужно зубрить глаголы в трех формах. Не очень-то я верю в такое учебное рвение. Ну, ей виднее...

Мюнхен — поразительный город. на семь лет моложе Москвы. Младший брат. С ранних лет выказал необыкновенные способности именно архитектурного толка, перепробовал все стили зодчества. Плотностью застройки переплюнул многие европейские города. В городском музее есть деревянная модель старого Мюнхена. Если ее ужать раз в сто, получится игрушка такой красоты и такого изящества, что В. Одоевский лучшего и пожелать бы не мог для своего «Городка в табакерке».

На экскурсию собралось человек двенадцать. С разных курсов. Молодые и не очень. Две любознательные японки. Негр. Хотя по вечерам сильно подмораживает, одет небрежно легко, как будто мы в Нигерии.

Едем на Кёнигсплац — Королевскую площадь. В сумерках белеет воздушное каре — три здания по трем сторонам квадрата. Колонны, фризы, наружные торжественные лестницы. Дома-воспоминания, дома-призраки. Мы в Древней Греции, мы вернулись в детство человечества, на две с половиной тыщи лет назад. Это — Акрополь. В зимнем Мюнхене, где стелется у ног январская поземка, он особенно фантастичен. Это что-то борис-мусатовское, даниил-андреевское. Выпадение из времени и пространства.

Экскурсовод — немец лет тридцати. Увлеченный. Негодующий. Неужели по поводу ортодоксального классического стиля? Нет, отдав должное античности, наш гид показывает на темный заслон из голых деревьев по четвертой стороне квадрата. Там прячется еще два здания. Поменьше. Похуже. Но тоже с претензией на стильность. Глухая переключка с тремя красавцами гения Лео фон Кленце. Это фюрерхаус, резиденция Гитлера. Отсюда тянулись нити к парадам и караулам СС. За них дергали те, укрывшиеся в здании. Оловянные живые солдатики поднимали носки добротных немецких сапог. Брали винтовки на изготовку. Демонстрировали мощь третьего рейха.

На красивейшей площади города Одеонсплатц, рядом с аркадой барварских полководцев (другое название — Флорентийская лоджия) круглосуточно цепенели охранники-эсесовцы. Проходя мимо, мюнхенцам полагалось крикнуть «Хайль, Гитлер!», вернопопаданно вскинув руку. Направляясь в свою церковь, католики обходили это место стороной, протоптали собственную дорожку, чтобы не выслуживаться перед временщиком. Наверняка это делали не только верующие, но предание говорит именно о прихожанах католической Фрауэнкирхе — собора Богоматери.

Сейчас в логове Гитлера музыкальная школа. Наш гид ведет нас вовнутрь, разворачивает фотоальбомчик, где запечатлены участники Мюнхенского соглашения 1938 года: Чемберлен, Деладье, Гитлер, Муссолини. В сущности тут было посеяно зловещее семя 2-й мировой войны, давшее такие дружные, такие кровавые всходы.

А вот эта комната в натуре. Рояль. Клавесин. В бездействующий камин кто-то вдвинул, как в нишу, диковинные, но узнаваемые цимбалы. И нигде никакой таблички, ни малейшего напоминания о прошлом. Если бы не экскурсия, в жизни не догадалась бы о мрачной предыстории невинной музыкальной школы.

Речь экскурсовода насыщенная, слишком сложная для меня. Далекое не все понимаю. Но главное, думаю, схватила. Фон Кленце строил тут идеальный город, ворота которого, пропилены, должны были вести в царство гармонии и красоты. Сейчас мы стоим к ним спиной. Жмутся от холода японки, негр неохотно нахлобучил на запорошенную снегом черную смушку волос студенческий картуз. Но до них, как и до меня, доходит благородный замысел архитектора. Слева — глиптотека, полная античных скульптур. Справа — хранилище амфор и камней — изящней изделий никому, кажется, не удавалось создать. А прямо перед нами, за частоколом деревьев, то место, откуда идеальный город методично, рассчетливо, с красноречивыми ссылками на историческую необхо-

димось, превращали в город страхов, унижений, духовного «песта» (пест, по-немецки, и чума, и холера, и черная оспа).

«Один вампир любил ампир» — как подходит эта русская рифма к данному моменту!

Много ли надо знать слов, чтобы понять сущность случившегося? Всего несколько: добро, зло, красота, уродство, свобода, рабство, люди, нелюди (последнее «унменшен» звучит для немецкого уха очень оскорбительно).

Мы их знаем. Экскурсия пошла нам впрок.

Прощай Гете-институт! Карабкаясь на твои неосязаемые пики, срываясь в невидимые пропасти, мы и не заметили, как наступила весна. Вчера еще веяло альпийским холодом, от сквозняка скрипела, издавая нечеловеческие звуки, дверь нашей комнаты в общежитии. Но предполагаемый полтаргейст, как всякая нежить, исчез, стоило только выглянуть солнышку.

Сегодня пошли в Вестпарк. Мамочки! Цветут тысячи цветов, от подснежников и маргариток до «роскошных первенцев полей». Здесь они, действительно, роскошные: нежно изогнутые сиренево-голубые ирисы, гиацинты пяти дразнящих расцветок, темно-розовые кубки магнолий, точно поднятые деревом в честь наших выпускников. Три серых живых одуванчика — только что явившиеся на свет лебедята — плавают, как в ладье, на спине лебедихи. Ее крылья приподняты и тоже изогнуты, как лепестки цветка. И вот из этой мягкой, пухово-перьевой колыбели уже выбирается один, первенец, пионер, плюхается в воду — и поплыл, поплыл, пострел. Не удержать живое существо ни лебединой чистотой, ни шелковыми стенками, ни пушистым половичком под ногами.

Прямо перед нами — высокий холм, убранный, как снегом, бело-желтыми нарциссами.

— Пасха! — выдыхает Саша.

Да, после трех недавно прошедших одноименных праздников хочется сравнить это чудо синергии (соединенной высшей и человеческой энергии) с огромной сливочной пасхой, водруженной кем-то на общий стол человечества.

Сегодня выходной день, и парк полон посетителей. Со стрекозиным шелестом проносятся велосипеды. Молодежь на роликах выделяет немислимые па: строем солдатиков стоят на дорожках разноцветные пластмассовые стаканы, и бегуны, а порой и бегуны, оплетают их косичками узоров. С изумрудного луга запускаются бумажные змеи; пест-

рые конверты и секретки рвутся вверх, неведомо куда, но кто-то их там, видимо, читает; выполнив свою коммуникационную роль, они обессиленно падают к ногам хозяина.

Мы уже знаем, что группки людей, одетых особо, по-восточному, чернотой волос и резкостью черт похожих на наших кавказцев, — это косовские албанцы. Они абонировали несколько скамеек и, заслонясь от ужаса прошлого плетеными корзинами со снадью, продолжают жизнь, проникнуть в которую нам не дано. Мы не беремся судить, кто там, на их земле, более не прав, — они для нас — знак беды, седьмая на киселе родня, напоминают о том, что было и еще может быть со всеми нами.

Вот на теневой скамейке совет седоватых ветеранов в оживленной, видимо, идейной беседе. Вот беременная молодуха, повязалась яркой косынкой, бросила вызов колоде-фигуре и одутловатому, с набрякшими веками лицу; ничего, родит — помолодеет лет на двадцать. По обе стороны — женщины в чем-то угольно-черном, шелк на солнце поблескивает, как антрацит. Вдовы?.. Под ногами кишат дети, разряженные за счет немецкой благотворительности, с мягкими европейскими игрушками в обнимку. Тут же любовная парочка. Не лижутя, не слипась, как уже привычно для города. На виду у старших соблюдают дистанцию. Но вечером... В тех же цветущих кустах... Мюнхен рано ложится спать, и поздних посетителей парка потревожить могут только зайцы, тут их великое изобилие.

Косовских беженцев Бавария приютила ненадолго. Скоро они отбудут. Нашим людям, что уже отчаялись снять недорогую квартиру, говорят:

— Потерпите! Вот уедут косовские албанцы — тогда...

Две тысячи лет от Рождества Христова — и никакого видимого сдвига. Даже хуже стало. Уничтожение себе подобных, измывательства «хомо сапиенс» над «хомо сапиенс сапиенс» (или наоборот?) сделались бизнесом, индустрией, стали денежно выгодны. Никогда еще человеческая кровь с таким алхимическим эффектом не превращалась в аккуратные бруски золота. Кадр ТВ: в прекрасно оборудованном бункере некто в белом — провизор, прозектор, провидец будущего — склонился над тускло поблескивающими слитками самого благородного металла. Если любой из них сжать в руке, полетится соленый алый сок.

*Оглянись — война войною,
А в тылу трясут мощною! —*

это запевки с недалеких отсюда Канарских островов в переводе А. Гелескула.

А Чечня? А все без исключения «горячие точки» на планете?..

Но не отчаивайся человек! В городе, где была Хрустальная ночь и Дахау, есть Гете-институт. Покровительственно взирает со своего портрета мировой гений двухсотпятидесяти (всего-то) лет на кишение инородцев и иноверцев в тесных коридорчиках его земного владения. «Это постыдно выставлять на посмешище народ, проявивший себя выдающимися талантами...» — не одна я читаю в его горяче-умных, отведенных от позорища содеянного на земле глазах. И наполовину принадлежа к этому народу, я готова во вторую свою половину, с ее «всемирной отзычивостью», впустить все остальные.

«Ишь, размахнулась, — слышу чей-то зловеющий шепот. — Ничему тебя, дурочку, жизнь не научила...» А тут еще ровесник, Игорь Губерман, приводит в «Пожилых записках» слова своей маленькой дочери, измученной теснотой в общественном транспорте:

— Лучше ехать в такси, чем со многими народами...

У нас интернациональный учебник. Хороший или плохой как методическое издание, он обращен к жизни будущего века. Когда все смогут носить часы «Мега солярур», которые никогда не врут и работают без батареек, на солнечной энергии; пропускать свои расстроенные чувства в целях их гармонизации через e-mail и мобильный телефон; отправляться в путешествия на сверхскоростных ковчегах морского, наземного и воздушного назначения; лечиться в специально оборудованных клиниках на 100 тысяч человек; ложиться на операционный стол под милосердный безошибочный нож роботов.

«Вен ихь лебен вюрде...» У меня нет шансов дожить до 2023 года. И слава Богу!

1999—2000



Сит
28.07.2000
Л.А. Пеган

СОДЕРЖАНИЕ

РАЙОН МОЕЙ ЛЮБВИ

ПРОЗА	
Волшебное вино	9
Вместе со светом	17
СТИХИ	
Сказки	38
Четыре года	38
Осень	39
Камера хранения	40
Улица	41
Шаги	42
«Все говорили: дурочка!»	42
«Молчи, район моей любви»	42
«У меня сегодня нету дел»	43
Бессонница	44
«Нет кабинета у поэта»	45
Автомобильный спорт	46
«Зимний дом отдыха»	47
Талант	48
«Сети крутом развешены»	48
Русалка у Мисхора	49
«Ты теперь как выход»	49
«Семья — это дело вязальщиц»	50
«Междугородная! Алло!»	51
Гостиница	51
Дом	52
Вертолет	53
Баллада об одной комнате	53
«Портниха шьет по старым швам»	55
Моей библиотеке	55

Сны	56
«Тургеневские, милый мой, места...»	57
Русская борзая	58
«Две ленинградки...»	59
Документальное кино	60
Финский домик	60
«Пока росла...»	61
Угощаю рябиной	62
«Устала я...»	63
«Как мала моя дочь...»	64
«Уходящий объект»	65
Крылья	66
«И опять я увижу...»	67
«Чужой болезни страж...»	68
«Какой архив мы развели...»	69
Простор	70
Грибное место	70
Новоселье	71
Нрав	72
«В октябре...»	74
С полуслова	74
ПРОЗА	
Ночная бабочка	76
Гадание по Хафизу	82
Мы — счастливые люди	85

ДОМ И ХРАМ

СТИХИ	
«Мир спасти...»	139
«Согласна...»	139
«Умирала... Ожила...»	140
«Год смерти мамы...»	141
«От пятьдесят второй больницы...»	142
«Когда умирают отцы...»	142
«Знаешь, я все время слышу...»	143
«Отпустить тебя, что ли...»	144
Просьба	145
«Случайный встречный...»	146
«Тому, кто невзначай...»	147
В Голицыне	148
«Из дальних странствий...»	149
Плач Александровны	149

А.В. Меню	150
«Жду дорогого гостя...»	151
«Жизнь начиналась...»	152
«Сынок заезжен...»	153
Отечественное	154
«Любовь сорокалетних женщин...»	154
«То, что росло...»	156
Взрослой дочери	156
Двое	157
Из Бразильской тетради	
Игра в гольф	158
«На песке...»	159
«В гостиных Рио-де-Жанейро...»	160
«Если бы лебедь...»	160
«Ванька-мокрый...»	161
«Прекрасно и увядание...»	161
Абрамцево	162
«Праздники жизни...»	162
«Я — Фамарь...»	163
ПРОЗА	
«Нам дана короткая пробежка...»	165
Место поминования	232

КОНЕЦ СЕЗОНА

СТИХИ

«Живу среди теней...»	237
«От перебранки...»	238
«Красота красуется...»	239
Памяти Юлии Друниной	239
«Вероника, вероника...»	240
Конец сезона	241
«Челленджер...»	242
«Христа суют...»	242
Пасха в Атланте	243
Восьмистишия	
«Он и она...»	246
«Не доработала чревом...»	246
«Был человек, как лед...»	246
«Записывай обиды...»	247
«Жизнь — это пестрый том...»	247
Писательский городок	248
«Что нас ждет?...»	249

«Это просто гибель “Титаника”...»	249
Сандрику	250
«Может, это последний снег...»	250
«Ты кто?»	251
«Сладкою заслоненный...»	252
«Когда цветы цветут...»	252
Лихославль	253
«Половина сверстников моих...»	256
1999-й	256
Набросок с натуры	258

МЕМОАРИ

Земной проводник (Евгений Долматовский)	261
«От прошлого жизнь просторней...» (Инна Кашежева)	271
Голос издалека (Давид Самойлов)	280
Пекао (Борис Слуцкий)	289
«Что отдал — то твое...» (В.М.Жирмунский)	301
Спасти шмеля (Арсений и Татьяна Тарковские)	314
Прогулка под радиоактивным дождем (Юлия Нейман)	329
Раненый жемчуг (Валерий Перелешин)	338

«Я ИЗ ГЕРМАНИИ НЕНАСТНОЙ...»

СТИХИ

«Потомки тех, которые...»	349
Нюрнберг. 1999	351
Хрустальная ночь	352
«В старой церкви...»	353
Хвалебная ода	354
Парк Нимфенбург зимой	355
«Эмиграция — такая суета...»	356
Письмо	357
«Иисус, но не Христос...»	358
Больница	359

ПРОЗА

Справка о нахождении в живых, или средство от склероза	360
--------------------------------------------------------	-----

Тамара Александровна Жирмунская

КОРОТКАЯ ПРОБЕЖКА

Избранное и новое

Оформление

П. А. Сандомирского

В оформлении книги использована
работа Г. Самойлова «Осень. Тверской бульвар» (обложка)
и работа М. Медник «Осенний натюрморт» (с. 387)

ИД № 05619 от 16.08.2001

Подписано в печать 22.07.2001.

Усл. печ. л. 25,5. Формат 60х90 1/16.

Тираж 1000 экз.

ISBN 5-94688-012-8



9 785946 880121 >

Отпечатано в типографии издательского дома «ГРААЛЬ»

КНИГИ ТАМАРЫ ЖИРМУНСКОЙ

РАЙОН МОЕЙ ЛЮБВИ

лирические стихи
Молодая гвардия, 1962

ЗАБОТА

вторая книга (лирические стихи)
Советский писатель, 1968

ТРИБНОЕ МЕСТО

новые стихи
Советский писатель, 1974

НРАВ

стихи
Советский писатель, 1988

ПРАЗДНИК

новые стихотворения и поэма
Современник, 1993

МЫ — СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

воспоминания
ЛАТМЭС, 1995

КОНЕЦ СЕЗОНА

стихи (книга-малютка)
ЯникО, 1996

БИБЛИЯ И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Изограф, 1999